АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ—АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА—1983

СОДЕРЖАНИЕ

Аванесов Р. И., Калнынь Л. Э. (Москва). Обобщающие карты как особый тип карт в Общеславянском лингвистическом атласе 3
Бернштейн С. Б. (Москва). К вопросу о членении болгарских диалектов 10
Кацнельсон С. Д. (Ленинград). Лингвистическая типология (Окончание) 19

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Ответы на вопросы по славянскому языкознанию к IX Международному съезду славистов 35
Григорян А. Г. (Москва). Некоторые проблемы системного и исторического изучения лексики и семантики 56
Десницкая А. В. (Ленинград). К изучению языка памятников обычного права 64
Абаев В. И. (Москва). Сложные слова — хранители древней лексики . . . 75
Климов Г. А. (Москва). О позиционных падежах эргативной системы . . . 86
Котов А. М. (Москва). Экспрессивные средства китайского языка . . . 91
Федоров А. И. (Новосибирск). Национально-языковые проблемы в Сибири и их решение 102

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Марков В. М. (Ижевск). К истории неорганической гласности в русском языке 109
Камчатнов А. М. (Москва). Лексическая вариативность и лексические значения 121
Вассоевич А. Л. (Ленинград). К основам египетского вокализма . . . 130

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Алексеев П. М. (Ленинград). О новых работах в славянской статистической лексикографии 136

Рецензии

Девкин В. Д. (Москва). *Земская Е. М., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н.* Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис 141
Протченко И. Ф., Черемисина Н. В. (Москва). *Верещагин Е. М., Костомаров В. Г.* Лингвострановедческая теория слова 144
Кубрякова Е. С. (Москва). *Reichl K.* Categorial grammar and word-formation: The deadjectival abstract noun in English 148
Мацеяускене В., Зинкявичюс З. (Вильнюс). *Сталтмане В. Э.* Латышская антропонимия. Фамилии 151

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 153

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *А. Н. Кононов, В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, Н. А. Слюсарева, В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *Г. В. Степанов* (главный редактор), *О. Н. Трубачев, Д. Н. Шмелев*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78
Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука», «Вопросы языкознания», 1983 г

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1983

К IX МЕЖДУНАРОДНОМУ СЪЕЗДУ СЛАВИСТОВ

АВАНЕСОВ Р. И., КАЛНЫНЬ Л. Э.

ОБОБЩАЮЩИЕ КАРТЫ КАК ОСОБЫЙ ТИП КАРТ В ОБЩЕСЛАВЯНСКОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АТЛАСЕ

Начавшаяся более двадцати лет тому назад и осуществляемая международным коллективом славистов работа над Общеславянским лингвистическим атласом (ОЛА) вступила в стадию картографической интерпретации результатов обследования славянских диалектов по Вопроснику ОЛА [1][1].

Карты ОЛА будут публиковаться в выпусках, объединенных в две серии — лексико-словообразовательную и фонетико-фонологическую. В дальнейшем к ним присоединятся серии морфологическая (флексии) и синтаксическая. К 1982 г. подготовлены один выпуск первой серии («Животный мир») и два выпуска второй серии («Рефлексы *ě»; «Рефлексы *ę»).

Показывая диалектную дифференциацию целой языковой семьи, ОЛА имеет свою специфику, отличающую его от диалектологических атласов отдельных языков, на всех этапах работы — от составления Вопросника обследования диалектов до определения тематики отдельных карт. К числу факторов, лежащих в основе этого различия, относятся обстоятельства, сопровождающие выбор объекта картографирования. Картографически интерпретирован может быть лишь такой объект, который удовлетворяет условиям сопоставимости. Наряду с чертами, различающимися в диалектах, этот объект должен иметь черты, повторяющиеся во всех диалектах, т. е. составляющие собственно «основу сравнения». Без такой основы сравнения явления разных диалектов несопоставимы и в рамках диалектного различия они могут быть сопоставлены лишь с нулем (есть такое явление ~ нет такого явления).

Выбор объекта картографирования в ОЛА сопряжен с особыми сложностями, что, в частности, отчетливо выявилось при работе над картами фонетико-фонологической серии. Эти карты должны показать, как дифференцированы в славянских диалектах рефлексы гипотетически реконструированных для каждого из них фонем позднепраславянского периода. Рефлекс праславянской фонемы, выступая в конкретной морфеме, связан в то же время с конкретной фонетической позицией. В национальных атласах объектом картографирования, как правило, и являются рефлексы в определенной позиции. Присутствие этой позиции в сопоставляемых диалектах служит той основой сравнения, на фоне которой может быть показано различие в рефлексации праславянского элемента (ср. в диалектологических атласах белорусского и русского языков карты на *ě перед мягкими согласными, после ц, в первом предударном слоге и т. д. [2, 3]).

Многообразие путей развития каждой праславянской фонемы в совокупности славянских диалектов сопровождается такой дробностью позиционных условий употребления отдельных рефлексов и таким принципиальным различием в характере позиций, что выделить основу сравнения на уровне позиции, повторяющейся во всех диалектах, в ОЛА невозможно. С одной стороны, позиция может не повторяться во всех диалектах (например, позиции между мягкими согласными в русских диалектах может соответствовать позиция между твердыми согласными в сербскохорватских диалектах; позиция в первом предударном слоге отсутствует

[1] О предшествующих стадиях работы над ОЛА см. [1].

в чешских диалектах), а с другой, позиция, повторяющаяся во всех диалектах, может быть релевантной для рефлексов праславянской фонемы лишь в одном языке и заведомо будет выделять этот язык среди прочих (такова для *ě позиция перед переднеязычными согласными в польских диалектах). В этих условиях оптимальным решением проблемы было придание статуса основы сравнения общности морфемы, в которой выступает картографируемый рефлекс.

Первые два фонетико-фонологических выпуска ОЛА содержат карты, отражающие развитие *ě, *ę в конкретных словоформах в том виде, как это представлено в современных диалектах. Такие карты (так называемые монографии отдельных словоформ [4]) показывают синхронную дифференциацию славянского континуума в зависимости от звукового облика отдельных словоформ.

Однако ОЛА не может ограничиться столь атомарной характеристикой славянского диалектного ландшафта, т. к. это явно бы противоречило требованиям современной лингвистической науки интерпретировать языковые факты в системном контексте. Рефлексы праславянских фонем должны быть показаны не только как составляющие конкретных морфем, но и как компоненты системы в их позиционных связях с фонетическим контекстом и с суперсегментными явлениями. Информацию такого рода должны представить обобщающие (или синтетические) карты.

Логика движения от более простого к более сложному предполагает, что на основе информации, извлеченной из карт на конкретные словоформы, обобщающая карта должна была бы показать дифференциацию на уровне фрагмента системы, в рамках которого прослеживается элемент, являющийся продолжением определенной праславянской фонемы. Однако опыт составления карт на рефлексы *ě показал, что при переходе от карт на конкретные словоформы к картам обобщающим возникает ряд проблем.

ОЛА оперирует двумя хронологическими уровнями — факты, относящиеся к этим уровням, могут быть сопоставлены по всей территории, покрываемой ОЛА. Это — гипотетически реконструируемая система позднепраславянского языка и системы диалектов периода 60—70-х годов XX в. (см. список обследованных населенных пунктов, опубликованный в [5]; пункты 59, 62, 63 повторно были обследованы в 1980 г., о чем сообщено в [6]). На картах отдельных словоформ отражены оба этих уровня — праславянская фонема соотносится с ее современным рефлексом. Для обобщающей карты чаще всего недостаточно ориентации только на эти два уровня. Может оказаться, что современные факты, являясь результатом разнообразных перекрестных изменений с участием рефлекса исследуемой праславянской фонемы, сформировались уже после того, как линия развития этой фонемы как специфического праславянского явления прервалась. Из таких фактов нельзя извлечь искомой информации о судьбе праславянской фонемы. Поэтому для того чтобы показать изменение праславянской фонемы в его системных связях, необходимо обращаться к периодам, находящимся между позднепраславянским и современным состоянием, не принимая при этом во внимание факты, которые не являются продолжением собственно праславянской фонемы, а возникли в результате более поздних совпадений.

В связи с этим в применении к обобщающим картам встает проблема реконструкции более ранних состояний диалекта, ее аргументации, сопоставимости реконструированных данных друг с другом и с фактами современных диалектов. Покажем это на примере обобщающих карт в первом фонетико-фонологическом выпуске ОЛА.

Изменение праславянских гласных фонем в славянских диалектах может различаться в зависимости от отношения к ударению, от вокального количества гласного, от качества согласных, примыкающих к гласному. В соответствии с этим в выпуске «Рефлексы *ě», кроме 65 карт на отдельные словоформы, имеются четыре обобщающие карты: I. «Фонетические рефлексы *ě в современных славянских диалектах» (авторы А. Басара, З. Тополиньска, Г. Здуньска); II. «Влияние вокального количества на рефлексы *ě (авторы П. Ивич, Т. Логар); III. «Отношение рефлексации

*ě к ударению» (авторы Л. Калнынь, Т. Вендина); IV. «Фонема *ě в отношении к другим фонемам праславянского вокализма» (авторы Б. Видоески, З. Тополиньска). Остановимся на каждой из этих карт.

Карта I по своей задаче в наибольшей степени близка к картам на отдельные словоформы. Тем не менее и здесь показания последних должны были быть подвергнуты отбору. Карта фиксирует такие рефлексы, которые в наименьшей степени позиционно обусловлены и могут считаться непосредственным продолжением *ě (хотя в этом же рефлексе могут совпасть с *ě и другие праславянские фонемы). Эти позиции неодинаковы в разных диалектах. Так, в словенских фиксируются рефлексы *ě под интонацией старого и нового циркумфлекса и под новым акутом; в сербскохорватских не картографируются рефлексы *ě краткого и долгого в соседстве с сонорными *r*, *l*, *j*; в болгарских картографируется позиция преимущественно перед твердым согласным, а в русских — только перед твердым; в польских фиксируются рефлексы только *ě (не *ě:) перед всеми согласными кроме носовых; в серболужицких — в любой позиции; в чешских, словацких исключенные позиционные варианты рефлексов *ě перечислены списком; в белорусских рефлекс *ě картографируется перед любым согласным; в украинских — после переднеязычных зубных. Картографированные позиции неодинаковы и относительно ударения. В восточнославянских диалектах, а также в болгарских — это позиции только под ударением, в остальных диалектах независимо от ударения.

Хотя карта I близка к синхронным картам на конкретные словоформы, поскольку она оперирует фактами современных диалектов, тем не менее и на эту карту внесена информация, полученная путем реконструкции более раннего состояния славянских диалектов. Карта не только фиксирует качество рефлексов *ě, но и показывает направление передвижения артикуляции *ě по вертикальной оси (линия *i* — *e* — *a*), приведшее к названным рефлексам. В соответствии с этим, если в диалекте зафиксировано несколько рефлексов *ě, то они картографически дифференцируются в зависимости от близости к исходному качеству *ě.

С этой целью современные рефлексы сопоставляются с предполагаемым исходным качеством *ě. Сведения об этом качестве не могут быть почерпнуты из картотеки ОЛА (т. е. из ответов на Вопросник ОЛА), а лишь из исследований по истории отдельных славянских языков. При этом авторам приходится выбирать из имеющихся разных точек зрения относительно качества *ě, и этот выбор определяет концепцию соответствующих разделов карты (так, принимая гипотезу З. Штибера [7] о качестве праславянского *ě, авторы карты констатируют в польских диалектах изменение *ě по линии расширения *e* в *a*; но если придерживаться другого мнения, согласно которому *ě артикулировался как гласный типа *ạ* [8, 9], то польское развитие *ě можно интерпретировать как сужение первоначальной артикуляции этого гласного).

Карта II показывает дифференциацию диалектов в зависимости от влияния вокального количества на рефлексы *ě. Следы такого влияния представлены в словенских, сербскохорватских, чешских, словацких, польских диалектах — соответственно и картографируется лишь эта часть территории ОЛА. Карта информирует о рефлексах долгого и краткого *ě с точки зрения их сравнительной закрытости. Фиксируя внимание на качестве гласных, продолжающих *ě и *e: , карта не сообщает о наличии/отсутствии оппозиции по вокальному количеству в современных диалектах. Карта ориентирована на показ первого этапа рефлексации *ě, не перекрытого последующими изменениями. В соответствии с этим в необходимых случаях картографированию не подвергаются современные факты и на карту наносится информация о рефлексах, реконструируемых для более раннего состояния соответствующих диалектов.

Карта III показывает отношение рефлексации *ě к ударению, определяемое сравнением качества ударного и безударного рефлексов *ě друг с другом.

В современных диалектах информация об отношении рефлексации *ě к ударению представлена в тех диалектах, где замена *ě не совпала ни

с одним из рефлексов других праславянских гласных. Несовпадение это в одних диалектах фиксируется независимо от ударения, в других — только под ударением, а без ударения *ě совпал в одном рефлексе с другими праславянскими гласными. Первый из этих фактов синхронно свидетельствует о недифференцированном отношении рефлексов *ě к ударению, второй — о дифференцированном. Совпадение рефлекса *ě с рефлексами одних и тех же праславянских гласных под ударением и без ударения также можно отнести к свидетельствам недифференцированного отношения рефлексации *ě к ударению. Но полностью скрыто первоначальное отношение изменения *ě к ударению в тех диалектах, где начальный рефлекс *ě перекрыт позднейшими фонетическими изменениями, дифференцированными относительно ударения (такова ситуация при русском и белорусском яканье, при русском иканье). Для того чтобы судить об отношении рефлексации *ě к ударению в таких диалектах, авторы обращаются к реконструкции более ранних состояний диалектов, не картографируя факты современных диалектов.

Карта IV дает фонологическую интерпретацию рефлексов *ě, *ě:, показывая, совпали они с рефлексами других праславянских фонем или же отличаются от них и тем самым «сохраняют фонологическую индивидуальность». Карта имеет два варианта: первый демонстрирует рефлексы *ě, второй — рефлексы *ě: в тех случаях, когда они отличаются от рефлексов краткого *ě.

Задача карты потребовала от авторов довольно широкого выхода за пределы той информации, которую дают карты на конкретные словоформы. Фонологическая судьба *ě прослеживается на этапах, предшествующих дальнейшим изменениям, относящимся не собственно к *ě, а к тем единицам, которые заменили *ě. Это потребовало для части диалектов реконструкции более ранних состояний системы вокализма, т. к. современных данных недостаточно для аргументации фонологической судьбы *ě.

Исследование фонологического статуса рефлексов *ě (современных или реконструированных) предполагает сопоставление с рефлексами других праславянских гласных, а именно *e, *i, *ę, *ь, *a и отчасти *o. Кроме того, фиксируется палатализующее воздействие рефлексов *ě на согласные, когда это отличает их от рефлексов всех других праславянских гласных. Источники этих сведений находятся за пределами картотеки ОЛА, посвященной судьбе *ě, требуя обращения к работам по истории и диалектологии отдельных языков.

Различны позиции, в которых на карте прослеживается фонология *ě. В восточнославянских диалектах — это только позиция под ударением; в серболужицких — первый ударный слог перед непалатальными и непалатализованными согласными; в украинских диалектах учитывается различие позиций в закрытом и открытом слогах; на сербскохорватской и чешской территории элиминируются некоторые позиции, в которых представлен нетипичный рефлекс *ě.

Анализ обобщающих (синтетических) карт показывает, что они в ОЛА занимают особое место. Языковая основа атласа — это факты современных славянских диалектов, извлеченные в результате обследования по Вопроснику ОЛА. Карты на конкретные словоформы по своему назначению укладываются в такой корпус материала — они строго синхронны (или монохронны), отражая лишь то, что реально засвидетельствовано в современных диалектах. Каждый знак на такой карте подтвержден материалом из картотеки ОЛА.

Обобщающая карта показывает такие состояния диалектных систем, которые не во всех диалектах могут быть аргументированы современными данными. Поэтому часть современных фактов не картографируется, а на карту наносятся данные реконструкции более ранних состояний диалектов. Это означает, что не все решения, принимаемые на обобщающей карте, документируются картотекой ОЛА, а тем самым и картами на конкретные словоформы (например, при составлении карты I авторы ссылаются на такие работы, как [7, 10, 11]).

Внесение на обобщающую карту данных реконструкции может при-

вести, к тому, что на одной плоскости окажутся явления, относящиеся к разным хронологическим срезам. Так, устанавливаемая на карте одинаковая рефлексация *ě под ударением и без ударения в польских диалектах относится ко времени до начала процесса изменения старопольских долгих гласных, поскольку эти изменения захватывали *a*: и *e*: любого происхождения, а не только из *ě, и таким образом перекрывали результаты первоначальной рефлексации *ě (нередко набор зафиксированных картотекой безударных континуантов *ě короче того, который представлен под ударением; не исключено, что этот факт отражает специфику картотеки ОЛА и обусловлен малым количеством примеров на *ě в безударном слоге, особенно перед переднеязычными согласными). Польское изменение *ě > *a*, *e* относится ко времени до падения редуцированных.

Во многих украинских диалектах ударение также не влияет на качество рефлексов *ě, но первоначальное фонетическое изменение *ě относится ко времени после падения слабых редуцированных (до совпадения сильных редуцированных с *e*, *o*). В русских диалектах *ě, как гласный, отличный от всех прочих, был утрачен или только в безударных слогах или независимо от ударения. При этом безударный *ě утрачивал свою специфику сначала в позиции без ударения, а затем и под ударением. Происходило это после падения слабого и перехода сильного *ь в *e*, после изменения *e* > *o* под ударением.

К разным хронологическим срезам могут относиться и факты фонологии *ě. Ср. совмещение на одной карте таких явлений, как совпадение *ě, с *e*, *a* в польских, происшедшее до падения редуцированных, и сохранение фонологической индивидуальности рефлексов *ě в современных украинских и русских диалектах.

Совмещение на обобщающей карте данных, относящихся к разным хронологическим срезам, делает карту полихронной (о полихронии в диалектологическом исследовании говорил Р. И. Аванесов в своем докладе на V Международном съезде славистов [12]). Эта полихрония эксплицируется при сопоставлении синхронных карт на конкретные словоформы с обобщающими картами. Обнаруживающееся при этом различие в документированности карт может быть интерпретировано как показатель расстояния между разными хронологическими уровнями в развитии диалекта.

Как было сказано, обобщающие карты отличаются от карт на отдельные словоформы выбором объекта сопоставления. На конкретных картах — это морфема, содержащая праславянскую фонему, а на обобщающих картах — это позиция, в которой выступает рефлекс праславянской фонемы. Однако уровень определения позиции при этом может быть разным. С одной стороны, это конкретный фонетический контекст, учет которого необходим для выяснения закономерностей рефлексации праславянского гласного или в сравнении с другими праславянскими гласными (такова открытость/закрытость слога в украинских диалектах), или безотносительно к другим праславянским гласным (позиции перед переднеязычными и перед другими согласными в польских). С другой стороны, на карту выносится позиция в значении фонологической категории. Это имеет место тогда, когда картографируется наиболее позиционно независимый рефлекс или рефлекс в сильной фонологической позиции (для рефлексов *ě такова позиция под ударением в восточнославянских диалектах, позиция перед твердым согласным в русских диалектах).

Позиция как фонетический контекст соотносится лишь с фонетическим качеством рефлексов. Позиция как фонологическая категория соотносится с фонемным статусом рефлексов. Сопоставление на одной карте разнотипных позиций лишает однородности основу этого сопоставления.

Принцип сопоставимости картографируемых явлений не всегда может быть выдержан и в том случае, когда рефлексы картографируются в позициях, одинаково определяемых в современных диалектах. Так, для выяснения отношения рефлексации *ě к ударению в принципе оптимальным является сопоставление данных, полученных в результате сравнения ударного слога с одинаковым (по месту относительно ударения) безударным

в каждом диалекте. Но специфика современного ударения в славянских диалектах не позволяет этого сделать. Так, в чешских диалектах, например, отсутствует предударный слог, а в русских именно предударные слоги показательны для судьбы *ě (как и других гласных неверхнего подъема). В этих условиях основой сопоставления на карте становится безударность слога безотносительно к его положению относительно ударения.

Следует также учитывать, что соотнесение рефлексов *ě с ударным/безударным слогом условно адекватно отражает положение, при котором происходило первоначальное изменение *ě. На карте положение рефлекса *ě относительно ударения определяется по современному состоянию диалектов — реконструкция здесь невозможна, т. к. слишком бы усложнила картографическую ситуацию. Но современное расположение слогов относительно ударения в разных диалектах в неодинаковой мере отражает состояние, в контексте которого происходило изменение *ě. В диалектах со свободным подвижным ударением сходство может быть велико. В диалектах с фиксированным ударением вероятность несовпадения места ударения в одной и той же словоформе в современных диалектах, с одной стороны, и на временном срезе, когда происходило первоначальное изменение *ě ,— с другой, весьма значительна.

Анализ обобщающих карт первого выпуска фонетико-фонологической серии ОЛА, посвященного рефлексам *ě, позволяет сказать, что материал атласа, отражающий современное состояние славянских диалектов, не в полной мере располагает теми интерпретационными возможностями, которые необходимы для составления обобщающих карт, призванных показать изменение праславянских фонем в его системных связях. Для этих карт необходимо привлечение данных, находящихся за пределами разделов Вопросника, связанных с исследуемыми праславянскими фонемами, с одной стороны, и за пределами картотеки ОЛА, с другой.

Карты на отдельные словоформы и обобщающие карты настолько различны по своим принципам, что не могут расцениваться как однотипные произведения, различающиеся лишь степенью сложности извлекаемой из них информации. Карты на отдельные словоформы и обобщающие карты различаются: 1) отношением к временной координате (монохрония и полихрония); 2) основой сопоставления картографируемых объектов (тождество конкретной морфемы в одном случае и тождество позиций разного типа — в другом).

В связи с тем, что в обобщающие карты включаются элементы реконструкции более ранних состояний славянских диалектов, к этим картам не могут быть приложены унификационные требования, которые обязательны в отношении карт на конкретные словоформы [13]. В частности, для обобщающей карты может создаваться особая легенда, отличная от той, которая принята в качестве обязательной для соответствующей серии карт на отдельные словоформы. Обобщающая карта — это произведение, отражающее индивидуальную концепцию ее авторов, и в этом также ее отличие от конкретной карты.

В докладе Р. И. Аванесова на VIII Международном съезде славистов было указано на то, что не все из тех проблем, которые могут возникнуть в ходе работы над атласом, были в свое время предусмотрены Вопросником ОЛА, документом, «в значительной мере предопределяющим объем, характер, принципы, на которых основан атлас» [1, с. 13]. В этой связи надо подчеркнуть, что проблема обобщающих карт относится к числу таких, которые вообще не могли быть в полной мере предусмотрены Вопросником ОЛА, поскольку он не мог ставить задачу сбора фактов, реконструируемых для периодов, промежуточных между позднепраславянским и современным состоянием славянских диалектов.

Несмотря на то, что обобщающие карты по характеру своей аргументации выходят отчасти за пределы картотеки ОЛА, они являются логически необходимым компонентом атласа, поскольку устанавливают связь между современным состоянием диалектов и их историей и дают системную интерпретацию тем изменениям, которые претерпели славянские диалекты.

Каждый выпуск ОЛА будет содержать тот максимум сведений о карто-

графируемом сюжете, который предусмотрен современной наукой. Это может быть достигнуто лишь в том случае, если собрание карт на отдельные словоформы будет сопровождаться обобщающими (синтетическими) картами.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Аванесов Р. И.* Общеславянский лингвистический атлас (1958—1978). Итоги и перспективы.— Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1978.
2. Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Мінск, 1963.
3. Диалектологический атлас русского языка (рукопись находится в Секторе диалектологии и истории русского языка Ин-та русского языка АН СССР).
4. *Керик С., Тополиньска З., Видоески Б.* Интерпретация на фонетиска карта со проблемот **ě* в **gvězda* в општословенскиот лингвистички атлас (ОЛА).— Македонски језик, 1977, XXVIII, с. 62.
5. Общеславянский лингвистический атлас. Вступительный выпуск. М., 1978, с. 86—229.
6. Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskich, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opštesłovenskim lingvističkim atlasom. Sarajevo, 1981, s. 12—13.
7. *Stieber Z.* Jak brzmiało prasłowiańske jat? — Prace filologiczne, 1964, XVIII, cz. 2.
8. *Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S.* Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa, 1955, s. 81.
9. *Селищев А. М.* Славянское языкознание. М., 1941, с. 308.
10. *Бірыла М. В.* Рэфлексы агульнаславянских *о*, *ъ*, *ѣ*, *е*, *ь* у беларускіх гаворках.— Працы Ін-та мавазнаўства АН БССР, 1959, вып. VI.
11. *Иванов В. В.* Историческая грамматика русского языка. М., 1964.
12. *Аванесов Р. И.* Описательная диалектология и история языка.—В кн.: Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. М., 1963, с. 299.
13. Инструкция к составлению фонетических карт ОЛА, комментариев и индексов к ним.— В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1981. М., 1983.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1983

К IX МЕЖДУНАРОДНОМУ СЪЕЗДУ СЛАВИСТОВ

БЕРНШТЕЙН С. Б.

К ВОПРОСУ О ЧЛЕНЕНИИ БОЛГАРСКИХ ДИАЛЕКТОВ

Памяти Стойко Стойкова

Последние годы своей жизни проф. Ст. Стойков много и успешно работал над проблемой членения болгарских диалектов для уяснения взаимоотношений между ними. Его интересовали вопросы современного диалектного членения и связи последнего с периодом, когда шло формирование самого болгарского народного языка. С полным основанием он полагал, что пришло время для капитального пересмотра всей проблемы в целом. «Български диалектен атлас» (I—IV, София, 1964—1981), «Атлас болгарских говоров в СССР» (М., 1958), частные лингвогеографические исследования последних трех десятилетий, публикации по топонимике дают возможность по-новому подойти к решению этой весьма сложной проблемы на основе не только фонетических и морфологических, но словообразовательных и главным образом лексических признаков.

Установление взаимоотношений между диалектами любого языка очень важно для понимания современной языковой ситуации, для выяснения общих и частных вопросов истории литературного языка, для раскрытия процесса складывания и развития народного языка на основе древних племенных диалектов. Современная диалектная карта своими наиболее архаическими чертами уходит в далекое прошлое, она может свидетельствовать о взаимоотношении древних диалектов, о территории их распространения, об их границах.

Для выяснения древнейшего диалектного членения языка необходимо располагать тремя видами источников: памятниками древней письменности, отражающими особенности древних диалектов, данными современных диалектов и топонимическими данными. Умело сопоставляя эти три вида источников, можно в той или иной степени восстановить древнейшие диалектные черты и определить основные диалектные группы и их взаимоотношение. Для разных языков соотношение указанных трех источников будет неодинаковым. Для болгарского языка весьма значительным и определяющим будет второй вид источников, так как до наших дней дошло очень мало памятников древней болгарской письменности, выразительных в диалектном отношении. В ином положении находится историк русского языка, в распоряжении которого имеется большое число грамот, частных писем, приходно-расходных монастырских, церковных и частных книг, юридических документов, завещаний, писцовых книг и т. д. Конечно, и в данном случае велика роль тех фактов, которые содержатся в диалектах.

Перенесение современных изоглосс в прошлое, особенно далекое прошлое, является весьма деликатной операцией. Здесь возможна модернизация, нарушение хронологии. Эта операция требует большого числа изоглосс, относящихся к звуковому и грамматическому строю языка, к словарному составу, к семантике. Рассматриваемые факты должны относиться к древнейшим эпохам истории данного языка. Обязательным условием является наличие пучка изоглосс. Чем они разнообразнее и богаче, тем надежнее будут реконструкции. На основе изолированной изоглоссы обычно серьезных выводов делать нельзя. Кроме того, необходимо учитывать всю ту сумму сведений, которую историк языка может получить в специальных исследованиях демографического характера.

Установлением диалектных признаков древнеболгарского языка занимались уже первые историки болгарского языка. В этом нет ничего удивительного, так как древнеболгарский язык характеризовался «поразительным диалектическим расчленением» [1]. Однако это утверждение московского слависта было скорее следствием интуиции, нежели результатом конкретных наблюдений. В ту пору имелось еще очень мало фактов, на основе которых утверждение В. Н. Щепкина можно было бы проиллюстрировать большим числом примеров из разных областей фонетики, грамматики или лексики. Фактически речь шла главным образом о различной судьбе сверхкратких ъ, ь в «сильной» позиции, о характере произношения ѣ и некот. др. Были выявлены некоторые устойчивые признаки, которые давали возможность в ряде случаев безошибочно разграничить рукописи Охридской и Преславской орфографических школ.

Со времени публикации «Очерка путешествия по Европейской Турции» В. И. Григоровича (1848 г.) в болгаристике прочно утвердилось членение болгарских диалектов на две, существенно различающихся по своим размерам, зоны: восточноболгарскую и западноболгарскую. Основным признаком их разграничения служило произношение звука ѣ. В западной зоне ѣ во всех позициях изменился в гласный *е*, в восточной в определенных позициях в *'а-е* или в *ä*, т. е. в широкий гласный *е*, приближающийся к *а*. Болгарские диалектологи этот звук теперь обозначают *ê*. Уже первые диалектологи определили границу западного и восточного произношения ѣ: от г. Никополя на Дунае она идет на юг извилистой линией до Пазарджика, затем резко поворачивает на запад к Разлогу. В дальнейшем вносились различные уточнения, исправления. Справедливо указывалось на то, что в результате лексикализации этого фонетического признака четкая в прошлом граница в настоящее время в достаточной степени уже размыта. Теперь принято говорить не о границе, а о широкой полосе, на которой наблюдаем взаимодействие западных и восточных признаков. Однако общее направление изоглоссы, установленное еще первыми диалектологами, выдержало испытание временем (прежде всего от Никополя до Пазарджика).

Серьезное и систематическое изучение болгарских диалектов началось в последние годы XIX в. Связано оно с именами Л. Милетича и Б. Цонева. Оба не ограничивались лишь описанием отдельных говоров, но ставили перед собою задачи более общего характера, в частности, пытались решать проблему группировки говоров. Признавая основательность главного классификационного признака (произношение ѣ), Милетич, вслед за В. И. Григоровичем и К. Иречеком, стремился показать, что западные и восточные говоры Болгарии отличаются между собой не только по произношению ѣ, но и рядом других признаков. В главе «Allgemeine Charakteristik des Ostbulgarischen» своего капитального труда «Das Ostbulgarische» (Wien, 1903) он пытался расширить круг тех классификационных признаков, которые вместе с произношением ѣ делят всю болгарскую языковую территорию на западную и восточную. В свое время Григорович указал шесть языковых признаков, подтверждающих членение говоров по признаку ѣ [2]. Милетич обратил внимание на одиннадцать диалектных особенностей, которые, по мнению автора, в той или иной степени совпадают с основным классификационным признаком (т. е. с характером произношения ѣ). На первое место Милетич поставил редукцию безударных гласных в восточных говорах и отсутствие редукции в западных. Затем в перечне признаков идут совпадение безударных ѫ и ъ в восточных и отсутствие этого явления в западных, сохранение восточными говорами ударного ъ и переход его в *о* в западных говорах, совпадение в восточных рефлексов ѧ и ѫ и отсутствие этого явления в западных говорах, наличие в восточных говорах особого типа редуцированного *е* ('ъ) и отсутствие его в западных. Затем Милетич обратил внимание на характерную особенность многих восточных говоров: изменение исконного *а* в случаях типа *жаба—жеби*, *шапка—шепки* и под. Не прошел Милетич и мимо такой важной черты, как степень смягчения согласных: восточный консонантизм характеризуется большей степенью палатальности, нежели западный. К восьмому

признаку Милетич отнес различную судьбу праславянских сочетаний *tj* и *dj*. К девятому, вслед за Григоровичем, он причислил судьбу флексий 1-го л. ед. ч. настоящего времени. В восточных говорах глаголы первого и второго спряжения имеют гласную, восходящую к *ж*, тогда как в западных глаголы всех трех спряжений представляют обобщение на флексию нетематических глаголов. Десятый признак, по Милетичу,— сохранение в восточных говорах сокращенного инфинитива типа *недей вика* и полное исчезновение инфинитива в западных говорах. К последнему классификационному признаку Милетич отнес ударение: в восточных говорах ударение консервативнее, нежели в западных.

Самым решительным образом против классификационной схемы Милетича выступил Б. Цонев. По его мнению, только *ѣ* может служить надежным признаком членения болгарских диалектов на восточные и западные. «Нет других отличий между двумя частями болгарских диалектов, кроме *ѣ*» [3]. В данном случае болгарский ученый имел в виду, конечно, не отдельные диалектные отличия, а лишь черты, которые могут служить классификационными признаками. Анализируя пункт за пунктом все доказательства Милетича, Цонев показывает, что далеко не все восточные признаки Милетича охватывают всю территорию Восточной Болгарии, что по некоторым чертам часть так называемых восточных говоров объединена не с другими восточными, а с западными говорами. Касаясь первого признака Милетича, Цонев справедливо указывает, что редукция безударных *а*, *о*, *е* прежде всего характерна для северо-восточного диалекта. В большинстве юго-восточных говоров редукции нет или она проведена слабо и непоследовательно. И по ряду других признаков юго-восточные говоры отличаются от северо-восточных и приближаются к западным (например, по судьбе флексии 1-го л. ед. ч. настоящего времени в глаголах первого и второго спряжений). Из всех этих наблюдений Цонев, однако, не сделал очень важного вывода: признаки, предложенные Милетичем, в ряде случаев справедливы, но только для отграничения западного диалекта от северо-восточного. Это обстоятельство через много лет отметил Ст. Стойков. «Нельзя сказать, что отмеченные Милетичем особенности характерны для всех восточных говоров, потому что действительно они не встречаются во всех и потому, что их границы не совпадают с границей *ѣ*. Однако в той или иной степени они характерны для большинства восточных говоров. Цонев не прав, когда их полностью отвергает» [4, с. 65]. Опубликованный «Български диалектен атлас» хорошо показывает, что северные говоры Болгарии более четко и определенно членятся на западные и восточные, нежели южные говоры. Традиционные фракийские говоры, свободные в той или иной степени от влияния балканских говоров, во многом тяготеют к западным говорам. Именно это обстоятельство ослабило силу критических аргументов Цонева против Милетича. Если мы ограничимся лишь сопоставлением северо-восточных говоров с западными, то многие подмеченные Милетичем признаки в той или иной степени будут совпадать с изоглоссой *ѣ*. Здесь проходила в прошлом глубокая и устойчивая граница. Такой границы к югу от Пазарджика не существовало.

В «Das Ostbulgarische» специальная глава посвящена классификации диалектов Восточной Болгарии. Здесь в основу классификации Милетич положил морфологический признак — членную форму муж. р. ед. ч. По этому признаку восточные диалекты делятся на северные (так называемый *о*-диалект) и южные (так называемый *ъ*-диалект). Согласно этому признаку Милетич объединил все балканские говоры с фракийскими (*ъ*-диалект) и противопоставил их мизийским (*о*-диалект). Уже давно Цонев показал полную произвольность данного классификационного признака. Без особого труда в самом *о*-диалекте Цонев обнаружил многие особенности южного происхождения. Еще во время работы над «Атласом болгарских говоров в СССР» нам стала очевидна несостоятельность классификации диалектов Восточной Болгарии по членной форме муж. р. ед. ч. Отвергая вслед за Цоневым данную классификацию, Стойков писал: «Б. Цонев отверг эту особенность как классификационный признак и он прав, как это показали последние изучения болгарских говоров в пределах Совет-

ского Союза, где встречаются балканские говоры с членной формой *-о*» [4, с. 69—70].

Вместо классификации Милетича Цонев предложил свою группировку всех восточных диалектов. И в этом случае Цонев избрал судьбу *ѣ*. Схематично всю болгарскую территорию по произношению *ѣ* он представил следующим образом: западноболгарский диалект — во всех позициях на месте *ѣ* находим гласный *е*, т. е. чередование гласных отсутствует, северо-восточный диалект представляет на месте *ѣ* чередование *'а//е* в зависимости от ударения и твердости или мягкости последующего согласного, юго-восточный диалект — чередование отсутствует, так как на месте *ѣ* находим *а* или *ä* во всех позициях. Автор представил это в следующем виде: *лето — летен, лято — летен, лято — лятен*. Под последним может скрываться как *л'áто — л'áтен*, так *и л'äто — л'äтен*. Как показали последующие исследования, подлинная картина значительно более сложная [5, с. 313—332]. Однако для наших целей в данном случае можно ограничиться схемой Цонева.

В результате собственных наблюдений Цонев установил изоглоссную линию, которая отделяет все балканские и мизийские говоры от фракородопских. «Граница между северо-восточными и юго-восточными говорами совпадает с племенной границей т. н. рупцов или рупалан»,— пишет Цонев [3, с. 307]. Установленная им изоглосса шла волнистой линией с небольшими отклонениями на юг и на север от Пазарджика до Бургаса.

До начала интенсивного изучения болгарских говоров, главным образом в связи с работой над диалектологическим атласом, группировка по признаку произношения *ѣ* не вызывала сомнений. Об этом, между прочим, свидетельствует карта, приложенная к книге Ст. Стойкова «Българска диалектология за първи курс на учителските институти», опубликованная в Софии в 1955 г., т. е. за год до начала работы над «Български диалектен атлас». Здесь показано, что изоглосса идет от Пазарджика, минует Пловдив, Чирпан, Елхово и доходит до Черного моря южнее Бургаса. Эту же изоглоссу *ѣ* от Пазарджика до Бургаса Стойков указывает даже в первом издании своего труда «Българска диалектология» (1962). Она дана на карте № 1. Мы все исходили из реальности изоглоссы Цонева, из того положения, что к северо-восточному диалекту относятся балканские и мизийские говоры, а к юго-восточному фракийские и родопские говоры. Не вызывала она сомнений и у Ст. Младенова, который по этому поводу писал: «А юго-восточные болгарские говоры во Фракии и во всей Родопской области сравнительно хорошо сохраняют якавское произношение староболгарского *ѣ* вне зависимости от последующего звука или ударения» [6].

Изучение юго-восточных говоров по программе «Български диалектен атлас» в 1956—1959 гг. совершенно неожиданно не подтвердило наблюдений Цонева. Установленная им изоглосса теперь идет иначе. Якавское произношение (т. е. *л'áто — л'áтен*) теперь было обнаружено на сравнительно незначительной территории, возле южной границы Болгарии. Лишь к северу от Харманли и к западу от Тополовграда в селах Опан, Странско. Бяло поле, Диня, Длъгнево, Гълъбово, Д. Бельово и др. изоглосса нечередующегося *ѣ* длинным и узким языком протянулось далеко на северо-запад. К востоку от Елхово изоглосса поднимается до села Зорница (самый северный пункт). Новые наблюдения были столь неожиданными, что Стойков даже поставил вообще под сомнение истинность наблюдений Цонева. «Невозможно, чтобы за полстолетие якавский тип произношения *ѣ* перед мягким слогом изменился в екавский» [7, с. 110]. В статье «Ятовият преглас в български език» Стойков решительно утверждает, что «не существует указанной Б. Цоневым второй границы *ѣ*» [8]. Специально изоглосса Цонева была исследована участницей диалектологических экспедиций Т. В. Поповой. На составленной ею карте видно, что в большинстве сел Хасковской, Первомайской, Димитровградской, Елховской и Грудовской околий, даже во многих селах Ивайловградской околии якавское произношение *ѣ* теперь не известно. В отличие от Стойкова Попова не выражает сомнения в подлинности наблюдений Цонева. «Вполне возможно, что причина этого (т. е. расхождений между сообщением Цонева

и наблюдениями участников работы над атласом.— *Б. С.*) кроется в тех изменениях, которые претерпели рассматриваемые говоры за последнее время» [9]. Я твердо убежден именно в этом. Для этого имеется ряд оснований. Рассмотрим их.

1. Как показывает карта Поповой, и в настоящее время произношение *ѣ* как *а* или *ä* перед мягким согласным известно многим говорам Южной Болгарии. Однако оно здесь сильно отступило не только под воздействием северо-восточных говоров, но и в результате влияния литературной нормы. Учителя в сельских школах особое внимание уделяют устранению этого диалектного признака, неприятного не только носителям литературной нормы, но и западным и северо-восточным говорам. Произношение *лятен*, *недяля*, *вряме*, *бяше*, *двя*, *къдя* и под. принадлежит к тем диалектным признакам, которые легко обнаруживают люди, даже не имеющие специальной фонетической подготовки (в отличие, например, от редукции безударных гласных или степени мягкости согласных перед гласными *е*). Мужское население стремилось преодолеть этот диалектизм в армии.

2. Значительно лучше якавское произношение сохранилось в тех болгарских селах, которые расположены на территории Турции и Греции. Здесь отсутствует контакт с екавскими говорами и нет воздействия литературной нормы. О наблюдениях Ст. Младенова речь шла уже выше. Их подтверждают и более поздние наблюдения, хотя и на данной территории фиксируется немало вариантов. В исследовании Т. Бояджиева «Говорът на село Съчанли, Гюмюрджинско» (София, 1972) на месте *ѣ* обычно находим или последовательное якавское произношение или слабую степень чередования — *а//ä*.

3. Для решения вопроса очень важны данные языка болгар Бессарабии и Северного Причерноморья. Среди болгар СССР самое большое место занимают переселенцы из района Балкан и из Фракии. Они поселились здесь еще в первой половине XIX в. [10]. Самым ярким и отличительным признаком фракийских переселенцев является произношение *бяше*, *лятен*, *смяшно*, *невяста*, *къдя*, *двя* и под. Об этом скажет каждый наблюдательный болгарин из села, в котором живут балканские переселенцы. Различие в произношении особенно чувствуется в селах со смешанным населением. До 1938 г. в болгарских селах СССР преподавание велось на родном языке. В организации преподавания большую помощь оказывали представители многочисленной в те годы болгарской эмиграции. Учителей для болгарских школ готовил болгарский сектор Одесского педагогического института, прежде всего кафедра болгарского языка и литературы. Среди студентов было немало лиц из фракийских сел. Многие из них в школе плохо усваивали литературное произношение. Члены кафедры вели большую работу по исправлению их диалектного произношения. Уже на втором курсе студенты, как правило, хорошо усваивали чередование *лято—летен*, *грях—грешка*, *бях—беше*, *смях—смешно*, переходили на екавское произношение в словах типа *невеста*, *време*, *нещо*, *добре* и т. д. Студенты сами активно стремились перейти к нормированному произношению, так как их речь в данном пункте представлялась непрестижной даже самим студентам. Все сказанное дает нам полное основание отнестись с доверием к наблюдениям Цонева.

В каждой диалектной системе имеются устойчивые и неустойчивые элементы. Эти различия наблюдаются на всех уровнях, в частности, и в фонетике. Неустойчивые черты могут изменяться в сравнительно короткое время, так как они легко поддаются влиянию соседних говоров и не оказывают упорного сопротивления воздействию норм литературного языка. К таким неустойчивым элементам диалектной системы относится фонема *ä* на месте *ѣ*. В одних случаях находим чередование *'а//ä* (*ä* сохраняется только перед мягкими согласными), в других всюду будет *'а*, в-третьих, наконец, утверждается балканское чередование *'а//е*. Нет сомнений, что в прошлом от Пазарджика до Бургаса шла граница, отделяющая юго-восточные говоры от северо-восточных. Важнейшим признаком являлось произношение *ѣ*. К северу от границы на месте *ѣ* суще-

ствовало чередование *'а//е*, к югу чередование отсутствовало. Здесь наиболее архаичным признаком является *'ä*, который употреблялся во всех фонетических позициях. Таким образом, юго-восточные говоры в данном случае типологически ближе к западным говорам, нежели к северо-восточным, так как их наиболее архаическая структура также не знала чередования.

«Български диалектен атлас» на многих картах хорошо показывает, что влияние северо-восточных говоров на фрако-родопскую группу говоров охватывает многие явления языка, что оно продолжается активно и в настоящее время. Наиболее подверженной влиянию балканских говоров является равнинная часть, Фракия. Лучше сохраняются исконные черты диалекта данного региона в горных районах Странджи и Родоп. На многих картах атласа балканские говоры отдельными своими чертами как бы разрезают острым клином юго-восточные говоры. Так называемый «загорский клин» на многих картах атласа четко, конечно, по-разному, обособляет говоры горных районов друг от друга. Наступление балканских говоров на юго-восточные говоры идет мощно. Процесс этот старый, и он в своей основе отнюдь не объясняется только влиянием норм литературного языка. Последние лишь ускорили этот процесс, сделали его в последние сто лет более интенсивным.

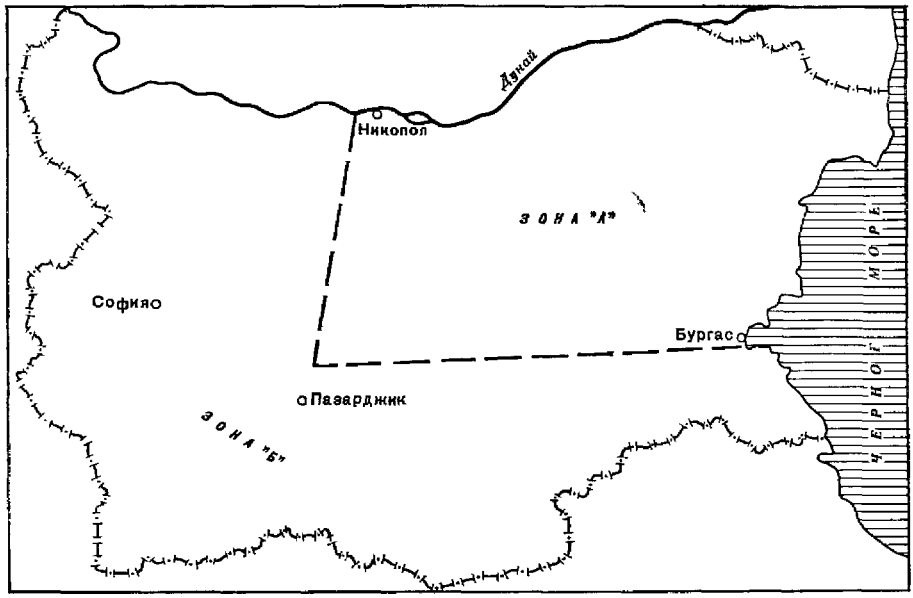
Уже давно специалисты по болгарской диалектологии обнаружили в говорах Странджи так называемые «западноболгарские» особенности. Карты атласа не только подтвердили прежние наблюдения, но и показали территорию их распространения. Увеличился и список «западноболгаризмов». Обычно принято было объяснять все эти факты влиянием языка болгарских переселенцев из различных районов Западной Болгарии, хотя никаких надежных исторических свидетельств о массовых переселениях сюда не сохранилось. Переселенцы из Западной Болгарии известны в районе Странджи. Они четко отличаются от местных жителей. Коренное население именует их тронками. Отдельные группы западноболгарских переселенцев встречаются и в других районах Юго-Восточной Болгарии. В языковом отношении они все в той или иной степени представляют чужеродный элемент. Никакой связи между их диалектными особенностями и так называемыми местными «западноболгаризмами» нет. Против старого предположения о переселении свидетельствует и сам характер изоглосс. Достаточно познакомиться с картой № 75 первого тома. Карта посвящена произношению сочетаний *чер-* в словах типа *черен*, *червен*, *червей*. Она хорошо показывает, что так называемое «западноболгарское» произношение с начальным *цър-* (*цървен* и др.) является, бесспорно, здесь своим, исконным. Эта древняя черта юго-восточных говоров, которая на территории юго-западных говоров прерывается восточными родопскими говорами, где находим *черен* и под. Западнородопские говоры уже вместе со всеми западными говорами вновь представляют *цървен* (см. карту № 95 второго тома). Нет сомнений, что в прошлом вся Южная Болгария вместе с Западной знала *цървен*. «Загорский клин» (от Марицы до Тунджи) рассек единую территорию сравнительно поздно. Труднее объяснить *червен* в восточнородопских говорах. К таким же своим, старым особенностям принадлежит и личное местоимение 1-го л. ед. ч. И в данном случае исконной для юго-восточной территории является «западноболгарское» *я*. Это же местоимение находится и в родопских говорах (см. карту № 160 в первом томе и карту № 184 в третьем томе).

На близость южных говоров Болгарии к западным болгаристы обратили внимание еще в 30-х годах XX в. На II Международном съезде славистов в 1934 г. в Варшаве Хр. Кодов в докладе «Тракийските говори като преход между източнобългарските и македонски» [11] решительно утверждал, что лексические особенности фракийских говоров, связывающие их с западными и противопоставляющие северо-восточным, являются не заимствованными, как думал Цонев, а за ним многие болгаристы, а местными, «спонтанными». Более обстоятельно этот вопрос затронул К. Мирчев в монографии «Неврокопският говор» (София, 1936). В изученном говоре, по судьбе *ѣ* относящемся к юго-восточным говорам, болгарский уче-

ный обнаружил целый ряд лексем, хорошо известных южным и западным говорам Болгарии, но отсутствующих в говорах северо-восточной Болгарии. «Многие из них несут явные следы древности»,— пишет Мирчев [12]. Список Мирчева включал 39 лексем. Автор хорошо отдавал себе отчет в том, что будущие лингвогеографические исследования смогут внести те или иные коррективы. Следует отметить, что они внесли мало изменений, но много существенных дополнений.

Все классификационные критерии в диалектологии устанавливались главным образом на основе фонетических признаков. Считалось, что именно звуковой строй языка является наиболее устойчивым и консервативным. Грамматические признаки казались менее надежными, а лексические отвергались полностью. По этому поводу Цонев писал: «Та лингвистическая классификация будет иметь более твердые основания и большее научное значение, которая базируется на фонетических различиях. Только в случае, когда отсутствуют нужные фонетические признаки, можно прибегнуть к формальным» [3, с. 200]. О возможности использования для классификации диалектов или говоров лексических признаков Цонев даже не вспоминает. Новая страница в истории болгарской диалектологии связана с именем Ст. Стойкова, основоположника лингвистической географии в Болгарии. Еще до начала работы над болгарским диалектологическим атласом он осуществил ряд интересных начинаний, важных как для теории лингвистической географии, так и для болгарской диалектологии. Во время работы над первым томом атласа многие из мыслей Стойкова получили подтверждение, много было обнаружено новых фактов. Самое существенное и важное состоит в том, что Стойков показал, что и лексические признаки очень устойчивы, что они могут служить надежным основанием для установления древних диалектных границ. После завершения работы над первым томом атласа он приступил к изучению вопроса о древнем диалектном членении болгарского языка на основе как старых, так и всех новых материалов. Первый набросок будущей, к сожалению, незавершенной работы был доложен и обсужден на V Международном съезде славистов в Софии в 1963 г.

В докладе «Основното диалектно деление на български език» Стойков предложил новую классификацию болгарских диалектов. Впервые диалектолог получил возможность строить гипотезы на основе богатейшего материала из большого числа пунктов, обследованных по единой программе квалифицированными диалектологами. Его предшественники устанавливали характер и направление изоглосс по личным наблюдениям, которые, естественно, не могли охватывать большого числа пунктов. Теперь в распоряжении ученого были карты болгарского диалектологического атласа с густой сеткой обследования, карты из многих специальных исследований лингвогеографического характера. В таких благоприятных условиях можно было уже уверенно выбрать нужные признаки членения современных диалектов и на более прочной основе строить гипотезы о диалектном членении древнеболгарского языка. В докладе Стойков предложил пять карт, содержащих 27 лексических, морфологических, акцентных и фонетических изоглосс. Направление изоглосс дало возможность докладчику прийти к очень важным выводам. Главный вывод состоит в том, что древнеболгарский язык искони на Балканах имел два основных диалекта. Один занимал территорию современной Северо-Восточной Болгарии, другой Западной и Юго-Восточной. Первый диалект Стойков назвал центральным, второй — периферийным. «Из всего сказанного до сих пор очевидно, что установленные две основные диалектные области болгарского языка — центральная и периферийная — очень древние. Они дают интересные материалы относительно генезиса болгарского языка и болгарского народа. Можно предположить, что в северо-восточных болгарских землях поселились одни болгарские славянские племена, а в западных и южных другие. Можно думать, что на Балканский полуостров они пришли в разное время» [7, с. 313]. По мнению Стойкова, славянские племена в Северо-Восточной Болгарии вместе с булгарами Аспаруха основали Болгарское государство. Здесь находилось самое



активное в языковом и этническом отношении население. Именно здесь шел процесс формирования важнейших отличительных особенностей болгарского языка. «Некоторые языковые особенности северо-восточных племен постепенно расширялись по мере консолидации болгарской народности» [7, с. 313]. Именно поэтому северо-восточный диалект Стойков назвал центральным.

При оценке доклада Стойкова необходимо отделить бесспорное от гипотетического. В настоящее время можно считать бесспорным, что южные говоры Болгарии вместе с западными говорами в прошлом составляли один диалект. Его восточная и северо-восточная границы шли от Никополя до Пазарджика, от Пазарджика до Бургаса. Носители этого диалекта заселили многие земли на Балканском полуострове за пределами современной Болгарии. Конечно, этот диалект не представлял полного единства даже в догосударственный период. Об этом могут свидетельствовать центральные родопские говоры. Я полностью разделяю утверждение Стойкова, что именно северо-восточный диалект (по терминологии Стойкова, центральный) играл определяющую роль в формировании главнейших отличительных признаков современного болгарского языка. Однако я не стал бы его называть центральным. При современном состоянии наших знаний целесообразнее пользоваться более нейтральными терминами (например, вместо центральный диалект — зона А, вместо периферийный — зона Б).

После смерти Стойкова работу по выявлению классификационных признаков болгарских диалектов продолжает его ученик, М. Младенов. За последнее десятилетие он опубликовал много статей о членении диалектов на основе картографирования различных лексем. Все они в той или иной степени подтверждают схему Стойкова. Младенов обратился к картографированию семантических признаков. В этом отношении большой интерес представляет его карта, посвященная картографированию семантики глагола *чувам*, опубликованная в сборнике «В памет на професор Стойко Стойков» [13]. В болгарском литературном языке существует глагол *чувам* в значении «слышать; слушать». В этом же значении глагол употребляется в говорах северо-восточного диалекта. Однако в Западной и Южной Болгарии этот же глагол имеет значение «беречь, хранить». Лишь в районе между Елхово и Грудово «загорский клин» рассекает единую территорию, отделяя говоры Странджи от других южных говоров.

Уже накоплен богатый материал, подтверждающий членение болгарских диалектов на зону А и зону Б. Однако исследования должны продолжаться как за счет увеличения все новых и новых признаков, так и

более точной и надежной их стратификации. В этом направлении предстоит еще большая работа, без которой создание будущей капитальной «Истории болгарского языка» не представляется возможным.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Щепкин В. Н.* Болонская псалтырь. СПб., 1906, с. IV.
2. *Григорович В. И.* Очерк путешествия по Европейской Турции. М., 1877, с. 164—165.
3. *Цонев Б.* История на българский език. Т. III. София, 1937, с. 214.
4. *Стойков Ст.* Българска диалектология. 2-о изд. София, 1968, с. 65.
5. *Цонев Б.* История на българский език. 2-о изд. Т. I. София, 1940.
6. *Младенов Ст.* Принос към изучване на българските говори в Източна и Западна Тракия.— В кн.: Бит и език на тракийските и малоазиатските българи. Ч. II. Език, София, 1936, с. 16.
7. *Стойков Ст.* Основното диалектно деление на български език. — В кн.: Славянска филология. Т. III. София, 1963.
8. *Стойков Ст.* Ятовият преглас в български език.— Български език, 1963, XIII, кн. 4—5, с. 317.
9. *Попова Т. В.* О границе «южного типа произношения ѣ».— В кн.: Статьи и материалы по болгарской диалектологии. Вып. 10. М., 1962.
10. *Бернштейн С. Б.* Основные этапы переселения болгар в Россию в XVIII—XIX веках.— Советское славяноведение, 1982, № 1.
11. *Кодов Хр.* Тракийските говори като преход между източнобългарските и македонски.— In: Księga referatów. II międzynarodowy zjazd slawistów. Ser 1. Językoznawstwo. Warszawa, 1934, s. 54—55.
12. *Мирчев К.* Неврокопският говор. София, 1936, с. 117.
13. *Младенов М. Сл.* Една лексико-семантична изоглоса в българския език: *чувам* «слушам»/*чувам* «назя, отглеждам».— В кн.: В памет на професор Стойко Стойков (1912—1969). Езиковедски изследвания». София, 1974, с. 323.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1983

КАЦНЕЛЬСОН С. Д.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ

(Окончание)

Основатель немецкой философии языка В. Гумбольдт, подобно другим языковедам-романтикам, много внимания уделял как общим вопросам типологии, так, в частности, и морфологической классификации языков. К известным другим романтикам классам языков он (правда, не без колебаний) добавил еще один, а именно класс инкорпорирующих языков. Встретившийся ему в некоторых американдейских языках специфический способ выражения грамматических функций, известный под именем инкорпорации, относительно редко обнаруживается в языках мира. В частности, он используется в некоторых реликтовых языках Сибири, так называемых «палеоазиатских», или «палеосибирских».

Особенностью инкорпорации как способа выражения грамматических функций является ее комбинированный морфолого-синтаксический характер, внешне напоминающий определенный прием морфологии словообразования, а именно словосложение, т. е. соединение двух или нескольких слов в одно в целях образования нового слова. Но, будучи по своему строению сложным целым, инкорпорация служит не целям словообразования, а целям выражения синтаксических отношений между объединенными в единый инкорпоративный комплекс словами. Ср. чукот.: *Тымачвэ-тынп-ын кораны* «(Я) кольнул в грудь оленя (его)», букв. «грудекольнул оленя» [13].

Своеобразие инкорпорации, ее гибридный лексико-морфологический и синтаксический характер должен был, по-видимому, смущать Гумбольдта, поскольку предполагаемая инкорпорацией текучесть границ между синтаксисом и морфологией плохо вязалась с классификационно-типологическими представлениями романтиков, основанными на гипотезе об агглютинативном происхождении флексии из односложных слов-корней. Инкорпорация как своеобразный морфологический прием, несводимый к форме слова, представляла в этом отношении явные трудности.

Заслуги Гумбольдта в области контенсивной типологии не сводятся к тем относительно небольшим дополнениям, которые были им внесены в морфологическую классификацию языков [14]. То, что связано с его именем в типологии, гораздо более масштабно. Он заложил теоретические основы типологии как лингвистической дисциплины.

В строе языков Гумбольдт различал два «конститутивных начала» — смысловое и звуковое. Смысловым началом он называл духовное достояние, связанное с формированием и функционированием языков. Смысловое начало по сравнению со звуковым отличается большей активностью и является ведущим в языке, тогда как звуковое начало пассивно. Но абсолютно пассивным считать его не приходится, ибо, как отмечал Гумбольдт, в силу воздействия на звуки смыслового начала они превращаются в членораздельные элементы речи и приобретают тем самым известную активность, проявляющуюся в процессе их символизирующей деятельности.

Принципиальное значение для теоретического обоснования типологии имеют высказанные Гумбольдтом соображения о мыслительных предпосылках родства языков. Ссылаясь на опыт переводов с разных языков, Гумбольдт находил, что хотя по степени своей адекватности переводы обнаруживают весьма широкую амплитуду колебаний, но уже сама по себе возможность перевода является «следствием общего родства всех языков, гибкости понятий и их знаков» [15, с. 651].

Обращаясь к основной проблеме типологии — проблеме сходств и различий в строе языков мира,— Гумбольдт находит, что выделенные им «начала» играют в этом отношении неравноценную роль. Отмечая, что естественная способность к языку и к пониманию всех языков является общей для всех людей, Гумбольдт заключает, что форма всех языков в сущности должна быть одинаковой: различие может наблюдаться только в избираемых средствах и только в границах, дозволяющих достижения общей цели. С другой стороны, Гумбольдт указывает, что «различия многообразно представлены в языках, и не в одних только звуках — это означало бы, что одинаковые вещи имели бы разные обозначения — но также в смысловом использовании формы и даже в своем мнении о ней» [15, с. 651].

Если бы все сводилось к одним лишь звуковым различиям, то, как замечает Гумбольдт, все языки оказались бы однотипными. «В действительности, однако, дело обстоит иначе, частью по причине обратного воздействия звучания на смысл, частью в силу индивидуальных отклонений внутреннего смысла в речи» [15, с. 651].

Гумбольдт приходит таким образом к заключению, что внешняя, т. е. звуковая сторона языка, в принципе пассивная, в процессе функционирования и развития может приобрести вторичную активность и оказывать обратное воздействие на смысловое содержание языка. Конкретных примеров такого воздействия он не приводит, в силу чего все рассуждение принимает в этом пункте абстрактный и чисто умозрительный характер. Было бы, однако, ошибкой видеть во всем этом плод абстрактного и оторванного от реальности философствования. В дальнейшем нам еще представится случай убедиться в том, как в последующем развитии науки эти казалось бы беспочвенные идеи обрастали живой плотью и принимали реальные очертания. Соссюровская теория «значимости» и генетически связанная с нею теория «семантического поля» с достаточным основанием могут рассматриваться как реализация гумбольдтовой догадки об «обратном воздействии стихии звучания на мысль».

Не ограничиваясь постановкой вопроса о соотносительной роли значения и звучания как факторов порождения сходств и различий в строе языков мира, Гумбольдт переходит вслед за этим к рассмотрению г е н е т и ч е с к и х к о р н е й языкового смысла. Традиционно различаемые в сфере языкового смысла специфические области грамматики и словаря рассматриваются им как генетически разнородные продукты мыслительной деятельности людей. Поскольку грамматические категории соприкасаются с логическими и в ряде случаев совпадают с последними, то давно уже высказывалось мнение, что сходство языков покоится на логической основе. Гумбольдт подхватывает эту мысль. «Грамматические категории,— замечает он,— являются по большей части мыслительными формами логического происхождения. В своей совокупности они образуют систему, которая, будучи логической, непосредственно не входит в язык и скорее является его мыслительной основой. Вместе с тем, однако, и логическими в собственном смысле слова их не назовешь, т. к. обращенные лицом к грамматике, они обнаруживают ряд особенностей. Они, можно сказать, составляют область логической грамматики, которая в сущности ни логикой, ни грамматикой не является; это идеальная система, не совпадающая с конкретными категориями отдельных языков».

О причинах отклонения грамматики от логики Гумбольдт говорит лишь в самых общих чертах. Различия между языками обусловлены прежде всего звуковой стороной языка, а именно тем обстоятельством, что звуки связаны с содержанием языковых единиц лишь внешним образом. Единство языков обусловлено единством их мыслительной основы. Если тем не менее языки обнаруживают расхождения и в функциональном содержании языковых форм, то происходит это «частично по причине обратного воздействия звуков, частично по причине индивидуальности внутреннего смысла и его обнаружения» [15, с. 651]. Эти положения не подкреплены у Гумбольдта достаточным фактическим материалом, но, как показало дальнейшее развитие науки, они не лишены некоторого реального

значения. Следует заметить, что рассуждения Гумбольдта о «внутренней форме языка [16] в известной мере развивают универсальный момент в строе языков мира.

Интуитивно улавливая сходство грамматики с логикой, Гумбольдт вместе с тем дальше самых общих и несколько противоречивых определений не идет. Границы сходств и различий им не уточняются, как не выясняются и причины несовпадения этих систем. Все это приводит к тому, что заключения, к которым он приходит, как бы повисают в воздухе.

Наряду с грамматикой, так или иначе воспроизводящей логическое начало в языке, здесь выделяется еще и другое начало, которое, в отличие от логики, относится не к мыслительной, а скорее к психологической сфере. Имея в виду словарный состав языка и в первую очередь процессы номинации, предполагающие кристаллизацию понятий и присвоение им определенных названий, немецкий языковед-мыслитель видит в них проявления не мысли как таковой, а процессов чувственного восприятия, фантазии и эмоций. Если логическое начало составляет универсальную основу в содержании языковых форм, то проявляющиеся в лексике психологические моменты символизируют национальную самобытность языка, его идиоматичность, свойственные языку идиоглоттические черты. Применительно к этой стороне языка Гумбольдт говорит о «национальном духе» или «гении» отдельного языка,— понятие, заимствованное им у английского философа Э. Шефтсбери и английского языковеда Дж. Харриса. В этой части изложение принимает у Гумбольдта особенно неясные и туманные формы. «Фантазия и эмоции,— говорит он,— создают индивидуальные образования, в которых проявляется индивидуальный характер нации и где при всей этой индивидуальности многообразие способов, с помощью которых достигается эта индивидуальность, и определений, в которых она выражается, представляется бесконечным» [15, с. 465]. Процесс номинации характеризуется в абстрактных и недостаточно определенных терминах. Постигая внешнюю природу, человек, по выражению Гумбольдта, самодеятельно активизирует свои внутренние ощущения и в соответствии со своими духовными потенциями, как они распределяются по отдельным разрядам, формирует в процессе языкотворчества «понятия — в их движении изнутри — навстречу слову» [15, с. 469]. В этом процессе всегда просвечивает национальное своеобразие. Гумбольдт не подкрепляет свои мысли иллюстративным материалом. Редким исключением является ссылка на санскрит, где значение «слон» выражается то словом «двузубый», то словом «многопьющий» (буквально «дважды пьющий»), то еще словом «однорукий» [15, с. 468].

Применительно к именам здесь, таким образом, выделяется генетический момент. Если ранее при рассмотрении грамматики и ее связи с логикой генетические моменты не всплывали на поверхность, то теперь, с переходом к номинации, резко подчеркиваются процессы психической подготовки понятия и последующей фиксации его в имени. Первая фаза характеризуется активизацией ощущений и перерастанием их в предмет. Отбор характеризующего данный предмет признака и обозначение предмета по какому-либо характерному для него признаку завершает этот процесс. Такая интерпретация процесса номинации была поддержана в процессе дальнейшего развития языкознания, и прежде всего сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков, в частности, результатами этимологических исследований. Не случайно поэтому обнаруживаемый исследователем слова его этимологический признак, так называемый «этимон», получил у последователей Гумбольдта в соответствии с учением о «внутренней форме языка» название «внутренней формы слова».

Новое направление в истории типологических учений открыли исследования ученика и продолжателя В. Гумбольдта — Г. Штейнталя. Как последователь Гегеля в области философии он выступил с исследованием «Классификация языков, представленная как развитие языковой идеи» [17]. Но уже в последующем издании этой работы, вышедшем под заголов-

ком «Характеристика главнейших типов языкового строя» [18], он с классификационных позиций перешел на собственно типологические.

Уже одно сопоставление этих названий позволяет думать, что замена в заглавии труда одного термина («классификация») другим («типология») не было случайностью, а знакомство с содержанием этих работ убеждает нас в том, что труд Штейнталя был задуман как продолжение исследований немецких языковедов-романтиков в области морфологической классификации языков. Но продолжение это — не ученическое; в принципе оно сохраняет исходные теоретические основоположения всего романтического учения. Однако оно — резко критическое, стремящееся к решительному пересмотру романтического учения. Учение о морфологических классах языков должно было теперь уступить место учению о морфологических типах языков. На смену классификации пришла типология. Наступил новый этап в развитии типологии, который в целях его отграничения от классификационной типологии романтиков можно было бы назвать «собственно типологическим». Утверждать после сказанного, что морфологическая классификация языков в том виде, как она была намечена в концепциях немецкого романтизма, и учение об основных морфологических типах, как его развивали Штейнталь и его последователи, это сходные или даже тождественные концепции, было бы явным отступлением от истины. Отталкиваясь от классификационных построений романтиков, Штейнталь и его последователи развивали свою оригинальную «собственно типологическую» концепцию.

Понятие типа заметно отличается от понятия класса, а в некоторых отношениях даже противоречит ему. Если понятие класса равномерно охватывает все входящие в данный класс элементы, не отдавая при этом предпочтения ни одному из них, то понятие типа заранее ориентировано на один из элементов класса — именно на тот, который ярче и выразительнее других воплотил в себе черты всего класса. Но понятие типа языка появляется в языкознании относительно поздно и не может служить отправным пунктом при рассмотрении того, что представляла собой лингвистическая типология на разных этапах своего исторического развития. Первым о типах языков заговорил в языкознании, как известно, Штейнталь. Отказ от идеи «классов-стадий» приводит Штейнталя к радикальному пересмотру романтических позиций в области типологии и общей морфологии. Он сопровождается также отказом от романтического деления языков на «органические» и «неорганические». Усмотрев в предложенном Ф. Шлегелем делении языков на «органические» и «неорганические» механический перенос «отношений органической природы непосредственно на язык», он решительно осудил эту идею как «проявление мистицизма и грубости мысли». «Естественно-историческую классификацию языков», предложенную Боппом, он ставил несравненно выше, поскольку в ней уже не было тех несообразностей, которые встречались у братьев Шлегель. «Бопп,— писал Штейнталь,— исходит из техники языка, т. е. из средств, с помощью которых язык образует свою грамматику и которые он применяет при оформлении обозначения категорий. Эта техническая точка зрения — существенный момент, который должен учитываться всякой классификацией языков, и обнаружение этого факта является непреходящей заслугой Боппа». Много внимания уделяется Штейнталем выявлению и критике теоретических положений, имплицитно содержавшихся в романтической классификации языков. Он решительно отвергает идею «чистых языковых типов». Так, касаясь аналитического строя, он замечает: «Чисто аналитических языков не существует, ни английский, ни персидский язык не являются таковыми... Еще в меньшей степени таковыми могут считаться итальянский с испанским».

Романтическая классификация языков основывалась, как мы видели, на гипотезе агглютинации, выводящей флективные формы индоевропейских языков из первоначальных односложных слов-корней. Постепенное сращение и дальнейшее сплочение таких слов-корней должно было, согласно этой гипотезе, закономерно привести к образованию агглютинативного и флективного строя. Принципиальное значение придавалось при

этом степени сращения первоначальных корней. Штейнталь подверг эту гипотезу сомнению. «Что существенного,— спрашивает он,— в том, что связь грамматических слогов с корнем может быть менее или более тесной? И что такое вообще тесная и слабая связь?— Такое разграничение явно исходит из того, что тесная связь предпочтительнее» [18, с. 5, 8—9]. Ссылаясь на мнение некоторых исследователей, Штейнталь считает агглютинативные связи более совершенными, чем флективные, в силу большей прозрачности их строя, большей отчетливости и легкой вычленяемости их форм. К тому же эти языки весьма регулярны и не обнаруживают аномалий. Они имеют всего лишь один тип склонения и один тип спряжения, тогда как индоевропейские флективные языки имеют несколько таких типов. Все это дает основание пересмотреть тезис о превосходстве флективных языков и подумать, не является ли флексия скорее деградировавшей и выродившейся агглютинацией.

Некоторые романтики видели достоинство флексии в том, что вещественные и формальные элементы в ней слиты и взаимно пронизывают друг друга. Но как же эта слитность и спаянность проявляется в таких греческих формах, как λόγ-ο-ς, где каждый сегмент обособлен от всех остальных? К сказанному можно было бы добавить, что сегментация таких форм, как λόγ-ο-ς, где помимо корня и окончания дан еще суффикс основы, едва ли может быть согласована с теорией агглютинации, согласно которой каждый морфологический сегмент восходит к архаическому односложному корню.

Ориентированная на теорию агглютинации романтическая классификация языков в целом проходила мимо таких способов выражения грамматических отношений, как словопорядок и служебные слова. В случаях этого рода мы сталкиваемся с надсегментными техническими средствами, плохо согласующимися с глоттогоническими воззрениями романтиков. Однако не разобравшись в вопросах, касающихся функции грамматической формы и многообразия способов ее звукового выражения, трудно было разглядеть в надсегментных грамматических средствах нечто родственное по функции с флективными формами слов. Но именно с разработки вопросов этого рода и следовало все начинать. Утверждали же Гумбольдт и Бопп, что китайский язык полностью лишен грамматических форм и что в нем нет организма, нет никакой грамматики. Этого не случилось бы, если бы своевременно были решены теоретические вопросы общей морфологии.

Романтическая классификация отличалась историко-генетической направленностью. Гипотезы подобного рода нуждаются в серьезном эмпирическом и теоретическом обосновании. Но этой стороне дела не уделялось должного внимания. А. Шлегель, правда, задавался вопросом, может ли язык, находящийся на определенной ступени развития, например, агглютинативный, развиваясь дальше, подняться на новую ступень, флективную. Штейнталь возражал против самой формулировки вопроса. Науку, настаивал он, должны интересовать не абстрактные возможности, а реальные закономерности.

Центральным вопросом общей морфологии и, можно сказать, теории грамматики в целом является вопрос о соотношении грамматического строя языка и осуществляющегося в формах этого строя речевого мышления. Штейнталь касается этого вопроса попутно, в связи с критикой лингвопсихологической концепции немецкого психолога Вайтца. Предвосхищая идею глагольной валентности, Вайтц видел в глаголе отображение определенной картины действительности. Так, немецкий глагол *auflauern* «подстерегать, поджидать врага в засаде» предполагает определенную ситуацию, которая может быть определена с помощью таких представлений, как «сегодня», «ночью», «Кай», «враг», «убивать». С помощью этих или подобных им представлений языку в таком случае надлежит выразить не только данную картину, взятую в целом, но также отношение каждого частного представления ко всем остальным. В каждом языке речевое воспроизведение такой картины принимает, как отмечает Вайтц, свои особые формы. Эти особенности звукового воплощения действительности пред-

ставляют, по Вайтцу, значительный интерес для психологии языка. Штейнталь решительно не согласен с такой постановкой вопроса.

Вайтц в сущности оставляет романтическую классификацию языков нетронутой. Он стремится показать, как глубоко тип языка воздействует на формирование мира представлений. На деле, однако, он принимает для данного языка «мир представлений» в соответствии с морфологическим классом, представленным в данном языке. Так, о «представлениях», выступающих в изолирующих языках, он говорит, что каждое из них оставляет «массу представлений» почти неизменной, и не создает стимула к ее расчленению, вследствие чего различие между главным и второстепенным представлениями остается лишь намеченным. Все это живо напоминает романтические представления об «аморфности» и «аграмматичности» китайского языка.

Сходным образом интерпретируется Вайтцем воздействие типа морфологии на «мир представлений» синтетического языка. Одной из особенностей языков данного типа является специфическое преломление в них терминов родства и названий частей тела. Слова этого рода не встречаются здесь в абсолютном употреблении. На таком языке нельзя, например, сказать просто «отец» или просто «рука»: необходимо всякий раз предпосылать им местоимение, уточняющее, чей это отец и чья это рука. Для языка этого типа важно различать, идет ли речь об относительно самостоятельном или же независимом представлении. Вайтц, таким образом, поддерживает романтический тезис о существовании прямой связи между морфологическим типом языка и степенью развития выражаемых им отношений [18, с. 13—14; 17].

Штейнталь в принципе отвергает такое понимание соотношения формы и содержания в языке. «Что существенного в том,— спрашивает он,— каким образом устроен тот или иной язык, была бы только речь на данном языке понятна... Что скрывается в различиях элементарных навыков по связыванию и установлению отношений между единичными представлениями? И что такого в том, приучен ли я самостоятельно обнаруживать отношения между представлениями или же язык выражает их и дает в готовом виде? И если последнее, то какая разница, выражает ли он это с помощью служебного слова или словоизменения? Разве существенный результат не всегда тот же самый?... Если немец скажет *ich werde lieben*, то разве он в меньшей мере, чем римлянин, говоривший в этом случае *amabo*, свяжет подлежащее с предикатом, а последний с будущим временем?». И вслед за этим он формулирует принцип, который резко противоречит всей романтической теории языка и который можно было бы назвать принципом иррелевантности способа выражения грамматических отношений. В формулировке самого Штейнталя этот принцип гласит: «Язык тем совершеннее, чем полнее и надежнее все обозначается в нем... Какими средствами пользуется он в этих целях, не столь важно» [18, с. 18—19]. Легко заметить, что сформулированный таким образом принцип плохо согласуется с романтическим восхвалением флексии. Следует, впрочем, оговориться, что мысли этого рода продиктованы здесь задачами полемики с Вайтцем и Штейнталь впоследствии отстаивал совершенно иную, можно даже сказать, диаметрально противоположную позицию в этом вопросе.

Свой разбор взглядов Вайтца Штейнталь завершает общей оценкой позиции психолога. Штейнталь упрекает его в отходе от психологической интерпретации языка. Кроме того, Вайтцу, заключает он, явно недостает знания того, что Гумбольдт называл «внутренней формой языка».

В учении Гумбольдта Штейнталь особенно ценил тезис об индивидуальном своеобразии каждого языка. Гений Гумбольдта проявился, по Штейнталю, прежде всего в идее системности и неповторимого своеобразия каждого языка. Считая вслед за Гумбольдтом каждый язык выражением «духа» говорящего на данном языке народа, Штейнталь все же отмечает некоторую неопределенность и расплывчатость этого понятия, которое сам Гумбольдт определял то как «духовную жизнь», то как «характер и духовную самобытность», то как «способ представления» и «образ мысли» (Sinnesart), то как «мышление» и «характер» данного народа. С этим смут-

ным понятием, открывающим широкий простор для различных толкований, тесно соприкасается другое, а именно понятие «внутренней формы языка», которое Штейнталь считает «важнейшим в языкознании» и «гениальной находкой» Гумбольдта [18, с. 34, 38, 39]. Но и в данном случае Штейнталь отмечает недостаточно конкретный и расплывчатый характер понятия, которым оперирует Гумбольдт. То это способность языка к выражению идей, проявляющаяся в том, какими путями движется язык при создании своих форм, то это содержательные формы, в которых проявляется всякое мышление и чувствование, то, наоборот, это сам язык, т. е. вещественное, реальное звучание, образующее сущность языка.

Штейнталь пытается уточнить понятие внутренней формы языка. С этим понятием связаны, по Штейнталю, два момента: представление и категория, к которой данное представление относится. Языковое воплощение представления совершается в слове. Уже здесь приходится различать внешнюю, т. е. звуковую, и внутреннюю форму. Для того, чтобы составить себе представление о роли языка в образовании слов, недостаточно ссылки на внешнюю, чисто звуковую форму. Необходимо уяснить себе и роль «другого конститутивного принципа языка» [18, с. 39, 40], его внутренней формы. В этом плане Штейнталь обращает внимание на указание Гумбольдта относительно роли слова в процессе наречения предмета: «Слово, как указывалось выше, является, по Гумбольдту, не просто наименованием уже данного в живом восприятии предмета. Это, по Гумбольдту, нечто несравненно более значительное, а именно следствие сознания чувственного образа предмета в итоге языкотворческого процесса, осуществляемого в момент словотворчества» [18, с. 42]. Процесс наречения предмета, как отмечал Гумбольдт, необходимо опирается в таких случаях на определенные признаки или отношения нарекаемого предмета. Вместе с тем, как замечает Штейнталь, в плане истолкования категорий мысли и грамматического каркаса языка Гумбольдт остается во многом неясным и противоречивым. Ключевыми в концепции Гумбольдта являются понятия осознания, языкотворчества, наречения предмета и др. Гумбольдт оставил эти понятия нераскрытыми. Категории внутренней формы языка в сущности совпадают у него с логическими категориями восприятия и понятий. Штейнталь правильно отмечает, что грамматические категории и формы не получили у Гумбольдта достаточно ясного освещения. И поскольку все касающееся происхождения грамматических форм и их творческих потенций осталось невыясненным, постольку остались неясными и отношения между грамматиками разных языков, т. е., по выражению Штейнталя, «отсутствует масштаб, который позволил бы измерить отношение между грамматикой одного языка и грамматикой другого, как и отношение грамматики к общей сущности языка вообще». Гумбольдт, как мы видели, возводил категории языка к логическим категориям. С такой точки зрения было бы целесообразно реконструировать общую «обозримую систему» категорий, которая служила бы мерилом для грамматических систем отдельных языков. Но признание многообразия грамматических систем явно не согласуется с идеей единой «замкнутой логической системы категорий» [18, с. 46—47]. Штейнталь упрекает Гумбольдта в непоследовательности: то каждый язык представляется ему как реализация единого управляющего им принципа, то, напротив, все языки так или иначе сводятся к единой, общей для всех языков, системе логических категорий.

Штейнталь подверг концепцию Гумбольдта критическому рассмотрению. Из выделенных Гумбольдтом двух компонентов содержательного плана языка — универсального и идиоглоттического,— из которых первый отождествлялся с логикой, а второй со специфическим для каждого языка «национальным духом языка», он оставил лишь второй. Что же касается логического компонента, то он полностью изгоняется теперь из языка. Устранение логики мотивируется относительно поздним возникновением логики в истории человечества. Недостаточно развитые в культурном отношении племена, как и дети до определенного возраста, хотя и понимают многое, но логически еще не мыслят. Вслед за Гербартом и

Лотце Штейнталь отвергает мнение, будто логика — это «естественная история мышления». Он сочувственно воспроизводит слова Лотце: «Люди говорят между собой повсеместно и с давних времен; но мыслить в строгом смысле этого слова они стали только со времен Сократа, да и то лишь в узкой сфере науки» [18, с. 90, 93].

Функционально и генетически связанная с научным мышлением логика не должна поэтому рассматриваться как изначальный коррелят языка. Язык возникает задолго до возникновения науки и связанной с нею логики. Ссылка на относительно позднее возникновение логического мышления понадобилась Штейнталю лишь для того, чтобы полностью устранить логику из сферы лингвистики и тем самым расчистить почву для психологической лингвистики.

Современная наука о мышлении в целом подтверждает идеи этнопсихологии об относительно позднем возникновении логики и логического мышления. Как убедительно показал известный французский психолог Ж. Пиаже, логическое мышление в жизни ребенка появляется относительно поздно: «первые операции над классами (первыми обобщениями.— *К. С.*) осуществляются в среднем между 7—8 годами, а что касается операций над высказываниями, то они появляются впервые лишь между 11 и 12 годами... Начинающийся с этого времени период операций над высказываниями окончательно складывается в 14—15 лет, когда у ребенка формируется логика взрослого» [19, с. 578]. Исследования ряда советских исследователей — Выготского, Рубинштейна и др. также подтверждают эти выводы. Но Штейнталь и другие представители так называемой этнопсихологии заходили слишком далеко, когда, отмечая относительно позднее происхождение собственно логического мышления и связывая это происхождение с развитием науки, вместе с тем принимали, что только логические суждения и умозаключения пропитаны «логосом разума» и что в дологической и донаучной эпохе развития мышление представляло собой лишь «хаотический поток» восприятий и представлений в их непосредственной психологической данности. Все дологическое развитие мышления, как и грамматического строя языка, сбрасывается при этом со счетов. Несмотря на свою генетическую установку, психологическое направление в лингвистике вовсе не поставило вопроса, каким образом совершалась в донаучном мышлении историческая подготовка логики.

В плане основного вопроса лингвистической типологии, как он ставился еще грамматикой Пор-Рояля и впоследствии на свой лад решался Гумбольдтом,— вопроса о теоретических основаниях родства всех языков и наблюдаемых расхождений между ними,— концепция Штейнталя представляла собой шаг назад в сравнении с Гумбольдтом. Последний, как мы видели, различал в строе языка как универсальный, т. е. в принципе общий для всех языков содержательный компонент в виде идеальной логической грамматики, так и специфический для каждого языка идиоглоттический элемент, выделенный под названием «национального духа языка».

Таким образом, несмотря на попытки преодоления романтических иллюзий в морфологической классификации языков, Штейнталь и его последователи сделали в этом направлении лишь робкие шаги. «Различие языков,— писал Штейнталь,— вызывается, по Боппу, различием используемой в них техники. Откуда, спрашиваем мы, проистекает это различие? Почему, образуя свои грамматические формы, языки прибегают к различным средствам? Средство находится в тесном взаимодействии с целью... Если даны различные средства, то и цели различны. Различия между языками в плане их звуковых средств обусловлены различием целей, которые должны быть достигнуты с помощью звуковых форм, иначе говоря, т. е. речь идет о различии способов и форм, с помощью которых народы создают свои представления. Языки различны в той мере, в какой различается сознание каждого народного духа. Тем самым полностью опрокидывается предпосылка старой философской и исторической грамматики, согласно которой в основании всех языков мира лежит некая определенная схема категорий и всякие различия берут свое начало в звуковой стороне языка» [18, с. 104].

Романтическая классификация языков имела явную генетическую направленность, и выделенные ею классы представлялись ступенями единого процесса глоттогонии. Гипотеза этого рода нуждалась как в эмпирическом, так и теоретическом обосновании. Романтики, однако, как замечает Штейнталь, уделяли слишком мало внимания этой стороне дела. Проблема закономерностей перехода от аморфности к агглютинации и от агглютинации к флексии их в сущности не занимала. Вопросы, которые они задавали себе, отличались надуманностью. А. Шлегель, например, интересовался тем, может ли язык с низшего уровня развития подняться на более высокую ступень, может ли, например, агглютинация перерасти во флексию. Штейнталь возражает против самой постановки вопроса. Науку, говорит он, должны интересовать не абстрактные возможности, а реальные закономерности и предпосылки их осуществления.

К числу теоретических вопросов, подлежащих рассмотрению, относилось, в частности, соотношение знаменательных или вещественных значений в словарном составе языка. Вопрос о природе этого различия имел прямое отношение к морфологической классификации. Утверждали ведь Гумбольдт и Бопп, что китайский язык вовсе лишен грамматического строя.

Создается впечатление, что главной в романтической концепции была не идея развития грамматического строя, а понятие «агглютинации», или «сращения корней». Романтики мало интересовались функциональной стороной грамматических формул и во всяком случае не находили в ней опоры для своих генетических построений. Тем охотнее они усматривали проявление прогресса в процессе образования громоздких флективных парадигм, нашедшем наиболее полное воплощение в строе древних индоевропейских языков.

Гумбольдт явно отвергал возможность исторической эволюции низших морфологических типов в более высокие. Для него эти типы представляли скорее различные степени реализации духа. У Шлейхера рядоположность Гумбольдта превратилась в последовательность. Шлейхер отбросил признак инкорпорации как отдельного типа, вернувшись таким образом к троичности. Рассматривая язык как естественное явление, он отказался от понятия «народного духа» и скорее был готов сближать языки с растительным миром [1].

Штейнталь, как мы видели, не всегда был последователен в своей критике Гумбольдта. Недостаточно последовательным был он и в своей критике теоретических оснований морфологической классификации языков. Достаточно вспомнить в этом отношении противоречивые рассуждения Штейнталя о соотношении формы и грамматической функции в морфологии. Но что же предлагает сам Штейнталь взамен отвергнутой им романтической классификации?

Предложенное Штейнталем понятие морфологического типа заметно отличается от понятия морфологического к л а с с а я з ы к о в, хотя и опирается на последнее. Понятие класса основывается на предпосылке, что все элементы класса в принципе равны и что каждый элемент данного класса вправе, так сказать, представлять свой класс. Что же касается понятия типа, то оно заранее считается с возможностью индивидуальных вариаций внутри класса. В силу таких отклонений некоторые элементы класса выявляют специфические признаки класса в более яркой и брос-

---

[1] Неогумбольдтианцы (Леви, Хартман, Вайсгербер и Уорф) еще рассматривали язык как выражение «духа народа», но уже не придерживались морфологической классификации и находились под воздействием структурализма. Сепир отбросил оценочные и эволюционные аспекты теории, но он отчетливо видел, что структура слова является важнейшим моментом структуры языков и выказал явную симпатию к пониманию языка как выражения «духа народа», возрождая точку зрения о языке как «мировоззрении» (гипотеза Сепира—Уорфа). Эта сторона концепции Сепира, роднящая его с Гумбольдтом, проявляется особенно наглядно, когда, выделив две разные оси классификации, степень синтеза и технику, он отворачивается от них как от чисто внешних и материальных и переходит к тому, что он считает более глубокой и более существенной классификацией, основанной на выражении или невыражении некоторых классов концептов, деривационных и конкретно реляционных [20].

кой форме, нежели другие. Вполне естественно, что такие элементы с бо́льшим основанием могут служить образцовыми представителями класса, его наглядными и типичными проявлениями. Индивидуальные особенности такого элемента имеют значительную эвристическую ценность, превращая отдельный элемент в эталон определенного класса. Они избавляют нас от необходимости подробно анализировать понятие класса и вычленять из класса одни его признаки за другими.

Понятие языкового типа, которым Штейнталь стремится заменить романтическое понятие класса языков, хотя и связано с понятием класса, но в некоторых отношениях противоположно ему. Если понятие класса в принципе охватывает все элементы данного класса, не оказывая предпочтения какому-либо одному из них, то понятие типа ориентировано на определенный элемент класса, а именно тот, который ярче и выразительнее других воплощает в себе определенные черты данного класса. В этом своем качестве данный элемент становится типовым, характерным образцом данного класса, позволяющим легко опознавать языки, относящиеся к данному типу. Понятие типа, таким образом, заключает в себе свойства обобщенности и репрезентативности, сохраняя в то же время и конкретные черты индивидуального элемента класса. Научное определение типа должно в этих целях избегать абстрактных характеристик. В интересах дела оно должно заключать в себе и некоторые частности, даже если последние плохо согласуются с общим определением данного типа.

«Под типом человеческой речи,— писал один из последователей Штейнталя Фр. Финк,— понимают некоторую совокупность речевых признаков, являющуюся общей для определенной более или менее значительной группы языков, то общее, что является характерным для них и в качестве образчика позволяет легко распознавать это общее» [21]. Так, в «Характеристике» Штейнталя в качестве типичного представителя изолирующего строя рассматривается китайский язык, в качестве представителя инкорпорирующего строя — один из индейских языков Мексики, для характеристики флективного строя привлекаются к рассмотрению языки греческий и немецкий и т. д. Сторонники теории типологии в собственном смысле этого термина, к которым, кроме Штейнталя, относятся еще и такие последователи его, как Фр. Мистели, Г. Винклер, Фр. Н. Финк и др., в качестве типовых языков обычно приводят лишь небольшое число конкретных языков. Так, Финк описывает всего 8 типовых языков: китайский, гренландский, южноафриканский язык субия (верховья Замбези), турецкий, самоанский, арабский, греческий и грузинский. Последовательность, в которой они рассматриваются, не отвечает при этом какому-либо историческому порядку, подразумевающему восхождение от простейшего к наиболее совершенному и от первобытного до наиболее развитого состояния [2].

Как уже говорилось, типология давно выделилась в качестве особой лингвистической дисциплины. Подобно сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков, она возникла в начале XIX в. и явилась порождением романтических веяний в немецкой науке. Но если последняя из названных наук сразу нашла свой путь и уверенно стала продвигаться в избранном направлении, то теоретический статус типологии и ее место в общей системе лингвистических дисциплин остается по сей день недостаточно проясненным, несмотря на непрерывные поиски в разных направлениях. Чисто классификационный подход к морфологии, характерный для типологии в начале прошлого века, вскоре уступил место собственно типологической трактовке морфологических фактов, в котором понятие класса было вытеснено понятием типа языка. Как показал Штейнталь,

---

[2] В истории русской лингвистической мысли фортунатовской концепции грамматики противостоит концепция А. А. Потебни. Если первая из них во многом опирается на сравнительную грамматику индоевропейских языков и генетически связанную с нею морфологическую классификацию языков, то генетико-лингвистическая концепция А. А. Потебни органически вытекает из идей Гумбольдта и его продолжателя Штейнталя.

эти понятия не совпадают и первое из них должно уступить место другому. Но и собственно типологическое направление удержалось в типологии ненадолго. Как и классификационное направление, оно опиралось на представление, будто единственным объектом типологии могут быть лишь морфологические явления. Но уже в XIX в. и особенно интенсивно в текущем столетии стали разрабатываться проблемы синтаксической типологии, привлекшие к себе внимание многих исследователей. С возникновением фонологии стали не редкостью исследования в области типов фонологических систем [3]. А в самое последнее время стала складываться так называемая «типология универсалий», стремящаяся охватить элементы едва ли не всех «уровней» языкового строя и разработать науку об общих закономерностях их построения и функционирования.

К сожалению, и единое, достаточно утвердившееся определение типологии как науки пока отсутствует. Выше указывалось, что одни ученые понимают типологию как науку, исследующую основание и способы морфологической классификации языков. Другие характеризуют типологию в соответствии с ее обозначением как учение о типах языков. Находятся и такие исследователи, которые в равной мере пользуются обоими определениями, вопреки тому, что основанное Штейнталем «собственно типологическое» направление в типологии давно показало, что классы и типы далеко не одно и то же. Встречаются, однако, и другие определения, далекие от упомянутых ранее.

Как известно, уже с первых шагов типология обнаруживает близкие связи с компаративистикой. Но связи эти, вполне очевидные в начальный период, впоследствии несколько затемняются, и в настоящее время можно даже слышать голоса, резко противопоставляющие одну науку другой. Так, в современном языкознании типологию нередко квалифицируют как науку в принципе синхроническую, тем самым противопоставляя ее сравнительно-исторической грамматике родственных языков— науке диахронической. Типологическое (typologique) изучение языков определяет, по словам автора знаменитого словаря Ж. Марузо, их признаки, отвлекаясь от их истории [22]. Сходным образом характеризуют типологию и Ч. Е. Базелл, а также языковеды-романтики, к которым восходит поныне продолжающаяся традиция типологических изысканий. Базелл видит в типологии прежде всего классификацию языков. Но, в отличие от романтиков, он утверждает, что в настоящее время речь идет о «классификации языков по их общей структуре, а не по их историческому или географическому родству» [23]. Такое «новое» отношение к типологии вызвано,— по мнению английского иследователя,— «вниманием, проявленным в настоящее время к синхронному анализу отдельных языков». Нетрудно заметить, что подобное понимание типологии в корне отрицает возможность историко-типологических исследований.

Сходную до некоторой степени позицию занимает и Дж. Гринберг. «Рельефной особенностью современной типологии, отражающей ее развитие в рамках структуралистической матрицы, является,— как пишет этот американский типолог,— ее принципиально синхронная установка, . . . связанная с особенностью структурализма, его стремлением описать каждый язык в его собственных проявлениях». Гринберг, однако, не столь категоричен в своих суждениях по данному вопросу, как Марузо и Базелл. В своей концепции он оставляет определенное место и для генетической типологии. Отмечая, что структура языка является определенным образом организованной целостностью, допускающей в известных границах «рассмотрение в отвлечении от своего прошлого», он вместе с тем замечает, что «исторический модус объяснения, казавшийся единственно допустимым при традиционном генетическом подходе, если и не отвергается вовсе, то рассматривается лишь как один из возможных способов объяснения» [24].

---

[3] Некоторые направления структурализма (например, американское, которое в некоторых фундаментальных аспектах продолжало младограмматическую традицию) в значительной мере игнорировали типологию. Зато американская школа и, в известной мере, женевская проявляли значительный интерес к этой науке.

Точка зрения, подчеркивающая одностороннюю связь типологии с морфологией и в принципе отвергающая возможность историко-типологических исследований, вряд ли может быть поддержана современной наукой. С тех пор, как на исходе XIX и в начале XX в. наметился кризис теоретических основ классической индоевропеистики [4], многие исследователи обратили свои взоры к типологии, усмотрев в ней дополнительный источник материалов для реконструкции исторического прошлого сопоставляемых языков. Историко-типологические исследования в области синтаксиса давно уже не являются больше новинкой в советском языкознании. Восьмой конгресс лингвистов, состоявшийся в Осло, заслушал специальный доклад Р. Якобсона о том, как типологические исследования могут служить ориентиром при определении значимости реконструированных на основе сравнительно-исторического метода систем [25].

Точка зрения Марузо, Базелла и др. резко отличается от подчеркнуто исторического осмысления типологии, прослеживающегося у основателей этой сравнительной науки. Первой исторической формой, в которой появилась типология, была, как известно, морфологическая классификация языков, которую Ф. Бопп, основатель сравнительно-исторического языкознания, называл «глоттогонической» или «естественно-исторической». Связь типологии с историей и историческим прошлым не случайна. Но если история языка использует данные сравнительного анализа в целях реконструкции исторического прошлого сравниваемых языков, то типология пользуется сравнением с иной целью, а именно с целью выяснить универсальные законы развития речевого мышления и формирования морфологического строя языка не только в процессе его исторического развития, но и в его функционировании, которое всегда синхронно. Поэтому когда говорят о принципиальной синхронной типологии, то имеют в виду лишь одну из сторон этой науки.

Не ставя своей целью дать исчерпывающий перечень мнений современных зарубежных исследователей, касающихся типологии, назову еще возникшую в последнее время и усиленно разрабатываемую в США «типологию универсалий», ориентирующую типологию в совершенно ином направлении. Одной из основных задач этого течения является определение общих закономерностей языкового строя, «построение общей теории языка» и выявление универсальных (действительных для любого языка) закономерностей и соотношений. Согласно последней точке зрения, типология — это раздел сравнительного языкознания, занимающийся выявлением языкового сходства, обусловленного общими закономерностями языкового строя (в отличие от закономерностей, обусловленных такими привходящими обстоятельствами, как проявляющаяся в феноменах материального родства генетическая общность языков определенной группы).

Авторы меморандума о языковых универсалиях (Дж. Гринберг, Ч. Осгуд, Дж. Дженкинс) различают четыре основных типа универсалий, в зависимости от того, в терминах какого языкового уровня сформулирована данная универсалия — фонологические, грамматические, семантические и символические. Из них первые три типа затрагивают или форму независимо от значения, или значение независимо от формы, тогда как последний (имеется в виду фонемный символизм) предполагает связь формы и значения [26, с. 38, 40].

---

[4] Здесь нельзя не отметить контраста между великими надеждами языкознания рассматриваемой ранее эпохи и настроениями ряда исследователей начала текущего века. Если многие мыслители XVII—XVIII вв. исполнены веры в будущее лингвистической науки, если они предчувствуют возможность разработки «экспериментальной философии» на базе науки о языке, то XX в. в этом отношении не свободен от пессимистических настроений. Даже такой крупный исследователь, как Ф. де Соссюр, который провел великолепные исследования в такой сложной области индоевропейского сравнительно-исторического языкознания, как сравнительная акцентология, не мог избежать пессимистических ноток в трактовке проблемы взаимоотношений языка и сознания. Мышление для Соссюра не более, чем аморфная туманная масса, лишенная внутренних членений и в сущности недоступная рациональному анализу.

Обнаружение универсалий представляет несомненный интерес в плане исследования ряда типологических вопросов. Среди универсалий, касающихся порядка слов в предложении, Дж. Гринберг находит следующую универсалию, касающуюся относительного порядка субъекта /S/, глагола /V/ и объекта /O/ в повествовательных предложениях. Как замечает американский типолог, логически даны 6 возможных типов порядка: SVO, SOV, VSO, VOS, OSV и OVS. Из них, однако, обычно встречаются лишь три. Остальные три не встречаются вовсе, либо во всяком случае, как показали материалы 30 языков, чрезвычайно редки. К первым трем типам относятся: VSO, SVO и SOV. Это означает, что позиция глагола по отношению к двум его аргументам в семантическом отношении иррелеванта. Общая закономерность, следовательно, такова, что в указанной позиции преобладает порядок слов, при котором субъект предшествует объекту. Эта закономерность легко объяснима, т. к. субъект — это «аргумент, соединяющийся со своим предикатом» [27, с. 196], точнее говоря, аргумент, занимающий нулевую позицию при глагольном предикате, т. е. позицию, не требующую семантического уточнения и глагола в интенциональном плане.

В нашей стране «типологию универсалий» с особой энергией и последовательностью развивал Б. А. Успенский. Все разновидности сравнительного языкознания, по его словам, «исследуют с разных позиций и под разным углом зрения явления языкового сходства». «Возможны,— писал Б. А. Успенский,— вообще говоря, всего три вида объяснения языкового сходства...— генетическое (когда сходство языков объясняется общностью их происхождения), ареальное (когда оно объясняется контактами соответствующих языков), и наконец, типологическое (когда сходство языков объясняется какими-то универсальными закономерностями)» [28, с. 13].

Соглашаясь с таким рассмотрением типологии в его исходном пункте, мы, однако, считаем его несколько односторонним. Любое сравнение по необходимости опирается всякий раз на элементы сходства в сопоставляемых явлениях. Но с неменьшим основанием можно утверждать, что, опираясь на открытые в явлениях (объектах) элементы сходства, исследователь находит в них и различительные черты. Сходство не только не исключает различий, но и необходимо опирается на них. Связанные друг с другом и взаимно обусловленные различия не менее существенны для типологии, чем сами по себе отмеченные сходства. Л. В. Щерба называл такие связи «взаимообусловленностями отдельных элементов языковых структур» [29] и подчеркивал важность их изучения. Такие внешне непохожие и далекие друг от друга явления, как развитая флективная морфология и свободный порядок слов, внутренне, т. е. функционально, связаны между собой. Порядок слов может быть «свободным» лишь в меру того, как функции связанного порядка слов замещаются специализированными флективными формами.

Универсалиями стали называть обобщенные высказывания относительно свойств или признаков, в принципе общих для всех языков. Разумеется, не все обобщения этого рода представляют реальный интерес для науки. Так, например, высказывания типа *Все языки имеют фонемы*, *В каждом языке есть слова* и т. п. содержат в себе банальные истины и лишены в силу этого всякой информативной ценности. Подлинный интерес представляют обобщения, вскрывающие закономерные внутренние связи между элементами языковых структур. Таковы, в частности, «взаимообусловленности отдельных элементов языковых структур», о которых писал Л. В. Щерба. В качестве примеров таких взаимообусловленностей он называл, в частности, связь свободного порядка слов с флективной морфологией или связь противоположения согласных по силе с отсутствием противоположения по звонкости.

Тривиальность некоторых универсалий устраняется, как только выясняются фактические основания, лежащие в основе данной универсалии. Как замечает Б. А. Успенский, утверждение «если в языке имеется дифференциация наклонений, то среди них имеется и изъявительное на-

клонение» само по себе тривиально. Оно становится более содержательным, когда эксплицируется место изъявительного наклонения в общем ряду наклонений, его нулевая позиция в парадигме наклонений. Высказывание о наклонении, таким образом, усложняется, превращаясь в высказывание о строении парадигмы наклонений [28, с. 16].

Типология универсалий сложилась в американском языкознании, где до сих пор еще ощутимы традиции блумфилдианства, с характерными для него эмпиристическими тенденциями. Блумфилд в свое время утверждал, что «единственно имеющими силу обобщениями относительно языка являются индуктивные обобщения». Создается впечатление, что типология универсалий, сложившаяся в американской лингвистике, продолжает блумфилдианскую традицию. Особенно выпукло это проявляется у Хоккета, который, ссылаясь на только что приведенное высказывание Блумфилда, писал: «Наша цель — не изобретать языковые универсалии, а открывать их» [30, с. 45]. Зайлер справедливо возражал Хоккету, отмечая, что следует различать универсалии и обобщения. Соглашаясь с тем, что универсалии «изобретать» не следует, Зайлер вместе с тем находит, что простого «открытия» в таком случае недостаточно. «Если мы собираемся открывать,— продолжает он,— мы должны знать, чего мы ищем. Другими словами, нам нужна гипотеза, которая бы организовывала и направляла ход нашего исследования. Мы должны быть в состоянии ответить на вопросы типа следующих: какие свойства языка надо рассмотреть? Только ли такие, которые могут быть обнаружены в каждом отдельном языке? Или в равной мере и такие свойства, которые широко распространены, хотя и не встречаются во всех языках...одно лишь наблюдение и классификация на универсалии, полууниверсалии, дифференциальные признаки и др. не поможет нам ответить на вопросы. То, что дает наблюдение, а именно данные о дистрибуции данного явления в языках мира, не может быть главным. Напротив того, мы чувствуем, что должно быть нечто более фундаментальное и что мы должны попытаться определить, в чем это главное заключается» [31, с. 208] (Зайлер против того, чтобы рассматривать генерализации и универсалии как синонимы).

На эту же тему высказался и Гринберг. Отмечая, что «одной из повторяющихся тем на „учредительной“ встрече было упоминание о тезисах Блумфилда относительно научной значимости одних и лишь индуктивных обобщений», Гринберг заметил: «Однако представляется общепризнанным, что метод науки является как индуктивным, так и дедуктивным». В целом же Гринберг допускает дедуктивное исследование лишь в качестве момента, подчиненного индуктивным обобщениям. Он пишет:«Формулирование обобщений, достигнутое в итоге индуктивного исследования, ведет к гипотезам более высокого уровня, из которых в свою очередь могут быть дедуцированы дальнейшие обобщения. Эти последние должны быть подвергнуты эмпирической проверке» [32, с. IX].

В целом создается впечатление, что типология универсалий развивается как индуктивная наука, в которой момент дедукции если и играет какую-то роль, то лишь подчиненную. Отсюда и идея представить типологию в виде «свода» или списка единичных универсалий, обнаруженных порознь, независимо друг от друга. Оценивая слабые места нового направления, Б. А. Успенский отмечает, что работа в области систематизации универсальных закономерностей только началась и что чрезвычайно важным представляется составление и постоянное пополнение свода единообразно описанных и рационально расположенных универсалий. Предстоит большая работа по выявлению связей между имеющимися универсалиями и рассмотрению причин тех или иных универсальных явлений [28, с. 31, 42].

Этому следует противопоставить мнение Базелла, согласно которому, структура не есть нечто данное в языке, что она должна быть выведена из языкового материала лингвистом. Последнее хорошо согласуется с с тем, что говорят Вейнрейх и Бенвенист о необходимости описать все разновидности семантических структур, встречающиеся в естественных языках, и важности исследования логических аспектов языка, что, по

их мнению, в течение нескольких ближайших десятилетий будет составлять одно из важнейших направлений лингвистики. Ученые настаивают на том, что такое исследование должно вестись как описательно-аналитическим методом, так и дедуктивным методом «семиотической стратификации языка», а также и индуктивным аналитико-описательным методом, имеющим целью «описать все разновидности семиотических структур, встречающихся в естественных языках» [27, с. 170—171]. Бенвенист выделяет проводимое Сепиром различие «техники», т. е. определенных морфологических приемов, и «системы выражаемых ими типов отношений». Если «технику» при этом легко определить и идентифицировать, по крайней мере, в некоторых случаях, то, как замечает Бенвенист, обнаружить и идентифицировать типы отношений гораздо труднее и в этом случае описание по необходимости переплетается с толкованием. Все в последнем случае зависит от интуиции лингвиста и от того, как он «чувствует» язык. В данной проблемной ситуации исследователь должен стремиться получить «совокупность постоянных определений как для элементов структуры, так и для отношений между ними. Если удастся сформулировать некие постоянные утверждения о сущности, числе и способе сочленения конституирующих элементов языковой структуры, то тем самым будет получено научное основание для систематизации структур реальных языков в единой схеме» [33, с. 54—55].

Типологическое исследование языков не может поэтому сводиться к последовательному описанию доступных наблюдению явлений. Бенвенист осуждает ту разновидность в лингвистике, для которой язык полностью содержится в своих осуществленных манифестациях. «Каждый язык,— метко замечает он,— имеет определенное число ждущих своего решения проблем, сводящихся к одному центральному вопросу — вопросу обозначения» [33, с. 58]. К этому в сущности сводится основная задача типологии. Предварительным условием успеха в данной области является составление максимально полной таблицы грамматических категорий, подвергающихся обозначению в грамматике любого языка. Это, так сказать, основа, или канва, на которой каждый язык расшивает свои особые узоры, категориальная матрица, определяющая своим составом морфологию любого языка. «Сепир,— писал Бенвенист,— не без основания различает технику определенных морфологических способов, т. е. материальную форму, в которой они представлены, от „системы отношений“» [33, с. 54]. Здесь возникает ряд трудностей. Эти трудности велики и в области морфологии, которая легче поддается эмпирическому наблюдению, легче в сравнении с «системой отношений», но отнюдь не в силу простоты и прозрачности самих морфологических средств.

Дело вовсе не обстоит так, что за каждым элементом морфологической системы скрывается один и только один соответствующий ему функциональный элемент. Совершаемое в опоре на морфологический анализ выявление грамматических функций представляет сплошь и рядом сложное и запутанное явление.

Типология с точки зрения теории универсалий — это наука об общих закономерностях языков. При этом, однако, не уточняется, какого рода закономерности имеются в данном случае в виду. Сам порядок и метод обнаружения универсалий описывается при этом следующим образом: «Если мы обнаруживаем язык, совпадающий по какому-то признаку с другим языком, причем первые два объяснения (генетическое и ареальное) в отношении данных языков в силу тех или иных причин отпадают, естественно предположить, что здесь имеет место некоторая универсалия, и в целях ее выявления необходимо обратиться к третьему, четвертому и т. п. языку» [28, с. 13]. Если, далее, мы встретили язык, который противоречит нашей формулировке, мы попытаемся найти в языках, где данная универсалия соблюдается, какой-то общий для них признак, который отсутствует в этом новом языке и этот признак ставим в связь с исследуемым явлением. «Или же мы предполагаем, что обнаруженный нами факт есть проявление какого-то более общего явления, которое может проявляться по-разному,— и соответственно универсалию можно сформулировать,

если обратиться от нашего конкретного феномена к более общему (т. е. перейти на иной уровень рассмотрения)» [28, с. 13].

Предлагаемый метод теоретического обоснования и разработки типологии обнаруживает, как представляется, ряд недостатков. Это эмпирический метод, не имеющий общей стратегии поисков. Рассуждая таким образом, мы не обнаруживаем наличия общей программы и метода исследования и рискуем «потонуть» в океане сходств, исследуя их одно за другим и задаваясь вопросом, отвечают ли они в какой-то мере типологической истине (т. е. универсалии) или нет.

Типология занимается сравнительным исследованием языков с целью выявления как общих закономерностей их исторического развития, так и универсальных закономерностей распределения элементов внутреннего строя в системах отдельных языков. Типологические исследования, в отличие от сравнительно-исторических, нужно называть сравнительно-типологическими, ибо элемент сравнения языковых структур в них так или иначе присутствует всегда [34]. Как и исследования, посвященные отдельным языкам, типологические исследования могут быть не только синхронными, но и диахроническими. Насущный интерес для типологии языков представляет, с нашей точки зрения, проблема речевого мышления (под которой мы понимаем элементарные формы мышления, лежащие в в основе языкового строя и процессов речевой деятельности). С определенной точки зрения можно даже сказать, что дальнейшее развитие лингвистической типологии во многом зависит от разработки данной проблемы [35].

ЛИТЕРАТУРА

13. *Скорик П. Я.* Грамматика чукотского языка. Ч. II. М.—Л., 1977, с. 237.
14. *Кацнельсон С. Д.* Содержательно-типологическая концепция Вильгельма Гумбольдта.— В кн.: Понимание историзма и развитие в языкознании первой половины XIX в. Л., 1983.
15. *Humboldt W.* Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts. —In: *Humboldt W.* Schriften zur Sprachphilosophie. Stuttgart, 1963.
16. *Сахаров В. И.* О жизни и творениях В. Ф. Одоевского.— В кн.: *Одоевский В. Ф.* Соч.: В 2-х т. М., 1918, т. 1, с. 353.
17. *Steinthal H.* Die Klassifikation der Sprachen dargestellt als die Entwicklung der Sprachidee. Berlin, 1850.
18. *Steinthal H.* Charakteristik der hauptsächlichen Typen des Sprachbaues. Berlin, 1860.
19. *Пиаже Ж.* Избранные психологические труды. М., 1969, с. 578.
20. *Sayce A. H.* Introduction to the science of language. V. II. London, 1879, p. 41.
21. *Finck F. N.* Die Haupttypen des Sprachbaues. Leipzig, 1909 (3-te Aufl., Leipzig, 1936, S.).
22. *Марузо Ж.* Словарь лингвистических терминов. М., 1960, с. 310.
23. *Базелл Ч. Е.* Лингвистическая типология.— В кн.: Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972, с. 12.
24. *Greenberg J. H.* The role of typology in the development of scientific linguistics.— In: Theoretical problems of typology and the Northern Eurasian languages. Ed. by Dezsö L. and Hajdn P. Budapest, 1970, p. 12.
25. *Якобсон Р.* Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание.— Новое в лингвистике. Вып. 3. М., 1963.
26. *Гринберг Дж., Осгуд Ч., Дженкинс Дж.* Меморандум о языковых универсалиях.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. V (Языковые универсалии). М., 1970.
27. *Вейнрейх У.* О семантической структуре языка.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. V.
28. *Успенский Б. А.* Проблема универсалий в языкознании.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. V.
29. *Щерба Л. В.* Очередные проблемы языкознания.— ИАН ОЛЯ, 1945, № 5, с. 173.
30. *Хоккет Ч. Ф.* Проблема языковых универсалий.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. V.
31. *Seiler H.* Universals of language.— In: *Seiler H.* Sprache und Sprachen. Gesammelte Aufsätze, Munchen, 1977.
32. Universals of language. Ed. by Greenberg J. Cambridge (Mass.), 1963, p. IX.
33. *Бенвенист Э.* Классификация языков.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963.
34. *Лайонз Д.* Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.
35. *Кацнельсон С. Д.* Типология и речевое мышление. Л., 1972.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО СЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ К IX МЕЖДУНАРОДНОМУ СЪЕЗДУ СЛАВИСТОВ (КИЕВ, СЕНТЯБРЬ, 1983 г.)*

Вопрос № 1. Можно ли говорить о первоначальном бездиалектном состоянии праславянского языка?

Отечественная компаративистика обогатила мировую науку о языке, сформулировав постулат: «праязык, как и всякий живой язык, должен иметь историю и диалектное членение». Фортунатов и его многочисленные ученики пытались доказать этот тезис прежде всего на славянском материале. Реконструкция «праславянской диалектологии» стала, наряду с историей «или хронологией» праязыка, основной задачей сравнительных грамматик славянских языков еще в 20-е годы (А. Белич, П. Бузук и и др.). Д. Джурович еще в 1913 г. опубликовал брошюру «Говоры общеславянского языка с лингвистической картой». В своих попытках подтвердить тезис о диалектном членении праязыка ученики и последователи Фортунатова нередко проецировали наблюдаемые диалектные различия живых языков уже в праязыковое состояние, что ставилось в упрек «московской» школе. Большинству компаративистов праязык представлялся единым, лишенным диалектной дифференциации, а по существу — складом архетипов, праформ, не умещавшихся в рамках исторических грамматик родственных языков. И в самом деле, восстановление отдельно взятого архетипа методом внешней (сравнительной) реконструкции по самой логике сравнительно-исторического метода с неизбежностью приводит к единой праформе, эволюция которой принимает вид родословного древа. Сравнивая, например, русск. *ворóна* ~ *вóрон* с серб.-хорв. *врана* ~ *врȁн*, чешск. *vrȁna* ~ *vran*, польск. *wrona* ~ *wron*, нельзя не реконструировать исходный архетип эпохи распада иначе, чем **warnā* ~ *wā̆rnās*, подкрепив надежность реконструкции ссылкой на литов. *várna* ~ *vaĩnas*. И далее, нельзя не реконструировать еще более древние формы **wārnā* ~ ~**wā̆rnās*.

А если перенести графическое отображение развития отдельного архетипа на развитие языка в целом, то и получится модель родословного древа с последовательно дивергирующим первоначально единым праязыком... Концепция генетического родства языков теснейшим образом связана с идеей общности происхождения, с понятием праязыка. На этом, собственно, и строится сравнительно-исторический метод. Казалось, что вся совокупность фактов свидетельствует о длительном, бездиалектном развитии именно праславянского языка. Лингвистическое «расстояние» между славянскими языками ничуть не больше различий между немецкими, итальянскими либо французскими диалектами. Поразительны размеры материальной общности инвентаря общеславянских морфем, лишь незначительно и вполне регулярно изменяющих свой звуковой облик от диалекта к диалекту. Несмотря на самые изощренные методы сравнительно-исторического анализа, соотносительной и абсолютной хронологии удается реконструировать максимум пять-шесть фонетических и морфологических различий, идущих не глубже V в. нашей эры. Гот-

* Вопросы опубликованы в ВЯ, 1981, № 6.

ские (II—V вв. н. э.) и германские заимствования (например, имя Карла Великого, 742-814) ведут себя как исконные слова, подчиняясь тем же закономерностям, которые привели к членению славянских языков на три группы *корóль*, *краль*, *krol*, как *вóрон*, *корóва* и т. п. Основные различия между славянскими языками и диалектами по данным сравнительно-исторического метода не идут глубже XII—XIV вв.

Из этих фактов исходит гипотеза (Т. Лер-Сплавинский, Н. Ван-Вейк, Н. С. Трубецкой, Г. А. Ильинский и др.) о двух периодах в истории праславянского языка — раннем, длительном, бездиалектном с медленным языковым развитием и позднем периоде бурного развития с зарождавшимися диалектными различиями. Более ортодоксальные фортунатовцы продолжали отстаивать тезис о диалектном членении праязыка, пойдя на сознательный отказ от самого термина «праязык», так или иначе ассоциируемого с представлением о строгом единстве языка-источника. Вместо него они предпочитали термин «общеславянский язык».

Исходя из современных представлений лингвистической географии следует принципиально поддержать постулат Фортунатова и с глубоким удовлетворением принять выводы О. Н. Трубачева, опирающиеся на тщательный анализ огромного массива праславянского лексического фонда: «первоначальная Славия не была языковым монолитом» (ВЯ, 1974, № 6, с. 66), а близость славянских языков «может быть также результатом длительного выравнивания». Этот вывод имеет общелингвистическое значение. Остается лишь преодолеть противоречия между показаниями фонетики и морфологии, с одной стороны, и данными «праславянской лексикографии», подтверждающими общенаучное представление о непременности диалектного членения языка, занимающего большую территорию и объединяющего значительное число говорящих — с другой (см. ответ на вопрос № 2 анкеты).

Журавлев В. К. (Москва)

Вопрос № 2. **Каковы возможности реконструкции диалектного членения праславянского языка (поздней поры, более древней поры)?**

Исходя из постулатов классического сравнительно-исторического метода, путем сравнения родственных языков (внешняя или «сравнительная» реконструкция) можно реконструировать праязыковое состояние лишь эпохи распада. Позднее состояние реконструируется как начало формирования диалектных различий. Более раннее состояние реконструируется уже по данным сравнения с языками более отдаленного родства («двоюродными») по коленам родословного древа — для праславянского — с балтийскими. Древнейшее состояние рисуется бездиалектным. Подведение итогов разысканий в области праславянской диалектологии последних десятилетий (Я. Чекановский, А. Фурдаль, Г. Бирнбаум и др.) выявляет следующую картину. Древнейшие диалектные различия в области фонетики и морфологии делят Славию на западный и восточный диалекты и связаны, в основном, с результатами второй и третьей палатализации: 1) x $\check{e}_2, i_2 < {}^*ai \geqslant \check{s}/s'; i, ь, ę + x \geqslant \check{s}/s'$; 2) $sk + \check{e}_2, i_2 \geqslant \check{s}\check{c} \parallel s'c'$; 3) kw, $gw + \check{e}_2, i_2 \geqslant kw, gw \parallel cw, zw$; 4) $tl, dl \geqslant tl, dl \parallel l$. К древнейшим изофонам относят еще и рефлексы $t, d + j$, хотя они не дают четкого разграничения запад ~ восток: вост.-слав. и словенск. $tj > \check{c}$, зап.-слав. $tj > c, dj > z$, серб.-хорв. $tj > \acute{c}, dj > \acute{z}$, болг. $tj > \check{s}t, dj > \check{z}d$; словенск. $dj > j$. Изоглоссы рефлексов *ŕ* и *tort* в общем совпадают и членят Славию на три ареала (*trot*, *torot*, *ŕat*). Юг Славии отчленяется от Севера морфологическими чертами (*-отъ* ‖ *-ъмъ*; *-y* ‖ *-a*, *nesy* ~ *nesa* и одной фонетической $^*ort > rat \parallel rot$, включающей в себя и часть западного ареала. Все эти изоглоссы отражают действительно поздние праславянские процессы и не могут датироваться раньше V—VI вв. Другие общеславянские

изоглоссы так или иначе связаны с процессом падения редуцированных и не идут глубже конца I тыс. н. э.

Сложилась парадоксальная ситуация: реконструкция фонетики и морфологии свидетельствует о бездиалектном характере праязыка, а реконструкция лексического фонда (О. Н. Трубачев) дает картину разнообразных и исконных диалектных различий. Последнее поддерживается и общетеоретическими соображениями. Современное науковедение, обобщая опыт развития самых различных наук, пришло к выводу, что парадоксы вскрываются там и тогда, где и когда требуется уточнить фундаментальные понятия науки, и что стремление освободиться от противоречий так или иначе способствует совершенствованию теории. Вывод О. Н. Трубачева о том, что «первоначальная Славия не была языковым монолитом» (ВЯ, 1974, № 6, с. 66), безусловно, способствует совершенствованию наших представлений о праславянском языке, теории и практики реконструкции вообще и лексического фонда в частности.

Своими соображениями относительно возможности освободиться от парадокса нашей науки мне приходилось делиться на конференции (1964 г.) по проблемам лингво- и этнографии и ареальной лингвистики. Исходя из представления о праязыке как об изоглоссной области, охватывающей совокупность родственных диалектов с определенной общностью исходного языкового материала и общих тенденций его развития, можно себе представить совпадение изоглосс с изохронами, стремящимися рано или поздно охватить всю изоглоссную область, стирая тем самым некогда существовавшие диалектные различия. Так, во всех славянских языках и диалектах рано или поздно пали редуцированные. Процесс, начатый где-то на юго-западе, постепенно, в течение трех-четырех столетий охватил всю Славию. Это значит, что где-то в XI в. проходила изоглосса, членившая Славию на две части: северо-восток еще сохранял редуцированные и структуру открытых слогов, юго-запад уже имел закрытые и открытые слоги, слабые редуцированные пали, сильные конвергировали с соответствующими гласными «полного образования». И если бы не было памятников письменности, отразивших динамику падения редуцированных, мы реконструировали бы бездиалектный праязык с едва намечавшимися различиями в судьбе сильных еров. Очевидно, не мгновенно охватили всю нашу изоглоссную область монофтонгизация дифтонгов, вторая и первая палатализации. И, бесспорно, были диалекты, где уже последовательно прошли первый, второй, третий, четвертый, пятый процессы, а где-то — лишь первые три, где-то только начинал действовать первый... Такого рода диалектные различия реконструировать мы пока не можем: со временем все пять процессов охватят всю нашу изоглоссную область, изохроны сотрут прежние изоглоссы. Вот почему, когда мы лишь немного пытаемся спуститься глубже «эпохи распада», праязык нам кажется бездиалектным. А диалекты всегда были. Родственные диалекты постоянно перетасовывались, постоянно менялись эти центры иррадиации инновации. Периферийные диалекты могли отрываться от одной изоглоссной области и примыкать к другой, иррадиируя общие черты двух смежных изоглоссных областей и т. д. И чем больше материальная близость, тем больше возможность взаимопонимания, с одной стороны, тем сильнее действуют общие тенденции развития — с другой, и тем в конечном итоге интенсивнее формируется материальная и структурная близость. Праязык не только расщепляется, но и консолидируется, формируется в ходе развития родственных диалектов. Мы пока можем реконструировать развитие лишь абстрактного, передового диалекта, игравшего роль эпицентра иррадиации, новообразований, существенных для всей изоглоссной области. Абстрактный — лишь потому, что условно мы его считаем единым, лишенным диалектных различий в связи с возможностями современного сравнительно-исторического метода. Эта концепция стимулировала доклад Г. Бирнбаума на VII Международном съезде славистов (1973) «О возможности реконструкции древнейшего состояния праславянского языка...», где была тщательно изложена и детально разобрана и, в общем, принята. Некоторая задержка непосредственно

отклика на неё связана с тем, что удалось опубликовать изложение этой концепции лишь в 1970 г. (Еще раз о предмете, методе, целях и задачах науки о праславянском языке.— В кн.: Язык и человек. Сборник статей памяти П. С. Кузнецова. М., 1970.)

Дальнейшее проникновение вглубь истории будет связано с усилением роли внутренней (системной) реконструкции, принципиально не ограниченной хронологической схемой «колен» родословного древа, но прочно опирающейся на достижения традиционной относительной хронологии. Так, в частности, была вскрыта взаимосвязь сатемовой палатализации с генезисом [x] (1967). Оказалось, что суть диалектных различий балто-славянской области заключается не столько в фонетической стороне, сколько в способах фонологизации аллофонов: у славян $*s_2 < *k'$ конвергировал с $*s_1$, а у балтов с его позиционным вариантом *š* позиции после *i*, *u*, *r*, *k*. И нет нужды реконструировать общебалтославянское [š], из которого развивались то славянские [x], то балтийские диалектные [s], то «оставалось» [š]. К схожим выводам позднее пришел Г. Андерсен.

Журавлев В. К. (Москва)

Вопрос № 10. **Какая концепция балто-славянских отношений является, по вашему мнению, наиболее адекватной сложному характеру этих отношений (первоначальное единство; древнее ареальное соседство; вторичное сближение первоначально особых и.-е. диалектов и т. д.)?**

Вот уже три четверти века не прекращается спор о характере балто-славянских языковых отношений. Вновь и вновь пересматривается постоянно возрастающая совокупность фактического языкового материала, стимулируя конкретные исследования балтийских и славянских языков. Но самое существенное, что привносит эта дискуссия, лежит в плане теоретическом: в ходе ее уточняются фундаментальные понятия компаративистики («праязык», «языковое родство», «родословное древо» и т. п.), обсуждаются причины языковой близости, языковых схождений и расхождений.

Вначале все было как нельзя лучше: поразительная близость славянских и балтийских языков обусловливала успехи реконструкции праславянского языка. Многие архетипы последнего, восстановленные путем сравнения славянских форм, обнаруживались в живом литовском языке (см. пример в ответе на вопрос № 2). Для раннего этапа реконструкции путем восхождения от колена к колену родословного древа само совпадение реконструированных архетипов с засвидетельствованными формами языков «двоюродных» казалось торжеством сравнительно-исторического метода. Все чаще и чаще за представителя балтийских языков стал выступать литовский язык, создавалось впечатление, что праславянский язык — диалект литовского... Отмечена некорректность непосредственного обращения к литовскому, было бы корректнее реконструируемый праславянский архетип сопоставлять с реконструированным балтийским и восстанавливать общий балто-славянский. Но литовский продолжает доминировать в балто-славянских штудиях до сих пор. Латышский и прусский как-то остаются в стороне. И дело, вероятно, в том, что они в определенных отношениях ближе к славянским языкам, пережили с ними больше общих процессов, а потому и дают меньше расхождений, меньше материала для суждений об «эпохе распада» балто-славянского праязыка. Все более и более становится очевидным, что славянские языки составляют замкнутую совокупность с легко реконструирующимся праязыком, чего нельзя сказать о языках балтийских. В некоторых случаях важнейшие общеиндоевропейские изоглоссы вместо ожидаемого разграничения славянских и балтийских языков проходят внутри балтийской языковой об-

ласти. Ср., например, изоглоссу *sr* ‖ *str* (литов. *srauja*, др.-инд. *sravati*, лтш., др.-прусск. и русск. *str-*, русск. *струя*), рефлексы *k̂/ĝ* (литов. *žirnis* ~ лтш. *zirnis*, прусск. *syrne*, слав. *zьrno*, русск. *зерно*), рефлексы **ā* (литов. *bróliš* ~ лтш. *brālis*, прусск. *brāti*, слав *brat(r)*, русск. *брат*) и т. п. Создается впечатление, что процесс распада праязыка не соответствовал коленам родословного древа, а вычленение праславянского ~ ~ древнепрусского ~ литовского ~ латышского проходило более или менее одновременно. Все больше и больше осознается, что понятие «праязык», сопряженное с понятием «родословного древа» раннего компаративизма, не вполне соответствует балто-славянскому материалу. Единый, последовательно членящийся праязык при всем совершенстве сравнительно-исторического метода не получается. Наряду с поразительными схождениями «балто-славянской эпохи» вскрываются глубокие различия, восходящие еще к более далекой древности (при сходстве системы склонения глубокие различия в спряжении и т. п.). Даже в случае схожих процессов (например, совпадение исконных *ă* × *ŏ*) характер единого источника — [*ŏ*] либо [*ă*] — нельзя в рамках традиционного метода «ни доказать, ни опровергнуть» (Я. Эндзелин). Праязык не реконструируется, хотя «расстояние» между балтийскими и славянскими языками не больше, чем между родственными языками внутри других семей (индоиранские, германские, итало-кельтские и др.), поразительное сходство налицо и требует объяснения. Однако трудно отказаться от понятий «праязык» и «родство», без которых немыслим сравнительно-исторический метод. Своего рода синонимом термина «праязык» стали выступать «балто-славянская эпоха», «балто-славянское единство», «общность», «сообщность» и др. Ясно одно, что какие бы термины не предлагались, они вместе со старым термином «праязык» противопоставляются термину «языковой союз» типа Балканского по характеру схождений. Балто-славянское «единство» характеризуется прежде всего материальной общностью весьма значительного числа исконных морфем, в том числе грамматических (слово- и формообразовательных) со строгими и прозрачными фонетическими соответствиями, что свойственно для генетического «родства», но не «сродства», приобретенного в результате длительных контактов. Для тесных межъязыковых контактов даже родственных языков необходимы определенные стимулы социального взаимодействия соответствующих социумов, хотя бы в рамках союза племен (совет вождей, общность святилищ, общность эпоса, сакральных текстов, «общесоюзного» койне и т. п.). Для балто-славянского «сообщества» трудно говорить о каком-либо социальном взаимодействии чуть ли не до Грюнвальда. Нет общего самоназвания не только для балто-славянского сообщества, но даже для балтов. Наличие самоназвания более характерно для южных индоевропейцев, теснее связанных с эпицентрами классовых обществ (кельты, иллиры, фракийцы, арья) в эпоху предполагаемого балто-славянского единства. Славяне раньше балтов составили периферию классовых обществ, что ускорило их социальное развитие, консолидацию и обретение самоназвания, пронесенного через всю письменную историю. Здесь следует вспомнить воспринятый в свое время как парадокс вывод О. Н. Трубачева относительно ремесленнической терминологии: число общих славяно-балтийских новообразований минимально. Судя по данным совместного терминотворчества, славяне находились в более тесном контакте не с балтами, а с западными индоевропейцами, составлявшими в глубокой древности центрально-европейский культурный ареал, включавший германские, италийские и славянские диалекты. Однако характер этих связей, общность терминов, словообразовательных моделей и т. п. скорее свидетельствуют о своего рода «языковом союзе», культурно-экономическом ареале, о «сродстве», а не о родстве.

Итак, «праязык» не реконструируется, а длительная «сообщность» на основе тесных контактов лишена социально-исторических условий. Сообщество предполагает, как минимум, элементарнейшую меновую торговлю, но то, что могло служить предметом торгового обмена (продукция ремесленничества), лишено терминологической общности, даже числительные имеют различное устройство (литов. *vienúolika*, *dvýlika* ~ слав.

jedinъ na desęte, dъva na desęte...), но материальная общность грамматических показателей, суффиксов, флексий, формантов причастий, строгость интонационных соответствий и т. п. не перестает поражать и требует объяснения.

В свое время от попытки объяснить специфику балто-славянских языковых отношений не удалось уклониться и мне. Мною было предложено (Baltistica, IV, 1968) к очередному съезду славистов некоторое решение проблемы, на основе динамического представления о праязыке (ср. ответ на вопрос № 2 настоящей анкеты). Согласно этой концепции, балто-славянская изоглоссная область искони представляла собой совокупность диалектов весьма близкого генетического родства с большим объемом исконно общего материального фонда, обусловливающего общность тенденций его развития и вызванную ими определенную цепь последовательных процессов, стремящихся охватить всю изоглоссную область. Эпицентры инноваций могли мигрировать, в роли «передового диалекта» могли оказаться то одни, то другие. Вполне вероятно, что те или иные диалекты, ранее входившие в данную изоглоссную область, могли выйти из нее, примкнуть к другой. В таком «оторвавшемся» диалекте будут действовать свои старые и новые тенденции, идущие от нового эпицентра. Есть некоторые основания полагать, что древнепрусский язык, языки ятвягов и голяди первоначально входили в протославянскую изоглоссную область, но позже, оторвавшись от нее, примкнули к летто-литовской, став эпицентром иррадиации общебалтославянских процессов. А летто-литовский, вероятно, примыкал к протогерманской изоглоссной области и, оторвавшись от нее, примкнул к балто-славянской, в иное время, наоборот, усилились контакты славян с германцами и т. д. «Праязык» не только распадается, но и создается, материальная и структурная общность может быть результатом действия общих тенденций развития исходного материального фонда. Поразительно близки материально и структурно полные и краткие прилагательные, но это бесспорная инновация, результат весьма позднего параллельного развития. По крайней мере с V в. н. э. никак не контактируют литовцы и словенцы, но последовательность процесса элиминации дуалиса и связанные с этим явления как бы повторяются и там и тут. Если внимательно присмотреться к чертам сходства балтийских и славянских языков в области фонетики, то все они взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Неразличение прежних *ă* × *ŏ* связано с лабиовеляризацией согласных (ср. особенно четкие следы этого процесса в прусском, *krichstianisquan*, *mergwan*, а также *vār(a)s* < **urs*), сатемовой палатализацией и аллофонным варьированием [*s*] после *i*, *u*, *r*, *k*; связано с расщеплением $\underset{\circ}{R} \rightarrow \underset{\circ}{R}^{r}/\underset{\circ}{R}$ или $\underset{\circ}{R}^{0}/\underset{\circ}{R}$; ликвидация признака долготы в первой части дифтонга с необходимостью приводит к трансформации признака долготы в признак интонации, акут ~ циркумфлекс и т. п. Создается впечатление, что различия обусловлены лишь полнотой и последовательностью проведения той или иной общей тенденции, например, перестали различаться не только краткие, но и долгие *ā* × *ō* в всех позициях без исключения, делабиализовалось не только *o*, но все прежние лабиализованные гласные и *ō* и *ū*, согласным передан не только признак бемольности как в прусском, но и признак диезности и т. п. и т. д. И, может быть, следы балтийских гидронимов, бассейна Днепра, тщательно собранные К. Бугой, О. Трубачевым и В. Топоровым, не столько следы собственно балтийские, сколько рефлексы общего балто-славянского фонда, которые оказались обойденными плугом последовательных праславянских фонетических процессов.

Журавлев В. К. (Москва)

Вопрос 16. Каково состояние вопроса о словаре церковнославянских памятников русского извода (восточнославянских изводов), его взаимоотношении с русской и восточнославянской исторической лексикографией, а также лексикографией канонических старославянских (древнеболгарских) памятников?

Ответ на этот вопрос следует начинать с рассмотрения источников такого словаря, с церковнославянских памятников. Проблема источников — одна из центральных для любого словаря, и именно она удачно задана в тексте вопроса.

Уже в самой форме этого вопроса, по-видимому, не случайно, находим термин «церковнославянские памятники», а не словосочетание «церковнославянский язык». Действительно, объемы этих понятий совпадают лишь частично. В 17-м т. Словаря современного русского литературного языка АН СССР (1965 г.) прилагательное *церковнославянский* определяется как «относящийся к богослужебной письменности восточных и южных славян».

Оставляя сейчас в стороне особый вопрос об определении понятия «церковнославянский язык» и следуя в этом за названным Словарем, к церковнославянским должны быть отнесены прежде всего почти все тексты, содержащие славянские переводы и списки ветхозаветной и новозаветной письменности (см., например: *Мещерский Н. А.* Источники и состав древней славяно-русской переводной письменности IX—XV веков. Л., 1978), а для эпохи конца XV—XVII вв. преимущественно службы, похвальные слова святым, их жития, памяти, страсти, сказания о чудесах, отдельные притчи. В то же время, если нам лучше известен состав церковнославянских источников XI—XV вв., то о церковнославянских текстах XV—XVII вв. мы знаем уже много меньше.

Классическая славистика, и прежде всего русская филологическая школа, сделали немало для выявления и описания произведений древнеславянской конфессиональной литературы. Так, например, только в агиографии мы располагаем капитальными исследованиями В. О. Ключевского (Древнерусские жития святых как исторический источник. СПб., 1871), А. П. Кадлубовского (Очерки по истории древнерусской литературы житий святых. Варшава, 1902), П. Сырку (Литургические труды патриарха Евфимия Тырновского. СПб., 1890), И. Яхонтова (Жития святых севернорусских подвижников Поморского края. Казань, 1882), Н. И. Серебрянского (Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле. Чтения ОИДР, 1908, III, IV). К сожалению, позднее эта традиция почти оборвалась. Многие другие, весьма важные сами по себе проблемы, надолго оттеснили на второй план вопрос об изучении того подлинно литературного языка, который функционировал в средние века в письменности восточных и южных славян.

IV и V съезды славистов удачно способствовали оживлению интереса к этой проблематике.

Включение церковнославянского языка в ряде работ в понятие древнеславянский язык содействовало углублению представлений о церковнославянских памятниках. Постепенно все более очевидным становилось, что наши знания о церковнославянском языке XIV—XVI вв. в целом весьма поверхностны, что у нас нет сколько-нибудь полных описаний даже грамматики славянских текстов разных ареалов по отдельным хронологическим периодам. Многие памятники относились или не относились к церковнославянским по чисто внешним, нелингвистическим критериям. Именно в связи с этим в кругу названных проблем 20 лет назад коллективом филологов Ленинградского ун-та при участии Н. И. Толстого была предпринята попытка сравнительного лингвостатистического описания морфологии памятников древнеславянской письменности XI—XVI вв., нашедшая свое отражение в двух книгах и ряде сопредельных публикаций. Материалы этих работ содержат немало данных и для рассмотрения вопроса о критериях отнесения памятников к церковнославянским. Напомним ниже наши основные исходные положения и выводы.

Было привлечено 106 источников XI—XVI вв., анализу подвергнуто свыше 1 000 000 словоупотреблений. Все источники были строго разбиты в хронологическом, ареальном и жанровом отношении. Среди привлеченных произведений преобладают тексты конфессиональные и повествовательные. Это и евангелия (Зографское, Мариинское, Остромирово, Мирославово, Галицкое, Добрейшево, Вуканово), и переводы ветхозаветных текстов из Валахии, Словении, и псалтырь (Синайская, Чудовская, Погодинская, Болонская, Симоновская, Софийская, Бухарестская), и апостол (Охридский, Слепченский, Толковый 1220 г., Шишатовацкий); наконец, это тексты житий XI—XVI вв., произведения Евфимия Тырновского, Епифания, Похомия Логофета, Иосифа Волоцкого, Владислава Граматика, Димитра Кантакузина, Константина Костенечского, Григория Цамблака, Четьи-Минеи Макария, многие повести.

Основные выводы следующие. Конфессиональные и повествовательные тексты во все времена представляют наиболее яркий характерный и устойчивый тип церковнославянских текстов. Все материалы убедительно свидетельствуют о единой системе именного склонения и словообразования конфессиональных и повествовательных текстов у южных и восточных славян с XI по XVI вв. Локально-ограниченные флексии, суффиксы крайне незначительны, у большинства авторов их нет вообще. Нет форм, характерных исключительно для отдельных текстов. В то же время нет ни одного текста, включая и источники XI—XII вв., который не имел бы отступлений от канонической старославянской (древнеболгарской) системы именного склонения в том ее виде, как она представлена в любом общем пособии по старославянскому языку.

Таким образом, весьма логично предположить, что если таков язык этих южновосточнославянских произведений XI—XVI вв. по данным морфологии и словообразования, то таковы же эти источники и по характеру их лексики. И здесь весьма показательны местные жития святых. Так, по нашим наблюдениям, в псковских житиях XIV—XVI вв. (Жития Довмонта, Никандра, Саввы Крыпецкого, Ефросина, Георгия Софийского) мы находим ту же единую церковнославянскую систему именного склонения и словообразования. В этих памятниках нет ничего местного ни в морфологии, ни в лексике, и лишь изредка в них прорываются разговорные слова типа *градець*, *крабица*, *оконница*, *рогозина*, *лавица*.

Таков же, по-видимому, и характер языка севернорусских поморских житий. Конечно, всему этому и в Болгарии, и в Сербии, и на Руси есть свои причины (реформа Евфимия Тырновского, второе южнославянское влияние, выдающаяся деятельность митрополита Макария и др.), рассмотрение которых не входит сейчас в наши задачи. Подчеркнем другое. Все сказанное свидетельствует о том, что внешние, экстралингвистические критерии отнесения памятников к церковнославянским и критерии собственно лингвистические (включая и стилистические) не совпадают.

Так, как раз по собственно языковым признакам к церковнославянским текстам должны быть отнесены не только евангелия, псалтырь или жития и похвальные слова, но и многие повести XV—XVI вв. (московские, новгородские), троянская история во множестве ее списков и редакций, включая и западнославянские, сербские повести, и такие яркие региональные произведения, как Повесть о прихождении Батория на град Псков или Повесть о Псково-Печорском монастыре, большинство полемических сочинений Даниила, Василия из Острога, Максима Грека, Петра Скарги и др.

Во всех этих памятниках представлен в целом единый яркий, образный, достигший исключительно высокого стилистического уровня литературный язык славянского средневековья. Это и есть церковнославянский язык.

Строго лингвистически словарь церковнославянского языка — это словарь текстов, в которых отражен этот язык. Однако такой подход логически предполагает, что мы знаем, во-первых, эти тексты, а во-вторых, располагает таким эталонным описанием языка, которое могло бы служить впоследствии основой отнесения или неотнесения каждый раз того или иного памятника к церковнославянскому.

Думается, однако, что задать заранее жесткое эталонное описание церковнославянского языка даже на уровне фонетики и морфологии в целом также трудно, как создать, например, эталон обиходно-разговорного языка XV—XVII вв. Везде будут выделяться ядро, центр и периферия, незаметно переходящая к другим подъязыкам. Это будет картина, во многом напоминающая лингвистическую карту, на которой неплохо очерчивается ядро диалекта, а далее следуют широкие размытые переходные зоны.

Аналогично и с памятниками церковнославянской письменности. И здесь выделяется ядро текстов, но уже гораздо сложнее с повестями, с летописями; то и дело будут встречаться памятники, не укладывающиеся в заранее заданные жесткие рамки.

Таким образом, если при подборе церковнославянских памятников в качестве источников для словаря по тем или иным причинам нельзя использовать только собственно языковые критерии, следует ориентироваться на ядро текстов, но не ограничиваясь им, привлекать также и памятники из периферийных зон. Этот принцип давно оправдал себя, с одной стороны, в лингвистической географии, а с другой стороны,— в полевой семантике. Границы диалекта в лингвогеографии и семантического поля в семантике могут быть определены только с учетом размытых переходных зон.

Остановимся и на собственно лексикографических антиномиях словаря в аспекте его источников, церковнославянских памятников. С позиций далекой перспективы и лингвистически и экономически более оправдан, конечно, единый словарь церковнославянского языка, который включал бы в себя лексику как южнославянских, так и восточнославянских текстов, например, с XIV по XVI вв. Это могла бы быть фундаментальная тема по типу ОЛА. Но в едином словаре неизбежна нивелировка своего, местного. Учитывая высокое стилистическое мастерство многих авторов, эти семантические и стилистические потери нежелательны.

Антитезой такому единому словарю является словарь автора, в котором можно по всем спискам, семантически детально рассмотреть лексику произведения. Для многих авторов, таких, как Евфимий Тырновский, Киприан, Григорий Цамблак, Владислав Граматик, Епифаний Премудрый, Иван Вишенский, такие словари весьма желательны. Но здесь мы за частным долго не увидим целого — единого церковнославянского языка.

Наконец, именно среднее компромиссное решение представляет собой создание словаря церковнославянского языка по традиционным изводам (болгарский, сербский, русский, западнорусский). Но и здесь остаются неясными два вопроса. Первый — об отражении в таком словаре хронологически разных списков таких памятников, как евангелие, псалтырь, житий южнославянских святых в русских списках и т. п., и второй — об отношении к многочисленным пространным цитатам, вставкам из самых различных, как правило, более ранних конфессиональных памятников.

И, наконец, вновь о внелингвистических препятствиях в создании даже такого словаря. Любая большая лексикографическая работа — работа коллективная. Тогда каждый член коллектива вправе иметь постоянно под рукой, на полке хорошие филологические издания всех источников словаря. К рукописи в библиотеке можно обратиться раз, другой, третий, к тексту лексикограф обращается ежедневно и ежечасно. Но много ли мы имеем хорошо изданных конфессиональных и конфессионально-повествовательных текстов? Большинство из них рассеяно по таким редким уже сегодня изданиям, как Православный собеседник, Памятники старинной русской литературы, Чтения ОИДР, Чтения ОЛДП и др. Прекрасное издание Великих миней Четиих Макария не закончено. Множество житий, похвальных слов, служб святым заключено в различных рукописных сборниках смешанного содержания. Не собраны пока воедино даже произведения Епифания, Похомия Логофета, Киприана, попа Василия, хотя бы так, как это было сделано Э. Калужняцким в свое время для Евфимия Тырновского [Werke des patriarchen von bulgarien Euthymius (1375—1393). Wien, 1901].

И если недавно вышел в свет словарь Моления Даниила Заточника по всем спискам, подготовленный ленинградскими филологами по замыслу Б. А. Ларина, то, в частности, это оказалось возможным только потому, что авторы словаря располагали всеми опубликованными списками Слова и Моления Даниила Заточника. Именно в последнем, может быть, и заключается главное. На повестке дня сегодня пока не столько создание единого словаря церковнославянских памятников русского или сербского изводов, а большая и углубленная работа по филологической подготовке изданий основных церковнославянских текстов, и прежде всего выдающихся произведений русской конфессиональной литературы XIV—XVII вв. Немногочисленные исторические словари русского языка, предпринятые или издаваемые, включают этот материал в целом случайно, непоследовательно и фрагментарно, нигде он не стал пока основным объектом лексикографического исследования. Каждый новый филологический словарь требует своих принципов подбора источников, свою новую картотеку.

Герд А. С. (Ленинград)

Вопрос № 17. Как вы понимаете практическую зависимость задач исторической лексикографии от объема соответствующей национальной книжно-письменной традиции по опыту разных славянских стран (проблема тезауруса, тип словарной статьи, полнота словника)?

Этот вопрос затрагивает очень много аспектов, и ответить на него можно только в общем плане. Объем соответствующей национальной книжно-письменной традиции в значительной степени диктует исторической лексикографии свои правила и имеет решающее влияние на практическую реализацию ее задач. Их решение при соответствующем объеме бывает обусловлено, как правило, такими главными причинами: а) выбором условного ограниченного отрезка времени для исследования; б) количеством и объемом самих памятников этого отрезка; в) выбором письменных памятников по жанрам или использованием этих памятников независимо от жанровой дифференциации; г) принципами расписывания памятников (сплошное или выборочное расписывание); д) типом исторического словаря.

Конечно, идеальным историческим словарем был бы словарь типа тезауруса, в котором есть возможность подать все слова, их значения, существующие в письменных памятниках условно избранного отрезка времени. Но подготовка такого типа словаря возможна только в том случае, если для исследования избран небольшой период истории языка с небольшим объемом письменных памятников. Создать такого типа словарь ставили себе целью авторы Словника староукраїнської мови XIV—XV ст., который приближается к специальным словарям филологического характера. Тип тезауруса можно наиболее удачно использовать при подготовке словаря отдельного исторического памятника. Для памятников определенного исторического периода даже одного жанра тезаурус может существовать до того времени, пока не появятся новые письменные памятники.

Наиболее типичным и широко применяемым в исторической лексикографии при любом объеме книжно-письменной традиции является тип общефилологического исторического словаря, задача которого подать исчерпывающую информацию об истории слов, их значений, по возможности их возникновения и прекращения существования. Конечно, в славянской лексикографии каждый из таких типов словаря может иметь свои особенности, определенные их авторами.

Полнота словника также в значительной степени зависит от количества и объема письменных памятников исследуемого периода, а также от принципов расписывания памятников, положенных в основу словаря. В связи

с этим возникает закономерный вопрос а возможна ли вообще исчерпывающая подача всех слов, значений слов, семантических оттенков в исторических словарях? Нам кажется, как многое в этих словарях, полнота подачи словника остается условной. При подготовке, например, картотеки Исторического словаря украинского языка XVI — первой пол. XVII в — следующего словаря в звене украинских исторических словарей принцип сплошного расписывания не удалось выдержать (большое количество и объем письменных памятников), вследствие чего о полноте словника уверенно говорить невозможно.

Объем памятников и выбор материала обусловливают в значительной степени тип словарной статьи. Как правило, в историческом словаре будет преобладать тип статей, характерных для переводных словарей. Вместе с тем время от времени могут использоваться элементы толкового, этимологического и энциклопедического словарей.

Словарные статьи исторических словарей имеют одну главную особенность—важную функцию в них несет экземплификация. Экземплификация в исторических словарях выполняет те задачи, которые в первую очередь ставятся перед исторической лексикографией — быть основным фиксатором возникновения слова, его значения. Чем богаче книжно-письменная традиция, тем достовернее иллюстрации и тем более исчерпывающа характеристика соответствующих языковых явлений.

Полюга Л. М. (Львов)

Вопрос № 18. **Как вы охарактеризуете специфику различия между словарной (интенсивной) информацией о наличии слов в языке и фактической (экстенсивной) встречаемостью слов в тексте (по данным исторической лексикографии)?**

О такой специфике различия можно уверенно говорить лишь в том случае, когда все сохранившиеся письменные памятники «живого» в прошлом языка расписаны и на основании их создана картотека исторического словаря Тогда можно утверждать, что встречаемость слов в тексте представлена в словнике широко, но количественное различие между словарной информацией о наличии слов в языке и фактической встречаемостью слов в тексте существует и существовать будет всегда, ибо общеизвестно, что самое большое количество письменных текстов никогда не в состоянии засвидетельствовать наличия всей многогранности лексического обилия живого языка. Тривиальное утверждение, что словарь успевает «постареть», не успев еще появиться на свет, в данном случае можно считать наиболее верным.

Сравнение наличия слов в языке и встречаемости слов в тексте письменных памятников будет в значительной степени зависеть от разного подхода к выбору слов при создании картотеки исторического словаря — принципов расписывания (сплошного — выборочного), а также в некоторой степени от избранного отрезка времени истории исследуемого языка Если избранный условно исторический отрезок у́же, письменных памятников меньше, осуществляется более сплошное расписывание текстов, специфика различия становится все меньше. Уменьшить такое различие частично может диалектологическая лексикография.

Полюга Л. М. (Львов)

Вопрос № 19. Каковы перспективы воздействия лексикологии (общей, исторической, этимологической) на славянскую лексикографическую практику?

Связь лексикологии и лексикографии в настоящее время нельзя сводить только к отношению «теория — практика, исследование — применение». Обе эти области входят в состав науки о словарном составе. У них один и тот же объект с выделяемым по-разному объемом, но специфические цели и методы описания. Лексикография сама по себе обладает теорией и практикой, которая заключается в создании словарей различных типов. Следовательно, в нее входят теория лексикографии (ср. взгляды акад. Щербы) и практическая деятельность лексикографов. Теория лексикографии отражается и на принципах разработки отдельных словарей, к ней относятся, например, вопросы толкования лексических единиц и типология словарей. Мы имеем в виду, разумеется, лингвистические словари, среди которых главное место занимают академические одноязычные толковые словари современного языка различного объема, составляющие базу и для словарей других типов. Среди последних можно указать, например, словари специальные, двуязычные и многоязычные, школьные, профессиональные, оставив в стороне словари с практическими целями, популярные и т. п.

С точки зрения лексикологии наиболее важны словари алфавитные и систематические (идеографические), в обоих случаях словари современного языка. Лексикология как теория словарного состава нуждается в целях доказательства и верификации своей теории в лексикографии, в конкретных словарях.

Большой одноязычный академический словарь содержит прежде всего многоаспектное описание отдельных лексем. Эта комплексная лингвистическая информация включает правописание, произношение, грамматические, словообразовательные и стилистические моменты, сочетаемость (валентность), характеристику значения, а иногда и сведения об употребительности. Благодаря этому словарь такого типа, особенно если он имеет нормативную направленность, становится суммой знаний о языке вообще. Лексикология оперирует более ограниченным материалом: она имеет дело прежде всего с формой и значением лексем и их отношениями, используя те установленные релевантные формальные характеристики (включая грамматические), которые сигнализируют и объективизируют различные значения лексем, их оппозиции и различительные компоненты. Ее основная функция и преимущество по сравнению с лексикографией заключается в том, что лексикология обобщает частные наблюдения лексикографии, сопоставляет их с положениями теоретической лингвистики, объясняет их и пересматривает некоторые конкретные результаты лексикографии. Существенную помощь ей оказывают существующие словари: специальные, синонимические, фразеологические, словари иностранных слов и словари терминологические. Уровень одноязычного толкового словаря зависит от уровня этих специальных словарей. Весьма желателен и необходим для повышения теоретического уровня лексикологии словарь семантических полей (идеографический), который регистрирует частные системы словарного состава. Следовательно, лексикология критически опирается на лексикографию, приводит ее выводы в специфическую лингвистическую систему, стимулирует ее развитие и обеспечивает реализацию этих импульсов на более высоком уровне.

По нашему мнению, которое сформулировано и реализовано в краткой «Чешской лексикологии», подготовленной к печати, лексикология включает в себя лексическую семантику с разделом о сочетаемости лексических единиц; лексическую ономасиологию (обе эти области взаимодополняются при описании и оценке семантической деривации, семантических отношений и частных систем словарного состава, иногда и при их межъязыковой конфронтации) область словообразования; область фразеологии; лексическую стилистику. В настоящее время, когда лексикология, содержащая полное и адекватное описание активного современного сло-

варного состава, остается все еще недостижимым постулатом, следует и лексикографическую работу, связанную с созданием академических одноязычных словарей и базирующуюся на уникальном материале и его всестороннем описании, считать составной частью словарного состава языка. Кроме того, лексикография преследует, разумеется, и специфические цели, связанные с выбором путей и форм приближения лингвистических материалов к потребностям лиц, пользующихся словарями.

В целом можно сделать следующий вывод: лексикология и лексикография обязаны сотрудничать. Сила лексикографии заключается в теоретически обоснованной эмпирии, сила лексикологии — в обобщении эмпирии и установлении связей с лингвистической наукой.

Филипец Й. (Прага)

Исследования по-лексикологии имеют прямое влияние на создание лексикографических трудов. Однако каждая из перечисленных лексикологий может по-разному воздействовать на лексикографическую практику. Этимологическая лексикология — неотъемлемая часть создания высококачественных и полных этимологических словарей славянских языков Этимологическая и историческая лексикологии непосредственно способствуют развитию исторической лексикографии. И, наконец, общая лексикология вместе с этимологической и даже с исторической могут воздействовать на практику создания разного типа общефилологических и специальных словарей современных языков. Перспективы воздействия лексикологии на славянскую лексикографическую практику будут идти в разных направлениях: способствовать повышению качества лексикографической работы вообще и более удачному созданию словника в частности, а также содействовать более четкому и последовательному размещению значений слов в словарных статьях, удачному переводу слов в двуязычных словарях. Практика создания словарей разного типа и исторических словарей в частности показывает, что без лексикологических исследований при создании словарей обойтись вообще невозможно. Когда лексикология не разработана, «словарникам» приходится для своих нужд проводить самостоятельные лексикологические исследования. А известно, что уровень таких исследований бывает очень неровным.

Высокое развитие лексикологии было бы идеальным условием подготовки лексикографических работ. Однако сегодня в славянской лексикографии наблюдается другая картина, когда время неумолимо выдвигает необходимость создания словарей, независимо от того, существуют или не существуют лексикологические исследования. А эти лексикографические работы в свою очередь влияют на развитие лексикологии. Перспективы влияния взаимные.

Полюга Л. М. (Львов)

Историческая лексикология и историческая лексикография развиваются параллельно, и конкретные проявления их взаимодействия достаточно известны. Активизация русской лексикографии позволяет весьма оптимистично оценивать ее перспективы.

Каждый новый этап развития исторической лексикологии приводит к выводам о каких-то несовершенствах в имеющихся или выходящих исторических словарях. Например, осознаваемая в настоящий момент необходимость в обобщающих трудах по исторической лексикологии не может быть удовлетворена без создания словарей, фиксирующих жанрово-сти-

листическую и географическую дифференциацию лексики. Достаточно глубокая и ясная ретроспектива, освещающая эволюцию отдельных слов, помогла бы решить немало неясных вопросов современной диалектологии и лексикологии русского языка.

Дальнейшее развитие исторической лексикологии потребует создания большого (с максимальным охватом источников) старорусского словаря XIV—XVII вв. и целого ряда частных словарей того же периода: словаря языка Москвы и некоторых других регионов, словаря делового языка, словаря книжнославянского языка периода второго южнославянского влияния. Уже сейчас очевидна нужда в диалектном словаре XIV—XVII вв. или только XVII в., который в дальнейшем будет пополняться и уточняться, а именно в этом и будет состоять смысл его первоначального издания.

Создание лексиконов русского языка XIV—XVII вв. обеспечено большим количеством опубликованных источников, особенно XVII в., и поистине неисчерпаемыми фондами рукописей делового содержания второй половины XVI—XVII вв. Эти материалы выявлены и в известной мере исследованы лексикологами, т. е. выполнена необходимая работа, предваряющая вышеназванные лексикографические мероприятия.

Судаков Г. В. (Вологда)

Вопрос № 20. **Каковы возможности конкретной лексикологии в решении принципиальных проблем истории русского литературного языка?**

При правильно заданном направлении общего потока исследований и координации работ в области исторической лексикологии эта наука может дать конкретные и почти исчерпывающие фактические подтверждения или опровержения для целого ряда теорий и гипотез по проблемам истории русского литературного языка, особенно таких, которые основаны не на анализе источников, а на авторитете отдельных ученых. Для реализации объясняющих возможностей исторической лексикологии нужно усилить внимание к употреблению древнерусского слова. Пока мало исследований об употреблении слова в тот или иной исторический период с учетом всех функциональных сфер языка, поэтому мы не знаем всего спектра семантики слова, не учитываем жанрово-стилевую дифференциацию значений полисемантичного слова и такую же дифференциацию внутри отдельных лексико-семантических групп. Даже работы по лексической синонимии ограничиваются часто анализом синонимов в одной функциональной разновидности языка. При исследовании лексики той или иной тематической группы заметно сознательное ориентирование на определенный круг источников, где сосредоточен массовый материал, но такое сужение круга источников обедняет наши представления о составе литературного языка. Так, конкретно-бытовую лексику принято изучать по данным деловой письменности, а отвлеченную лексику — в литературно-книжном языке. Между тем, например, плодотворным оказывается изучение лексики сферы материальной культуры в литературно-художественных и религиозных текстах, а отвлеченных существительных — в памятниках деловой письменности. Очень вероятно, что лексическое единство русского языка уже в XVI—XVII вв. было бо́льшим, чем это допускает распространенная идея двуязычного параллелизма или типологической структуры русского литературного языка.

В литературном языке XVII в., действительно, наблюдается закрепленность слов или отдельных значений многозначных слов за определенным типом контекста, т. е. употребление зависит от общего словесно-семантического и стилистического фона контекста. В литературно-художественных текстах предпочитаются слова с обобщенно-абстрактным значением.

Из слов конкретно-бытовой сферы избираются лексические единицы с обобщенной семантикой, способные приобретать дополнительное символическое значение. Контекстуальная обусловленность употребления слов определяет своеобразный объем синонимических рядов в этих текстах в отличие от других разновидностей литературно-письменного языка. Вместе с тем расширение социального состава авторов, демократизация содержания литературных произведений, появление новых родов литературы (поэзия, драматургия) привели к тому, что в текстах XVI—XVII вв. появились упоминания о таких конкретных деталях внешнего вида, качествах, свойствах, хозяйственных функциях отдельных предметов, которые редко называются даже в деловых документах, например, *поветь* «укрытие для скота в непогоду» (Аввакум «О сотворении мира»), *полати* «навесная площадка под потолком избы для отдыха и сна» («Служба кабаку», «Повесть о Шемякине суде»), названия иноземных блюд («Сказание о даре шаха Аббаса России») и др. Фиксируются здесь и новые иноязычные заимствования (*квартира* — в списке XVII в. «Повести о купце»), и диалектизмы (*укруга* «род напитка» и *кут* «часть сельской усадьбы» — в «Сказании про храброго Бову каралевича», *зимовье* — в «Житии протопопа Аввакума»), отражается процесс трансформации составных наименований в одно слово (*богадельная изба — богадельня, темная полата — темница*). Такие тексты, как «Великое Зерцало», способствуют вовлечению в письменный обиход из разговорной речи уменьшительных образований с эмоционально-оценочным значением: *домок — домишко — домик* и под.

С другой стороны, благодаря целенаправленному поиску в деловой письменности конца XVI—XVII вв. выявлено большое количество отвлеченных существительных самой разнообразной структуры, неполногласных вариантов и т. п. элементов, сближающих деловую речь с литературно-художественными текстами.

Приведенное сопоставление раскрывает одну, но не единственную возможность характеризовать состояние русского литературного языка того или иного периода с помощью данных лексикологии.

Судаков Г. В. (Вологда)

Лексикология конкретного языка, образующая вместе с лексикографией важнейший участок науки о словарном (лексическом) составе, обладает полной компетенцией при решении принципиальных проблем истории соответствующего литературного языка. Лексический уровень, содержащий комплексы номинативных единиц в самом широком смысле слова (слов и их частей, морфем, фразем, включая предложения, входящие в более сложные образования), наиболее непосредственно отражает жизнь общества в его развитии и существенным образом определяет языковую ситуацию каждого периода. Несмотря на стремление обосновать лексикологию с лингвистической точки зрения, не следует подвергать сомнению, что это вместе с тем и социолингвистическая область.

В своем развитии язык выступает в различных контактовых ситуациях внешнего и внутреннего характера. К внешним факторам относится заимствование лексических единиц из других языков, к внутренним, с одной стороны, конкуренция диалектов и появление интердиалектов, с другой стороны — развитие и дифференциация функциональных стилей и слоев, в особенности в связи с противопоставлениями «разговорность — книжность», «общеупотребительность — профессиональная ограниченность» и влияние социальных групп (сленг — профессиональный язык). В развитии языка сказывается влияние важных исторических событий, авторитет выдающихся личностей и письменных текстов. При этом выражается различное отношение говорящих к действительности, что сказывается на прагматических признаках лексических единиц. В зависимости от указанных факторов представляется возможным периодизация истории языка.

Так, например, в развитии словарного состава чешского языка важна эпоха Карла IV, обогатившая терминологию ряда областей и словарный запас художественной литературы; гуситская эпоха, которая привела к переоценке наименований социальных отношений и благодаря авторитету Яна Гуса возвысила среднечешское наречие до уровня основы литературного языка; эпоха печатника и лексикографа Д. А. Велеславина; эпоха национального возрождения, представленная авторитетом Й. Юнгмана, автора важнейшего словаря чешского языка; в XX в. после первой мировой войны было устранено немецко-австрийское влияние, была создана чешская терминология для множества отраслей; важной вехой стала революция 1945 г. Таким образом, мы приходим к понятию современного словарного состава, центром тяжести которого являются специальные, публицистические, административные и разговорные тексты. Словарный состав произведений художественной литературы всегда бывает специфичным. Кроме общеупотребительного словарного запаса, художественная литература содержит эстетически смещенные и типичные для отдельных авторов лексические единицы.

Филипец Й. (Прага)

Вопрос № 21. **Каковы перспективы исследования лексической семантики славянских языков (современной, исторической, праславянской).**

Лексическая семантика наряду с ономасиологией является главной областью лексикологии и вместе с тем семантического уровня языка. Значение морфемы (семантемы) можно извлекать только из значений слов, например, *-ka* означает производителя действия: *mluv-ka* «говорун»; носителя признака: *citliv-ka* «недотрога»; орудие действия: *koléb-ka* «колыбель»; предмет, похожий на что-либо: *hláv-ka* «кочан»; место: *zastáv-ka* «остановка» и т. п. Значение предложения (высказывания), смысл выступает как целостное качество, являющееся итогом лексических и грамматических значений всех лексических единиц (словоформ), использованных в предложении. Лексическая семантика современного языка служит базой исторической лексической семантики.

Релевантными признаками лексической семантики являются:

1) Связь с грамматикой (морфологией и синтаксисом). Лексическая семантика специфическим способом охватывает все части речи, следовательно, и неполнозначные, хотя у некоторых из них она носит лишь характер функции (например, соединительные союзы, указательные частицы). Морфологические различия, в особенности число у существительных, лицо у глаголов, характеризуют и объективизируют разные значения многозначных лексем и в то же время выражают конструктивные и сочетаемостные различия.

2) Важной задачей лексической семантики является дифференциация значений многозначных лексем (гиперлексем). Лексические значения обладают характером инвариантов, иногда бывают вариантом соответствующих основных синонимов (*osel* «животное» и *osel* «дурак»). Каждое соединение лексемы, содержащее полный или частичный набор ее словоформ [например, *jít* 1. «идти» во всех лицах в противоположность 11. *jde to* «это возможно» только в 3-м лице и безличному 12. *jde o* (*to*) «дело в том»] с соответствующим значением, образует основную лексическую единицу (лексию).

3) Каждая однозначная лексическая единица-тип, выступая на эмпирическом уровне в специфических словосочетаниях своими видами (аллолексами), обладает определенной дистрибуцией. В связи с этим следует анализировать ее контекстуальную, лексическую и семантическую соче-

таемость наряду с указанной синтаксической сочетаемостью (валентностью). Лексическая единица в своем значении отражает определенный класс фактов,— речь идет об отношении денотации, референции, экстенсии. Эти отношения, однако, предполагают интенсиональное ограничение объема значения прежде всего с точки зрения родственных слов (частная система). Если нам нужно что-либо обозначить словами *pahorek* «пригорок», *vrch* «холм», *kopec* «горка», *hora* «гора», у нас для этого должны быть определенные критерии. Лексическая семантика вследствие этого не может ограничиться выявлением денотации, она обязана определять значение лексической единицы в связи с ее манифестациями (тем, что будет общим для репертуара их употребления в контекстуальных сочетаниях), в парадигматических связях; у многозначных лексем, помимо этого, следует учитывать взаимоотношение отдельных значений. Значение, установленное на пересечении всех этих отношений, обладает характером языковой значимости и обозначается нами термином «семема».

4) При внутриязыковом сопоставлении лексических единиц, входящих в частные системы, лексические единицы анализируются как иерархически организованные комбинации компонентов, сем, на базе чего реализуются различные семантические отношения: антонимии, синонимии, полисемии, переноса значения, омонимии, отношения словообразования, гипонимии, гиперонимии, когипонимии. При описании этих отношений семантика сотрудничает с ономасиологией (семантическое движение от формы к значению и ономасиологическое — от значения к форме — соответствуют позиции слушателя и говорящего).

5) Те же принципы применимы при систематизации частных систем в словарном составе и их последующих отношениях, что и является целью лингвистического описания словарного состава и лексической семантики.

6) Таким образом, лексическая семантика — это весьма расчлененная область лексикографии, содержащая следующие разделы: общие проблемы — теория и методы изучения лексического значения; установление значения и семантических компонентов; анализ сферы семантического использования лексем; вместе с ономасиологией: семантическая деривация, лексико-семантические отношения, лексико-семантические частные системы.

Филипец Й. (Прага)

Вопрос № 22. **Каковы возможности расширения типологических критериев при изучении славянской лексической семантики?**

Традиционная типология часто понималась слишком узко и была нацелена на морфологию, которая хотя и служит для различения установленных типов, но не составляет сущности языка. Исследования в области лексикологии и лексической семантики, однако, выдвигают и другие критерии как универсального, так и специфического для отдельных языков характера. Универсальными являются, с одной стороны, семантические явления и отношения типа синонимии, антонимии, полисемии, омонимии, гиперонимии, гипонимии и когипонимии, с другой — понятийные компоненты значения, относящиеся к реалиям и явлениям, общим для всех людей (природные явления, пространство, время, родственные отношения), и ограниченным, обусловленным уровнем понятийной дифференциации (например, в русском языке нет понятия «sourozenec». На фоне указанных явлений и компонентов и в связи с ними в качестве релевантных выступают и другие характерные явления и признаки. Ни один язык не олицетворяет один единственный чистый тип, например, в чешском языке доминирует флективный тип синтетического характера, но в нем увеличивается и число аналитических черт, представлены в нем и агглютинативные, изолирующие, полисинте-

тические и интрофлексивные элементы. Следовательно, в языках мы имеем дело с определенной количественной пропорцией явлений, которая служит базой для определения типологической доминанты того или иного языка и его типологической характеристики.

Наиболее общей точкой зрения на типологическую дифференциацию, связанную с лексической семантикой, может служить лексическое или грамматическое решение выразительных потребностей. Например, видовые различия могут выражаться посредством морфем (славянские языки), посредством слов, описания (германские, романские языки) или только посредством контекста. Другим удобным универсальным средством установления типологических различий является языковое наименование. В его пределах по-разному выступают автосемантические и синсемантические элементы; так, например, в венгерском языке славянским предлогам соответствуют эквиваленты в окончаниях имен и послелогах, в немецком языке в некоторой позиции прилагательные понимаются как наречия. Автосемантические единицы характеризуются по преимуществу противопоставлением назывных единиц, мотивированных в словообразовательном плане, т. е. описательных, единицам немотивированным, знаковым. У мотивированных назывных единиц проявляются тенденции к универбизации и плюривербизации, причем при универбизации речь идет о производных образованиях и сложных словах. Например, в чешском языке проявляется тенденция к образованию производных слов, в немецком — сложных, во французском — словосочетаний: *železnice* — *Eisenbahn* — *chemin de fer* «железная дорога». Разумеется, встречаются и противоположные случаи; например, в терминологии часто проявляется как тенденция к универбизации, так и тенденция к дифференциации, т. е. к плюривербизации. Так что определяющим выступает именно пропорция этих явлений как целого.

Что касается значений слов и их иерархии, то в языках выступают оппозиции абстрактных и конкретных слов, слов господствующих и слов подчиненных, сопровождающихся различиями в частоте употребления, оппозиция значений понятийных и прагматических. Далее, намечаются следующие тенденции: автономность слов, наибольшая у существительных и особенно терминов, полисемия и омонимия лексем и их контекстуальная обусловленность, степень использования просодических средств, в особенности ударения и интонации, постоянных или вольных (например, во вьетнамском языке большая часть слогов произносится шестью различными тонами). Когда будут составлены довольно подробные словари частных систем (идеографические), будет возможно сравнивать частные семантические системы, поля и т. п. в отдельных языках и устанавливать отличия в их организованности и в глубине их иерархических отношений.

Языковая типология включает несколько областей: общую типологию, типологическую характерологию отдельных языков и контрастивную типологию, сопоставляющую вначале два языка: типологически близкие (чешский и словацкий), родственные (чешский и русский), родственные в культурном отношении, но типологически различные (чешский и немецкий) и типологически удаленные (чешский и вьетнамский). Предпосылкой развития языковой типологии в области лексикографии как раз и является межъязыковая конфронтация и единый метаязык.

Филипец Й. (Прага)

Вопрос № 23. **Какова, по вашему мнению, специфика отношений различных уровней славянских языков (фонетического, словообразовательно-морфологического, лексико-семантического) в типологическом плане: изоморфизм, автономность?**

Между языковыми уровнями не существует отношений только изоморфизма или только автономности. Изоморфизм проявляется лишь в известной степени, так как единицы всех уровней (фонема, морфема грамматическая и словообразовательная, лексема, фразема, предложение, текст) характеризуются формой и функцией, выступают как тип и употребление (эмические и этические единицы), расчленимы на компоненты, образуют иерархические группы, оппозиции, корреляции и классы (частные подсистемы, поля). Представлены здесь также различия количественные (ограниченное число фонем — огромное количество лексем) и качественные: фонемы в отличие от единиц остальных уровней не обладают значением в широком смысле этого слова, элементарные единицы образуют более высокие единицы; в данном случае, следовательно, выступает отношение включения, хотя и здесь имеются переходные случаи. Фонемы образуют морфемы, последние реализуются в рамках лексем, однако, в отличие от них не образуют частей речи, слова создают словосочетания, формы слов образуют фраземы, предложения и тексты. Лексемы и фраземы обладают функцией наименования, фраземы имеют связанные значения и внутренний синтаксис, фразы и тексты обладают коммуникативной функцией. Лексемы своими значениями находятся в непосредственном отношении к действительности (к денотатам) и передают это отношение остальным единицам.

Отдельные уровни образуют специфические частные подсистемы языковой системы различной иерархической сложности, эти частные подсистемы, однако, друг с другом соединены сложными отношениями разных аспектов соответствующих единиц. Например, слова выступают в фонетическом виде, иногда в графическом и, как правило, охватываются комплексными категориями частей речи, изменяемые слова охватываются морфологическими категориями, а в качестве употреблений на эмпирическом уровне — вступают в состав предложений и целого текста.

Лингвистическое описание отдельных языковых уровней содержит анализ и синтез, однако для обычного говорящего все уровни составляют некий комплекс, иерархически организованное единство языка. Следовательно, можно определить отношение языковых уровней в духе диалектики как относительный гетероморфизм и интегрированную автономию.

Филипец Й. (Прага)

Вопрос № 24. **Сколь активны и насколько характерны встречные процессы грамматикализации словообразовательно-лексических явлений и лексикализации грамматических в праславянском, в письменной истории и современных состояниях славянских языков?**

В современном чешском языке, как и в других славянских языках, активны процессы грамматикализации (лексические явления становятся грамматическими) и противоположные процессы лексикализации. Первый из них более активен. Эти явления свойственны всей истории языка.

А. Из процессов грамматикализации наиболее характерны:

1. Переход в области частей речи

1.1. Значимые слова переходят в служебные, в частности, существительные переходят во вторичные предлоги: сущ. *zřetel* «точка зрения» — *se zřetelem k něčemu*, *na něco* «с точки зрения чего-либо»; аналогично

vzhledem k něčemu, *vinou něčeho*; глаголы переходят во вторичные предлоги: *dbát — nedbaje*, *nedbajíc něčeho*, *na něco* «не обращая внимания на что-либо», аналогично у глаголов *hledět*, *počítat*, *zahrnout* и др. (Ср. примеры: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha, 1978).

1.2. Омонимия частей речи между полнозначными и служебными словами: *běda* «горе» существительное и наречие (междометие); *potřeba* «нужда» существительное и *potřeba*, *potřebí* предикатив.

1.3. Переход в рамках служебных слов: *okolo* «около» наречие и предлог; *co* «что» местоимение — местоименное наречие — союз — частица (междометие); *ale* «но» союз — частица (междометие); *potom* «затем» наречие — союз — частица.

2. Десемантизация, весьма заметная в кругу многозначных глаголов, вторичные значения которых являются функциями глагольного управления.

2.1. *být* I. «быть» — глагол с полным лексическим значением «существовать в пространстве, во времени», II.— связка в сочетании с именем в сказуемом, обычно обозначающим состояние, III.— так называемый вспомогательный глагол; *mít* I. «иметь» — глагол с полным лексическим значением «обладать, пользоваться», II.— модальный глагол, III.— означает существование с точки зрения заинтересованности подлежащего, IV.— формальный глагол, V.— связка, служащая для выражения состояния.

2.2. *na* предлог с вин. и предл. падежами, означающий движение на поверхности, 8. управление у глаголов и имен, означающих работу органов чувств, ощущения, волю, мышление и т. п.; *s*, *se* предлог с твор., род. и вин. падежами, 6. управление.

3. Морфологическая дифференциация различных значений многозначных лексем приводит к появлению однозначных лексических единиц:

3.1. Различия числа у существительных: *šach* 1. и *šachy* pl. tantum «шахматная игра», 2. только šachy pl. tantum «совокупность фигур», 3. только ед. ч. «угроза королю в этой игре»; *seno* 1. «высушенная трава», 2. *sena* pl. tantum «сенокос»; *ruka* («рука») 1.—3. ед. и мн. ч., 4., 5. только ед. ч.

3.2. различия форм: *loket* 1. «локоть» мн. ч., имен. и вин. падежи *lokty*, 2. мн. ч., имен. и вин. падежи *lokte*; *karta* 1. «карта» (род. п. мн. ч. *karet*), 2. (род. п. мн. ч. *kart*);

3.3. число различает названия веществ: *voda* 1. только ед. ч., 2. и мн. ч. «поток, резервуар»; *pivo* 1. только ед. ч. «напиток» 2. и мн. ч. «обычная мера этого напитка: *koupit dvě piva* «две кружки», *vypít dvě piva*; аналогично *víno*; *uhlí* 1, 2. только ед. ч., 3. и мн. ч. «виды угля».

3.4. Углаголов дифференциацию значения выражают: а) лицо: *jít* «идти»: от 1. до 4. значения представлены все формы лица, от 5. до 11. значения только форма 3-го лица, 12. безличное; аналогично у *vést* «вести»; б) вид: *stačit* «хватать, доставать» только в 1., 2. и 4. значении двувидовой глагол, в 3. только несовершенного вида: *svést* в 9. и 10. значении также несовершенного вида; в) возвратность: *potkat* 1. и *potkat se*, 2. *potkat*; *hrát* в 7. и 8. значении *hrát si*; г) залог: *unést* в 5. значении *být unesen*; *vyznamenat* 2. *být vyznamenán*; *zaměstnat* 2. *být zaměstnán*.

4. Слова переходят в морфемы, в особенности существительные в предлоги, а последние — в приставки. У приставок весьма распространилась полисемия, ср. чешские *do-*, *na-*, *po-*, *pro-* и др. Это явление характеризует язык во всей его истории.

Б. Лексикализация также выходит за пределы синхронии. Укажем на следующие факты:

1. Словосочетания с внутренним синтаксисом переходят в слова (сложные и производные); здесь происходит универбизация: *budižkničemu*, *utřinos*, *práceschopný*, *to je takovej hejpočkej*; собственное имя *Skočdopole* и др., *fotografický aparát* → *fotoaparát* и далее → *foťák*; *tramvaj číslo 2* → *dvojka*; *zaměstnanec dopravního podniku* → *dopravák*; *Karlovo náměstí* → разг. *Karlák*; *počet onemocnění* → *nemocnost*.

2. Форма слова дает слово:

2.1. Форма существительного дает наречие: существительное *celek* «целое» дает наречие *celkem*; аналогично *honem*, *právem*, *rázem*.

2.2. Глагольные формы становятся самостоятельными словами, часто со специфической полисемией.

2.2.1. Отглагольные существительные: *hnutí к hnouti se* 1. «движение», 2. «организация» *dělnické hnutí*, 3. «волнение» (*citové hnutí*); аналогично *jednání* 1. — 4. в противоположность *jednat* 1. — 5., *mazání*, *objetí* I (к *obejmout*), II (к *objet*), *uznáni* и т. д.

2.2.2. Отглагольные прилагательные из причастий прошедшего времени: *oblečený — obléci* (*se*), *oblíbený — oblíbit si*, *obrácený* 1., 2.— *obrátit* 1.—3., *podařený — podařit se*, *zaražený — zarazit* (*se*); *ušlapnutý — ušlápnout*; *omrzelý — omrzet* (*se*), *uznalý — uznat*, *vystouplý — vystoupno - ut* и т. п.

2.3. Сравнительная степень прилагательных и наречий становится самостоятельной лексемой: *horší* «худший» к *zlý* «плохой; *menší* «меньший» к *malý* «малый»; *starší* «старший» к *starý* «старый»; *méně*, разг. *míň* «меньше» к *málo* «мало».

Филипец Й. (Прага)

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1983

ГРИГОРЯН А. Г.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ И СЕМАНТИКИ

Современный этап развития лингвистики характеризуется последовательно проводимым системным подходом, который не только применяется внутри каждого языкового уровня, но и распространяется на межуровневые отношения. Ср. употребление таких понятий, как парадигма и синтагма, дифференциальный и интегральный признак, вариант и инвариант, позиция, оппозиция, нейтрализация, изоморфизм, деривация, функция и т. д. Единственной областью, где возможность системного изучения все еще продолжает (хотя и все реже) вызывать сомнения, остается лексика. Некоторые авторы считают, что применительно к лексике «трудно говорить о системе (по крайней мере в том смысле, как говорят о других системах в языке)» [1, с. 4], в связи с тем, что слово является «синтетической единицей речи», а не единицей языка, и когда говорят о лексике как о системе, «имеют обычно в виду отражение в лексике закономерных отношений других систем, в частности — семантической» [2]. Действительно, лексическая система сплошь и рядом отождествляется с семантической и под семантикой понимается только лексическая семантика. С возникновением и бурным развитием в последние годы таких дисциплин, как семантика синтаксиса, морфологическая и словообразовательная семантика, стало яснее осознаваться, что языковая семантика шире семантики лексической. В свою очередь, и лексические проблемы не сводятся к семантическим проблемам. Н. И. Толстой, разграничивая в словарном составе план выражения — лексикологию и план содержания — семасиологию (по аналогии с морфологией и синтаксисом, где наблюдаются оба плана), отмечает: «В последнее время развитие лексикологии дает все больше основания говорить о „чистой" лексикологии — лексикологии, обращенной исключительно к лексемной стороне словаря. Ср. возникновение частотных словарей, обратных словарей и т. п.» [3]. Понимание слова как единицы плана выражения не так неестественно, как может показаться на первый взгляд. Оно подтверждается употреблением, ср.: *Слово не воробей: вылетит — не поймаешь*; *За словом в карман не полезет*; *Пасеное словцо за щекой* [4].

Не брани меня, мой друг,
Гнев твой выразится худо,
Он мне только нежит слух,
Я слова ловить лишь буду,
Как они польются вдруг,
Так посыпятся, что чудо,—
Точно падает жемчуг
На серебряное блюдо!

(А. К. Толстой. Не брани меня, мой друг...)

Как видим, о слове можно говорить безотносительно к его значению и даже в противовес ему, как в последнем примере.

Принимая требование четкого разграничения лексики и семантики, трудно в то же время согласиться с другим положением Н. И. Толстого. Считая семасиологию планом содержания лексикологии (точнее было бы употребить здесь термины «семантика» и «лексика»), он тем самым исключает из семасиологии план содержания морфологии и синтаксиса. Между тем естественным и общепринятым является рассмотрение всего плана содержания языка в рамках единой дисциплины — семасиологии, которая

затем уже подразделяется на семасиологию лексическую и грамматическую. Грамматические значения ничуть не менее «семантичны», чем лексические.

Требуемое разграничение лексики и семантики можно было бы примирить с установившимся в русской лексикологии понятием лексико-семантической системы, понимая под последней семантическую систему, соотносимую с лексическим составом языка (в противоположность грамматической семантике). Именно о семантической системе будет идти речь ниже.

Но, как уже было сказано, большинство лингвистов признает системный характер самой лексики, отмечая лишь существенные отличия лексической системы от фонологической и грамматической систем и специфические трудности ее описания. Как бы то ни было, сколько-нибудь полное системное описание словарного состава языка во многом еще остается декларацией, что признают даже убежденные сторонники такого описания (см., например, [5, с. 242]). Относительно хорошо изучены отдельные лексико-семантические группы (лексические «микрополя», «микросистемы») — прежде всего термины родства, цветообозначения, некоторые группы конкретной лексики; значительно хуже, несмотря на немалое количество работ, обстоит дело с обозначениями, касающимися социальных отношений и внутренней жизни человека. Эти различия в степени изученности обусловлены прежде всего неоднородностью самого объекта исследования: одни группы лексики организованы более «системно», чем другие, одни сложнее по своему составу, чем другие, и т. д.

У лингвистов до сих пор нет единства в понимании самого термина «система», особенно в применении к лексике, хотя идея системности лексики имплицитно присутствовала уже в работах А. Потебни, М. Покровского, Л. Щербы, а определение лексико-семантической системы языка в общих чертах было дано В. В. Виноградовым еще в 1953 г. (в работе [6]; см. об этом [5, с. 241]). В 50—60-е годы в лингвистике преобладало суженное и одностороннее понимание системы только как суммы оппозиций, возникшее в результате неверной интерпретации некоторых положений теории Соссюра (см. об этом [7]). Но наряду с ним существовало и теперь получает все большее распространение значительно более широкое (и потому нередко менее строгое) понимание.

В большом многообразии противоречащих друг другу или недостаточно определенных трактовок понятия системы в языке можно выделить некоторые общие черты, характерные для большинства теорий. Это прежде всего использование понятия связи (отношения) между элементами системы с дальнейшим уточнением типов связей и требование исходить из системы при определении ее элементов, а не наоборот. Рассмотрим последнее требование в применении к лексике. Производность слова от целого, в которое оно входит, известна с давних времен (с ней связан нередкий отказ от слова как лингвистической единицы) [1, с. 4]. О ней писали Ф. Соссюр, Э. Сепир, Е. Курилович, В. В. Виноградов и др. [8, с. 146; 9; 10; 11, с. 10—16]. Следует, однако, заметить, что, как ни часто выдвигается требование идти «от целого к части», еще чаще оно нарушается в конкретных исследованиях: морфемы «строятся» из фонем, слова — из морфем, предложения — из слов и т. д. Пожалуй, словосочетание является единственным случаем, где такое направление оправданно [1]. Укоренившийся в языкознании «обратный порядок», конечно, не просто ошибка, он имеет под собой глубокие основания, о чем говорит уже то, что такой же «перевернутый» взгляд отмечается и в других, более широких сферах (ср. проблемы взаимоотношения языка и мышления — производность мысли от слова, внутренней речи от внешней; взаимоотношения языка и действительности и др.).

Системный подход при своем возникновении отталкивался от более раннего так называемого атомарного подхода, видящего в слове лишь единство означаемого и означающего. «Единство обозначаемого и обо-

---

Ср., впрочем, противоположное мнение [12, 13].

значающего подчеркивается значительно чаще, чем неизбежность включения знака в более сложные системы. А между тем это первое свойство представляется лишь проявлением второго» ([14]; ср. также [8, с. 146]). Порой, однако, системный подход абсолютизируется и первое свойство фактически игнорируется из соображений «строгой системности». Отсюда естественным образом следует вывод, что «в языке имеются только различия *без положительных членов системы*» [8, с. 152]. Правда, сам Соссюр оговаривается, что это утверждение «верно лишь в отношении означаемого и означающего, взятых в отдельности; как только мы начинаем рассматривать знак в целом, мы оказываемся перед чем-то в своем роде положительным» [8, с. 153], но многие его последователи этого не делают.

Из неразличения атомарного и системного подходов проистекают споры о том, «представляет ли собой лексическое значение некую субстанцию или некое отношение» [2] [5, с. 236]. По-видимому, значение слова определяется как его семантическим окружением, так и взаимоотношениями с планом выражения, и, следовательно, системное изучение значений должно сочетаться с «субстанциальным» изучением, а не противопоставляться ему.

«Субстанциальный» характер значения усугубляется его взаимоотношениями с внеязыковой действительностью, изучение которых также должно дополнять системное исследование семантики. В самом деле, языковое «членение» внеязыковой действительности хотя и связано тесным образом с внутриязыковыми системными отношениями, но не сводится исключительно к ним. Тот факт, что разные языки по-разному «членят» мир, еще не говорит о полной произвольности такого членения и независимости его от реальных отношений. Выделение Соссюром в плане содержания значений и значимостей отражает эту двойную — внеязыковую и системную — обусловленность семантики.

Таким образом, значения слов (вообще план содержания языка) определяются связями троякого рода: 1) связи с внеязыковой действительностью (референтная отнесенность), 2) связи с планом выражения (формальная мотивированность, внутренняя форма), 3) связи с другими значениями (собственно системные связи). Как видим, системному исследованию значений при таком понимании принадлежит довольно скромное место в общей семасиологии.

Ограниченность системного подхода становится особенно очевидной, когда речь заходит о соотношении синхронии и диахронии в языке. Очень часто, явно или неявно, систему понимают в чисто синхроническом плане, т. е. предполагают некую единовременность составляющих ее элементов и их соотношений [3]. Вместе с тем очевидно, что эта единовременность не может быть сведена к одной точке на временной оси — она всегда имеет большую или меньшую длительность. «Строгий принцип единого среза, одномоментности в синхронии никогда не выдерживался да и не мог быть выдержан, чем объясняется вынужденная необходимость условно принимать за синхронное состояние отрезок времени некоторой протяженности, с чем неизбежно связано упрощение действительности» [16, с. 3]. Ввиду этого перспективность и самая возможность чисто синхронического исследования неоднократно ставились под сомнение в лингвистической литературе. Справедливо указывалось, что в каждом временно́м срезе имеются элементы, правильное осмысление которых неизбежно выводит за пределы этого среза. «Любое полное „синхроническое“ описание языка не может обойтись без понятий архаизма и инновации. Вытеснение старой формы новой формой — это не моментальное событие, а процесс, протекающий во времени и пространстве. Рассматриваемый с исторической точки зрения языковой материал, сколь бы он ни был ограничен в пространстве и времени, состоит из разных хронологических слоев» [17]. Близкие идеи настойчиво проводит в своих работах О. Н. Трубачев (см. [16, 18, 19]).

Все сказанное можно отнести и к системному подходу, подтверждая

[2] Обзор различных точек зрения по этому вопросу см. в [15].

[3] Ср., например: «Язык есть система, все части которой могут и должны рассматриваться в их синхронической взаимообусловленности» [8, с. 120].

тем самым его относительный и ограниченный характер. В каждом языковом состоянии обнаруживается не одна система, а несколько сосуществующих систем, в том числе обломки старых и зачатки новых (именно борьба между ними является определяющим фактором языкового развития). Ср., например, системы современного русского склонения и спряжения — наличие в них нескольких разновидностей и многочисленных отклонений и исключений, которые, как правило, являются реликтами древних систем. Еще большее разнообразие представлено в лексико-семантической системе. Приведем лишь один пример. Для современных носителей русского языка слово *перед* и производные ассоциируются в темпоральном плане прежде всего с будущим временем (ср. *впредь*, *впереди* «в будущем»; соответственно *позади* — «в прошлом»). Но наряду с этим продолжают существовать и сохраняют свою актуальность более древние представления, связывающие *перед* с прошедшим временем (ср. *прежде*, *предок*, *перед чем* «до чего»). Соответственно *задний* значило «будущий, последующий, последний, поздний», ср. выражение *Задним умом крепок* (т. е. думает после того как сделает), др.-русск. *задьница* «наследство» и т. п. Вспомним известное место из Слова о полку Игореве: «преднюю славу сами похытимь, а заднюю ся сами подѣлим»,— где *преднюю* переводится как «прошлую, прежнюю», а *заднюю* — как «будущую». В «Материалах...» И. И. Срезневского у прилагательного *задьнии* выделяются именно эти два противоположных значения — «будущий» и «прежний» (т. I, стлб. 910; заметим, однако, что *заднюю славу* из приведенной цитаты Срезневский толкует как «прежнюю»). Ясно, что здесь мы имеем дело не просто с двумя разными значениями одного и того же слова, но с двумя разными точками зрения, представляющими две разные семантические системы (ср. [20]). То, что эти системы взаимодействуют друг с другом и что это взаимодействие может также носить системный характер, видимо, не подлежит сомнению. Но делать из бесспорного тезиса о том, что «в языке все взаимосвязано», вывод, будто существует некая всеобъемлющая система языка, охватывающая как его современное состояние, так и историю,— значит придавать термину «система» настолько широкое и трудноопределимое значение, что вряд ли им можно успешно оперировать.

Важное значение в связи с рассматриваемыми вопросами имеют проблемы семантической реконструкции, поскольку «углубленное понимание современного значения слова есть тем самым его реконструкция. Какие-то стороны значения слова активны, какие-то, наоборот, пассивны, латентны, приглушены, но они есть и могут проявляться при употреблении слова» [16, с. 3—4]. Плодотворная идея о своеобразной этимологической памяти слова высказывалась и раньше [4]. Она перекликается с высказанными еще в 20-х годах мыслями М. М. Бахтина о существовании памяти жанра и с его же поздними теоретическими записями. Ср.: «В любой момент развития диалога существуют огромные, неограниченные массы забытых смыслов, но в определенные моменты дальнейшего развития диалога, по ходу его они снова вспомнятся и оживут в обновленном (в новом контексте) виде. Нет ничего абсолютно мертвого: у каждого смысла будет свой праздник возрождения» [23, с. 373]. Эти скрытые стороны значения выделяются и исследователями современного состояния языка. Их называют по-разному: несущественными, ассоциативными (Д. Н. Шмелев), коннотативными (В. Н. Телия), потенциальными (В. Г. Гак) признаками в противоположность существенным — дифференциальным и интегральным — признакам (см. [24, с. 8; 25]). В. И. Абаев называет их идеосемантикой в отличие от технической семантики, определяющей современное коммуникативное использование слова.

Семантическая реконструкция именно потому и возможна, что эти

---

[4] См , кроме упоминавшихся работ О. Н. Трубачева, статью В. И. Абаева [21] Еще в прошлом веке Потебня писал о «памяти внутренней формы» [22]. Ср. у В. В. Виноградова: «Вне зависимости от его данного употребления слово присутствует в сознании со всеми своими значениями, со скрытыми и возможными, готовыми по первому поводу всплыть на поверхность» [11, с. 17].

скрытые стороны значения существуют и могут проявлятся в современном употреблении. В то же время специфика семантических категорий, их большая сложность по сравнению с формальными элементами, практически необозримое количество, включенность в экстралингвистическую «субстанцию» (Бенвенист) и т. д. являются причиной того, что реконструкция значений отстает от реконструкции форм. О специфических трудностях семантической реконструкции писали А. Мейе, Э. Бенвенист, Н. И. Толстой, О. Н. Трубачев и другие. Одна из принципиальных трудностей состоит в том, что результатом семантической реконструкции оказываются абстрактные единицы. «При сопоставлении слов различных языков приходится рассматривать, что в них есть общего, и потому устранять смысловые оттенки, развившиеся в каждом отдельном языке: после этого остается одна абстракция, которая дает средство для оправдания сопоставления, но не для установления первоначального значения слова» [26; ср. еще 27—29]. Между тем наблюдения над засвидетельствованной историей всех языков показывают, что основное направление семантического развития слов — от конкретности к абстрактности (хотя возможно, разумеется, и обратное направление — ср., например, историю русских слов *жажда*, *прилепиться*, *вещь*, *орудие*; возможно и перекрещивание обоих направлений, как в истории слова *верста* [5]). «Все заставляет думать,— писал А. А. Потебня,— что и в языке, как и вообще, за исходную точку мысли следует признавать чувственные восприятия и их комплексы, стало быть, нечто весьма конкретное сравнительно с отвлеченностью общего качества» [31, с. 34]. Ошибочное мнение об абстрактности значения «первобытного слова» Потебня объяснял смешением понятий значения слова и заключенного в нем представления и заменой первого вторым [31].

И. А. Бодуэн де Куртенэ указывал на два направления «при развитии и изменении значения корней: 1) от неопределенности к определенности содержания, 2) от конкретности к абстрактности» [32]. Следует иметь в виду, что первое из этих направлений не является обратным второму, а представляет процесс специализации, «расчленения» первоначально синкретичных значений. Это подтверждается другим высказыванием Бодуэна де Куртенэ: «В качестве примера относящихся сюда (к семасиологии.— *Г. А.*) проблем могу назвать постоянно повторяющийся процесс все большего осмысления значения слов, процесс перехода от конкретности к абстрактности» [33]. Таким образом, синкретичность (нерасчлененность, диффузность) значений не только не тождественна их абстрактности, но и в некотором смысле противоположна ей. Синкретичность сближает с конкретностью то, что оба эти свойства часто относятся к ранним этапам семантической истории слов. Но было бы неверно говорить о синкретизме (как и о конкретности) только по отношению к древним значениям, вопреки распространенному мнению. Оно объясняется тем, что синкретизм — понятие относительное, и о нем можно говорить лишь с некоторой внешней (обычно поздней) точки зрения. Так, можно усматривать неразличение значений «мыть» и «стирать» в англ. *to wash*, нем. *waschen* с точки зрения русского языка, где этим значениям соответствуют отдельные слова. Е. Курилович подчеркивает, что английский и немецкий глаголы однозначны [34]. Впрочем, в более строгом смысле о синкретизме следовало бы говорить только при сопоставлении разновременных фактов одного и того же языка и только в тех случаях, когда само развитие языка привело к различению прежде не различавшихся значений.

Таким образом, современные значения ничуть не менее синкретичны, чем древние значения [6], а последние ничуть не менее «расчлененны», чем первые. Разница лишь в том, что мы можем смотреть на древние слова с более поздней точки зрения. Абсолютной синкретичности или абсолютной «расчлененности» нет, так же как «нет ни первого, ни последнего слова» [23, с. 373] [7].

---

[5] Примеры заимствованы из книги Д. Н. Шмелева [30, с. 107—111].

[6] См. об этом [19, с. 168].

[7] Ср. замечание Потебни о том, что в языке первобытного человека, как и у ребенка, «начало ряда слов не было словом» [31, с. 23].

Реконструкция предполагает существование процесса, в некотором смысле обратного ей, идущего в противоположном направлении,— процесса деривации (с тем очевидным отличием, что реконструкция — исследовательская процедура, а деривация — реальный языковой процесс). В последние годы широкое распространение получил термин «семантическая деривация», который, однако, употребляется неоднозначно. Определение понятия семантической деривации тесно связано с трактовкой тезиса о единстве формы и содержания в языке[8]. В самом широком, общеязыковом (точнее, семиотическом) плане взаимозависимость между формой и содержанием представляется абсолютной: всякому, даже малейшему изменению формы соответствует параллельное изменение содержания. С этой точки зрения различаются своим лексическим значением, т. е. являются разными словами, не только члены словоизменительных парадигм (например, падежные формы — *верста*, *версты*, *версте*... [31, с. 15]), но и фонетические варианты слов. «...В языковой системе и звуки речи значимы, осмыслены»,— писал В. В. Виноградов, ссылаясь на Гумбольдта [11, с. 16]. Это особенно характерно для поэтического языка. Точно так же малейшее изменение в семантике слова, даже если оно не влияет на его фонетический облик, отражается на сочетаемости и на других формальных характеристиках слова.

В применении к лексике единство формы и содержания обычно понимается в более «слабом» смысле. В общем случае признается существование параллелизма (симметрии) между этими двумя планами, но допускается и возможность различных отклонений. Здесь можно указать следующие варианты:

1) изменяется и форма, и содержание. Сюда относятся обычное (регулярное) словообразование, деэтимологизация, т. е. параллельная утрата формальной и семантической членимости, и т. д.;

2) изменяется форма при неизменном содержании. Ср. словоизменение и различные фонетические процессы, не затрагивающие семантики слова;

3) изменяется содержание при неизменной форме. Ср. различного рода переносы значений, в результате которых возникает полисемия.

Интересующий нас термин «семантическая деривация» употребляется в следующих значениях: а) любое изменение содержания безотносительно к изменению формы; б) семантический процесс (отношение), параллельный процессу (отношению) формальной деривации[9] — 1-й случай из приведенных выше; в) изменение содержания при неизменности формы[10] — 3-й случай.

Несколько особняком стоит понятие лексической (коррелят — синтаксическая) деривации, представленное в работах Е. Куриловича и его последователей [39—41], которые подразумевают под ней изменение лексического значения при неизменности первичной синтаксической функции (т. е. принадлежности к той или иной части речи), например, *дом — домик*. Как видим, и здесь значимым оказывается соотношение формы и содержания, но они понимаются в грамматическом, «частеречном» плане.

Для решения задач исторической и современной семасиологии наиболее перспективным представляется широкое понимание семантической деривации (см. пункт «а»), именно в силу его широты и общности. Другие точки зрения можно рассматривать как частные случаи этой первой точки зрения, которая близка к ономасиологической.

С рассматриваемым кругом языковых явлений (форма, содержание, деривация и т. д.) непосредственно связаны понятие внутренней формы и проблема производности (мотивированности) языкового знака. Основоположники учения о внутренней форме (Гумбольдт, Штейнталь, Потебня) сосредоточивали свои усилия на разработке двух основных вопросов:

---

[8] О возможности диаметрально противоположных выводов из этого положения см. [30, с. 81 и сл.].

[9] Такое понимание характерно, например, для этимологии. Ср. также [30, с. 225—228; 35].

[10] См., например, [36—38; 24, с. 175 и сл.].

1) о происхождении и онтологической сущности слова (и языка в целом), 2) о различии человеческих языков, обусловленном их внутренней формой (ср. название труда Гумбольдта). И вплоть до настоящего времени во внутренней форме видят прежде всего фактор, обусловливающий различия языков. Между тем едва ли не более важное значение имеют «объединительные» функции внутренней формы, позволяющие выявлять и описывать общность формальной и семантической структуры слов и выражений сначала в одном и том же, а затем и в разных языках (ср. [42]). Так, очевидным образом увязываются друг с другом внутренние формы следующих выражений: *пришло* (*взбрело*, *стукнуло*, *ударило*) *в голову* — *втемяшилось* — *брать в голову* — *держать в голове* (*в уме*, *в памяти*) — *выкинуть из головы* — *вбивать* (*вколачивать*) *в голову* — *втолковывать* и т. д. Ср. другой ряд: *выйти из себя* — *быть вне себя* — *быть не в себе* — *быть не в своем уме* (*рассудке*) — *исступление* — *изумление* — *быть не в духе* — *душа не на месте у кого* — *не все дома у кого* — *прийти в себя* и т. п. Язык пронизан густой сетью связей такого рода (они обнаруживаются не только в лексике и фразеологии, но и в грамматике — см. [43]), и важной задачей является вскрытие этих связей и восстановление на их основе некоей целостной картины мира, которая, по-видимому, существует и не так противоречива, как может показаться на первый взгляд. А. А. Потебня одним из первых наряду с теоретическим осмыслением этих связей дал их практическую разработку на обширнейшем славянском материале. Сходная работа, но на материале классических языков и не с таким размахом проделана М. М. Покровским. Но то, что сделано, составляет лишь небольшую часть того, что еще предстоит сделать.

Некоторые авторы считают учение о внутренней форме разновидностью этимологического исследования [44, 45], так называемой «ближней этимологией» [46]. Но если учесть, что 1) этимология в первую очередь занимается словами с затемненной внутренней формой, лишь эпизодически обращаясь к более «прозрачным» образованиям типа *постылый*, *приличный*, *завидовать*, *позор*, *омерзение* (хотя семантическая история последних требует иногда довольно подробных комментариев), и что 2) учение о внутренней форме традиционно занимается такими общими вопросами, как соотношение формы и содержания, языка и мышления и т. д.,— то окажется, что и по объекту изучения, и по проблематике учение о внутренней форме шире этимологии. Суженный взгляд на учение о внутренней форме основан на мнении, что не все слова имеют внутреннюю форму. Однако, говоря так, подразумевают только «прозрачную» внутреннюю форму, отражающую живые словообразовательные связи. С исторической же точки зрения все слова при своем возникновении имеют внутреннюю форму, которая «составляет непременную стихию в о з н и к а ю щ е г о слова» [31, с. 19]. Исключение можно было бы сделать лишь для «первых» слов, если бы они существовали.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Топоров В. Н.* О правомерности сравнительной лексикологии.— В кн.: Тез. докл. на VII пленарном заседании комиссии, посвященном проблемам сравнительно-исторической лексикологии. Июнь 1961 г. М., 1961.
2. *Топоров В. Н.* К вопросу о возможности построения структурной лексикологии.— В кн.: Тез. докл. межвузовской конференции по применению структурных и статистических методов исследования словарного состава языка. 21—25 ноября 1961 г. М., 1961, с. 34.
3. *Толстой Н. И.* Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии.— В кн.: Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1968, с. 399.
4. Пословицы русского народа. Сборник В. И. Даля. М., 1957, с. 417, 411.
5. *Уфимцева А. А.* Лексикология.— В кн.: Теоретические проблемы советского языкознания. М., 1968.
6. *Виноградов В. В.* О некоторых вопросах русской исторической лексикологии.— ИАН ОЛЯ, 1953, № 3.
7. *Маковский М. М.* Теория лексической аттракции. М., 1971, с. 11.
8. *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1977.
9. *Сепир Э.* Язык. М.— Л., 1934, с. 86.

10. *Курилович Е.* Лингвистика и теория знака.— В кн.: *Курилович Е.* Очерки по лингвистике, М., 1962, с. 15, 18.
11. *Виноградов В. В.* Русский язык. М., 1972.
12. *Кацнельсон С. Д.* Краткий очерк языкознания. Л., 1941, с. 34.
13. *Копыленко М. М., Попова З. Д.* Очерки по общей фразеологии. Воронеж, 1978, с. 8.
14. *Лотман Ю. М.* О проблеме значений во вторичных моделирующих системах.— В кн.: Труды по знаковым системам. Вып. 2. Тарту, 1965, с. 22.
15. *Апресян Ю. Д.* Современные методы изучения значений и некоторые проблемы структурной лингвистики.— В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1963. М., 1963.
16. *Трубачев О. Н.* Реконструкция слов и их значений.— ВЯ, 1980, № 3.
17. *Курилович Е.* О методах внутренней реконструкции.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. IV. М., 1965, с. 401.
18. *Трубачев О. Н.* Лексикография и этимология.— В кн.: Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. М., 1973.
19. *Трубачев О. Н.* Этимологические исследования и лексическая семантика.— В кн.: Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.
20. *Лотман Ю. М.* Звонячи в прадѣднюю славу.— В кн.: Труды по русской и славянской филологии. Вып. 28. Тарту, 1977, с. 98—100.
21. *Абаев В. И.* Понятие идеосемантики.— В кн.: Язык и мышление. М.— Л., 1948, с. 19, 28.
22. *Потебня А. А.* Мысль и язык. Одесса, 1922, с. 168—169.
23. *Бахтин М. М.* К методологии гуманитарных наук.— В кн.: *Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества. М., 1979.
24. *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
25. *Телия В. Н.* Типы языковых значений. Связанное значение слова. М., 1981, с. 65—66.
26. *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.— Л., 1938, с. 385.
27. *Петерсон М. Н.* О составлении этимологического словаря русского языка.— ВЯ, 1952, № 5, с. 73.
28. *Откупщиков Ю. В.* Из истории индоевропейского словообразования. Л., 1976, с. 207.
29. *Толстой Н. И.* О реконструкции праславянской фразеологии.— В кн.: Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. М., 1973, с. 272—273.
30. *Шмелев Д. Н.* Современный русский язык. Лексика. М., 1977.
31. *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. I—II. М., 1958.
32. *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Подробная программа лекций в 1876 — 1877 учебном году.— *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Избранные труды по общему языкознанию. Т. I. М., 1963, с. 100.
33. *Бодуэн де Куртенэ И. А.* О задачах языкознания.— *Бодуэн де Куртенэ И. А* Избранные труды по общему языкознанию. Т. I. М., 1963, с. 214.
34. *Курилович Е.* Заметки о значении слова.— В кн.: *Курилович Е.* Очерки по лингвистике. М., 1962, с. 240—241.
35. *Шелихова Н. Т.* Семантическая деривация в восточнославянских языках.— В кн.: Проблемы истории и диалектологии славянских языков.— М., 1971, с. 319—325
36. *Щерба Л. В.* Восточнолужицкое наречие. Пг., 1916, с. 80.
37. *Кацнельсон С. Д.* Содержание слова, значение и обозначение. М.— Л., 1965, с. 59—61, 108.
38. *Мельников Г. П.* Скрытая смысловая деривация с позиции системной лингвистики. В кн.: Словообразовательные и семантико-синтаксические процессы в языке. Пермь, 1977.
39. *Курилович Е.* Деривация лексическая и деривация синтаксическая.— В кн *Курилович Е.* Очерки по лингвистике. М., 1962, с. 61—63.
40. *Гинзбург Е. Л.* Словообразование и синтаксис. М., 1979, с. 33—74.
41. *Кубрякова Е. С.* Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1981, с. 145—158.
42. *Бенвенист Э.* Природа языкового знака.— В кн.: *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974, с. 92.
43. *Серебренников Б. А.* К проблеме типов лексической и грамматической абстракции. В кн.: Вопросы грамматического строя. М., 1955, с. 64.
44. *Будагов Р. А.* Введение в науку о языке. М., 1958, с. 66—67.
45. *Варина В. Г.* Лексическая семантика и внутренняя форма языковых единиц.— В кн.: Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.
46. *Шанский Н. М.* Принципы построения русского этимологического словаря словообразовательно-исторического характера.— ВЯ, 1959, № 5, с. 37.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1983

ДЕСНИЦКАЯ А. В.

К ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА ПАМЯТНИКОВ ОБЫЧНОГО ПРАВА

Изучение языка ранних правовых памятников представляет интерес со многих точек зрения. Сам по себе материал юридических формул и терминологических систем дает возможность в большей или меньшей степени проникнуть в глубь времен и тем самым создает возможности для реконструкции в области лексической семантики, а также для реконструкции типовых текстов, использовавшихся в юридических процедурах, которые в ранних общественных формациях совершались по неписаным нормам обычного права. Кроме того, лингвистическое изучение ранних правовых памятников, которые создавались путем кодификации законов и норм, передававшихся до этого в народе из уст в уста, от поколения к поколению, представляет интерес также и в плане истории развития литературно-языковых форм. Любой из памятников древнего и средневекового права — от Судебника Хаммураби и Законов Хеттского царства до французских Кутюмов и Саксонского Зерцала — может служить образцом усилий известного или безвестного кодификатора, вложенных им не только в дело систематизации правовых норм, содержавшихся в народном обычае, но и в обработку языкового материала. На начальных этапах этой работы в каждом конкретном случае перед кодификатором должны были возникать задачи интерпретации формул обычного права, существовавших до этого в устном употреблении, а также задача расчлененного и эксплицитного изложения правовых традиций в виде последовательного ряда параграфов. Для ранних периодов развития литературных языков создание письменных памятников правового характера, непосредственно фиксировавших обычаи и законы, согласно которым регулировались ход повседневной жизни и отношения членов общества, должно было иметь огромное значение. Как справедливо замечает Р. Гроссе. в дофеодальную и раннефеодальную эпохи «язык права не был изолированным специальным языком, обслуживавшим небольшую группу людей; более того, он составлял весьма важную сферу общественной жизни. Право, объединявшее в своеобразном сплаве законодательство и судебное дело, частное и общественное право, пронизывало все жизненные сферы...» [1, с. 176].

О различных аспектах лингвистического изучения ранних правовых текстов дает представление интересный опыт исследования языка Русской правды [2—6]. В работах С. П. Обнорского, Б. А. Ларина, Л. П. Якубинского, А. М. Селищева этот вопрос был поставлен прежде всего как одна из проблем литературного языка старшего периода, с особым вниманием к лексическим и синтаксическим особенностям текста.

В трудах, посвященных другим памятникам древнего и средневекового права, преимущественное внимание привлекали к себе иные аспекты их изучения— критическая история текстов, определение диалектных особенностей их языка и пр. Особую область исследований составляют работы, посвященные исторической семантике отдельных правовых терминов [1].

Имеющийся опыт исследования позволяет выделить некоторые общие признаки, характеризующие прежде всего синтаксическое построение

Из более новых работ назову здесь [7]. Специальный интерес имеет изучение индоевропейских правовых древностей, к которым в конечном счете восходят некоторые установления, формулы и термины, сохранившиеся в обычном праве отдельных народов — носителей индоевропейской речи [см. 8, 9].

ранних правовых текстов, рассматриваемых как особый литературный жанр. Определяющими для этого жанра параметрами являются следующие:

1) Преимущественное употребление сложных предложений с выраженным условием. Как заметил в свое время Л. П. Якубинский, условная синтаксическая конструкция является важнейшим, основным структурным элементом изложения законов и договоров: «... „Русская Правда" со стороны изложения вся состоит из последовательной цепи условных синтаксических конструкций. Такая особенность синтаксического строя законов и договоров вытекает из самого их содержания» [5, с. 295]. И далее: «Условная синтаксическая конструкция, более или менее осложненная и распространенная, является классической формой выражения статьи закона или основного элемента этой статьи [5, с. 295—296]. Различие средств передачи значения условности, а также различия в степени упорядоченности сложного синтаксического целого, выражающего смысловую связь с той или иной конкретной правовой ситуацией, могут служить первым параметром для типологического сравнения синтаксических признаков литературно-языковых традиций, связанных с созданием ранних правовых памятников.

2) Вторым и очень важным параметром является количество и характер включения в текст лаконичных формул обычного права, их соотношение со сложными синтаксическими построениями, эксплицирующими содержание конкретных юридических ситуаций.

Лаконичность таких формул, сохранивших в себе «крупицы из устного обычного права», была сопряжена, как указывал Б. А. Ларин, с недомолвками, причем для современников «не составляло никакого труда восполнить подразумевающееся, недоговоренное, так как этому помогала сама обстановка... То, что говорят сами вещи, обстановка, ситуация, всегда в какой-то мере предполагается в нормах обычного права. Отсюда сложность, многозначность словосочетаний, несущих целый комплекс значений...» [4, с. 72].

По признаку наличия в текстах большего или меньшего количества таких формул, противостоящих развернутым синтаксическим конструкциям с отчетливо выраженным значением условности, можно судить не только о степени архаичности отдельных правовых традиций, но и о наличии определенного отношения преемственности между языком письменных кодексов и устным койне, обслуживавшими область социально-правовых отношений дофеодального и раннефеодального периодов.

3) Третьим моментом, подлежащим учету при изучении языка раннеправовых текстов, является бо́льшая или меньшая степень наличия в нем конструкций, свойственных обычной в то время разговорной речи. С. П. Обнорский заметил, что существенной чертой языка Русской Правды является «известная безыскусственность структуры, т. е. близость к разговорной стихии речи, понятная для языка, начинающего свое собственно литературное развитие» [2, с. 142].

Признак простоты и народности синтаксических конструкций может быть обнаружен в тех частях текстов, которые не отмечены релевантными архаизмами (формулы) и релевантными инновациями (сложные синтаксические построения с выраженным условием). По моим наблюдениям, это преимущественно относится к статьям нормативно-предписывающего характера.

Изучение языка ранних правовых памятников целесообразно начинать с анализа каждого текста как определенным образом организованной системы, в его единстве и целостности. Если изучаемый кодекс представляет собой результат соединения, напластования или переработки нескольких текстов, особенно при наличии хронологических различий между ними, это может дать интересный материал для внутреннего сравнения и реконструкции.

При исследовании лексических систем и в особенности семантики формул, представленных в ранних правовых текстах, естественно, должно учитываться социально-историческое содержание запечатленных в них народно-правовых традиций, а также, по возможности, генезис этих

традиций. Отложившееся в правовой терминологии и в формулах наследие более древних эпох общественного развития подлежит рассмотрению как с точки зрения сохранения в лексико-семантической системе языка определенных архаических элементов, так и с точки зрения возможности переосмысления и актуализации их применительно к идеологии последующих периодов.

В число условий, принимаемых во внимание при лингвистическом изучении правовых текстов, входит определение исторической эпохи и социально-культурной среды создания этих памятников. Важность этого положения вполне очевидна и не требует дополнительной аргументации. Личность известного или анонимного (иногда легендарного) кодификатора, внесшего свой индивидуальный авторский вклад в дело обработки народно-правовых традиций и создания на их основе определенным образом скомпонованного письменного текста заслуживает специального внимания. Разумеется, средства выражения значения условности и типы построения сложных предложений, равно как и готовые формулы обычного права, задолго до этого должны были существовать в языке. И тем не менее факт создания с их помощью целого комплекса расчлененных формулировок, в которых дискретно и эксплицитно излагалось многообразие жизненных ситуаций правового характера, несомненно, являлось индивидуальным творческим достижением кодификатора.

В большинстве случаев личность кодификатора остается неизвестной, но это не должно снимать вопроса об авторах, индивидуальные творческие усилия которых имели историческое значение, не только с точки зрения истории права, но также с точки зрения истории литературы и истории литературного языка. Не случайно поэтому немецкими филологами особое внимание уделяется изучению текста Саксонского Зерцала (Sachsenspiegel).

Оригинальным и исключительно интересным объектом для всестороннего изучения является Кануп Леки Дукаджина — кодекс обычного права северноалбанских горцев. В настоящей статье будут рассмотрены вопросы, связанные с построением текста Кануна, соотношением его основных стилистических компонентов и синтаксических особенностей (лексика Кануна должна быть предметом специального исследования). Изучаемый памятник был создан в начале нынешнего столетия. Однако по своему социально-правовому содержанию он во многом архаичнее, чем правовые памятники, создававшиеся в условиях феодальных государств средневековой Европы. Основу Кануна Леки Дукаджина составляют нормы обычного права, сложившиеся в недрах патриархально-родового общества и длительно сохранявшиеся в горных районах Северной Албании. Отметим, что отдельные элементы феодального права являются позднейшими напластованиями, создавшими ряд противоречий в обычном праве патриархальной общины.

Вряд ли можно найти другой обычно-правовой текст, условия для изучения которого были бы столь благоприятны. Хорошо известны и документированы общественная среда и социально-культурные условия возникновения кодекса обычного права северноалбанских горцев. Известен кодификатор — автор письменного текста. Доступны изучению его литературное окружение, а также языковой материал, на основе которого создавался текст. Все это дает возможность проверки правильности сформулированных выше признаков языка памятников обычного права и открывает путь для всестороннего исследования этого характерного образца кодифицированной народно-правовой традиции.

В отношении места, занимаемого языком Кануна в истории албанского литературного языка, следует отметить его непосредственную связь с гегской, точнее северногегской (шкодранской) литературно-языковой традицией. В настоящее время, как известно, в функции общенациональной языковой нормы принят вариант литературного языка, развившегося на основе южноалбанской (тоскской) традиции. Однако нельзя упускать из виду, что северноалбанский (гегский) вариант лите

ратурного языка играл большую роль в процессе развития и обогащения общеалбанской литературно-языковой нормы.

Примечательным можно считать уже следующий факт: комплекс норм албанского обычного права был письменно зафиксирован только в начале XX в. Однако в то время он еще продолжал отражать сохранявшуюся у северноалбанских горцев патриархально-родовую организацию жизни. Правовые нормы, с давних пор известные в народе под традиционным названием «Канун Леки Дукаджина» (по имени легендарного законодателя), были еще актуально действующей системой. Записавший их сельский священник-францисканец Штьефен Гьечов не только собрал огромный материал, но и придал ему форму монументального кодекса, включающего более тысячи параграфов.

Опубликованный в ряде изданий текст Кануна исследуется в настоящее время учеными различных стран с точки зрения его историко-правового содержания и его соотношения с менявшейся социальной действительностью. В историко-литературном и лингвистическом аспектах он еще только становится предметом исследования.

Кодификатор Кануна Леки Дукаджина Штьефен Гьечов был одним из ярких представителей культурного движения в Албании конца XIX — начала XX в., известного под названием «Национального возрождения» (Rilindje kombetare). В работе над текстом Кануна получила определенное выражение его общественно-культурная позиция.

Принадлежа к ордену францисканских монахов, пользовавшихся в прошлом значительным влиянием среди католического населения Северной Албании, Гьечов был одним из инициаторов развернувшейся в этом кругу краеведческой деятельности. В числе первых он начал собирать этнографические материалы, записывать фольклор, коллекционировать предметы старины. Эта деятельность развивалась под знаком возрождения национально-самобытной культуры албанского народа, боровшегося за освобождение от турецкого владычества и его влияния в различных областях духовной жизни. Специальной темой разысканий Гьечова стала действовавшая в то время для населения горных районов севера система норм обычного права, пронизывавшая собой весь жизненный уклад горцев, которые лишь номинально подчинялись турецкой администрации и в основном продолжали жить по законам и обычаям, унаследованным от предков. Многолетний труд Гьечова, тщательно собиравшего и записывавшего бытовавшие в устной традиции народно-правовые нормы, нельзя, однако, рассматривать как обычную для нас деятельность ученого-этнографа, подходящего к своему объекту извне и стремящегося прежде всего зафиксировать интересующие его с научной точки зрения факты. Установки и цели работы Гьечова были в основе своей существенно иными. Они прежде всего определялись историческими условиями жизни албанского общества конца XIX — начала XX столетий и самим характером движения «Национального возрождения», которое объединяло представителей различных социальных групп и культурных кругов, ставивших перед собой неодинаковые идеологические задачи.

С одной стороны, работа Гьечова развивалась в общем русле идей албанского «Национального возрождения», одним из направлений которого была забота о сохранении для будущего сокровищ народной культуры — богатого фольклора, многообразия этнографических традиций, памятников национальной старины. Однако в то же время для Гьечова, как и для ряда других культурных деятелей из круга шкодранских францисканцев, отношение к народным традициям северноалбанской патриархально-родовой среды имело свои особые основания идеологического порядка. Нельзя не учитывать, что Гьечов — и по своему происхождению, и по его деятельности сельского священника в горных районах, был неразрывно связан с этой патриархально-родовой средой, жил ее интересами и был в значительной мере сам пропитан ее идеологией. К нормам обычного права, регулировавшим образ жизни и поведение членов родовых коллективов, он относился поэтому не как внешний наблюдатель, но как человек, занимавший в этой среде определенное место, выполнявший

определенные функции. Традиции обычного права он ощущал изнутри, как бы и сам принадлежа к числу «людей Кануна» (nierzit e Kanús).

Его внутреннее убеждение в непреходящей ценности народно-правовых традиций патриархально-родовой среды северноалбанских горцев совпадало в то же время с консервативными установками католического духовенства, для которого культурная политика в отношении будущего Албании определялась ярко выраженной тенденцией к идеализации отсталых форм общественного уклада. С этой точки зрения собранному и кодифицированному Гьечовым комплексу норм обычного права придавалось особое значение в качестве возможной основы для выработки общенациональной системы правовых норм. Именно это значение труда Гьечова счел нужным подчеркнуть известный поэт Гьергь Фишта, идеолог албанского католического духовенства, развернувшего особенно активную деятельность в период 20—30-х годов XX в. В предисловии к вышедшему посмертно первому изданию труда Шт. Гьечова Г. Фишта писал: «Откуда, как не из законов обычного права, государственные законодатели могут лучше и яснее всего узнать дух, характер и истинные нужды народа...» ([10]; текстовой материал приводится мною по этому изданию).

Таким образом, издание Кануна Леки Дукаджина имело, помимо научного значения, также и определенный идеологический аспект. И в настоящее время исследования Кануна, проводимые албанскими и югославскими учеными, оказываются непосредственно связанными с практическими задачами преодоления пережитков прошлого, в особенности явлений, связанных с обычаем кровной мести, а также других отрицательных сторон патриархально-родового уклада.

Шт. Гьечов выполнил огромный труд кодификации бытовавших в устной традиции правовых норм, представив их в виде монументального корпуса. Поэтому находящийся в распоряжении исследователя текст Кануна Леки Дукаджина, состоящий из 1039 параграфов, вряд ли можно рассматривать как простую запись, зеркально отразившую совокупность существовавших в народном употреблении правовых норм и обычаев. Гьечов создал литературное произведение особого жанра, притом —довольно необычного для европейской культуры нового времени.

Полная достоверность материалов, собранных Гьечовым, является одной из определяющих особенностей произведения, созданного человеком, посвященным во все тонкости правовой системы, которая веками вырабатывалась в недрах патриархально-родового строя. Именно то, что Гьечов создал свой кодекс не как простой наблюдатель, но сам находясь как бы «внутри традиции» и проводя установку на ее упорядочение и утверждение с помощью письменной фиксации, гарантирует подлинность всех его материалов и их выдающееся значение для сравнительно-типологического изучения исторических систем обычного права, Но в то же время нельзя не учитывать влияния на создание текста Кануна идеологических установок и индивидуально-творческих особенностей Шт. Гьечова, что могло отразиться, в частности, на отборе и распределении материала.

Из сказанного следует, что путь к изучению языка обычного права северноалбанских горцев, отраженного в тексте Кануна Леки Дукаджина, может пролегать только через определение языковых и стилистических установок Шт. Гьечова, который кодифицировал правовые нормы, бытовавшие до этого только в устной традиции.

Начиная свою деятельность в конце XIX в., Гьечов не мог опереться в отношении прозаического стиля на предшествующую письменную традицию, т. к. в литературной жизни города Шкодры — главного культурного центра Северной Албании, работа над созданием прозаических литературных жанров находилась в зачаточном состоянии. Малоудачный опыт переводов религиозных сочинений с итальянского языка на городской диалект Шкодры (их начало относится к середине XIX в.) не создал прочной основы для литературно-языкового развития. Наиболее видные представители северноалбанского литературного движения, в числе которых был и Гьечов, в своей работе над языком стали обращаться к дру-

гому источнику литературно-языкового опыта, а именно к северногегскому устному наддиалектному койне, с давних пор использовавшемуся жителями горных районов в общественно-ритуальной и устно-поэтической сферах. На этой основе проходила разработка прозаических стилей литературного языка, выявление индивидуальных особенностей отдельных авторов. Выдающемуся поэту Г. Фише удалось выработать также блестящий прозаический стиль. Стиль Шт. Гьечова отличался тяжеловесностью, особенно там, где он отклонялся от готовых народно-речевых моделей и формул, стараясь построить сложные предложения с помощью синтаксических средств устно-поэтического койне. При этом для него была характерна сознательная установка на закрепление в литературном языке архаичных признаков народной речи.

Рассматривая текст Кануна Леки Дукаджина в целом, можно заметить, что его композиция и его языковая стилистика определяются, помимо общей цели (представить систему народно-правовых норм в ее целостности), также стоявшими перед автором следующими конкретными задачами: а) включить в текст устойчивые правовые формулы, бытовавшие в устной традиции как сгустки народной мудрости, определявшие нормы поведения в типических ситуациях; б) развернуть их юридическую интерпретацию; в) дать описание обрядов, регулировавшихся унаследованными нормами поведения и игравших важную роль в жизни патриархально-родовых коллективов.

Решение этих задач получило отражение в трех речевых стилях, чередование которых составляет основную особенность языка Кануна. Включенные в текст формулы, многие из которых являются, вероятно, очень древними, отличаются лаконичностью и недостаточной смысловой расчлененностью, что делает иногда трудным их понимание. Возможно, что оракульская темнота смысла некоторых из них была элементом присущего им ореола сакральной важности.

Необходимость интерпретации формул, а также изложения правовых норм и процедур в виде параграфов, заставила Гьечова искать специальные синтаксические средства, решать задачу создания первых на албанском языке образцов юридического стиля. Гьечов пытался решить ее путем усложнения синтаксических средств, заложенных в грамматической структуре северногегского диалекта. И, наконец, в описаниях обрядов язык Гьечова отличается большей простотой, в чем заметна ориентация на стиль народного повествования.

Многочисленные речевые формулы обычного права специально выделены в тексте Гьечова с помощью кавычек. Их цитатный характер иногда также дополнительно подчеркнут прямыми указаниями типа «говорит канун» («thotë kanuni»), «положение кануна гласит» («parimi i kanunit asht») и т. д. Развернутая интерпретация таких формул занимает в тексте памятника очень большое место. Проявленное Гьечовым исключительно бережное отношение к этим сгусткам народно-правовой традиции, выраженным в виде отточенных афоризмов, убедительно свидетельствует о подлинности их как архаических текстовых единиц.

Для формул Кануна характерны афористичность, лаконизм. Их синтаксические структуры отличаются простотой и завершенностью. Преобладают двусоставные простые предложения, с существительным в функции подлежащего, с глагольным или именным сказуемым. Каждое из них представляет собой самостоятельную смысловую единицу и может выступать вне речевого контекста. Контекстом для них является оценка ситуации с точки зрения системы норм обычного права. Поэтому толкование таких формул с опорой на прямые значения употребленных в них лексем не всегда является возможным. Несколько примеров относительно более доступных для непосредственного восприятия формул (конечно, при наличии общих представлений о ситуативной сфере обозначенных в них явлений): «Kufîjt e tokës nuk luhen» «Земельные границы не сдвигаются»; «Vija e mullînit lypë udhën e vet» «Мельничная канава требует своей дороги» (т. е. к ней должен быть свободный подход); «Preja mirret me pré» «Захват (т. е. захваченный скот) отбирается захватом»; «Cubi e bakd hân-

si janë nji» «Вор и (его) укрыватель (букв. „дающий хлеб") суть одно»; «Cubi asht me be mbë krah» «Вор пребывает с клятвой на руках» (т. е. обвиненный должен принести клятву, если он невиновен); «Nuse pa shkuesi s'bâhet» «Невеста без сватовства не делается»; «Grueja e vejë flet vetë» «Вдова говорит сама» (т. е. сама договаривается о новом замужестве).

Немногочисленные сложные предложения, используемые в формулах, отличаются краткостью и прозрачностью строения. Из сочинительных образований наиболее характерны сочетания с выраженным противопоставлением. Ср. сочетания без союза: «„Gjaku gjak, gioba giobë", — thotë kanuja» «„Кровь (есть) кровь, штраф (есть) штраф",— говорит канун», сочетания с противительным союзом *por*: «Pûna e çon vin e ujit, por nuk mund t'a ulë» «Труд поднимает (т. е. проводит) линию воды (оросительную канаву), но не может ее опустить (т. е. уничтожить)». Примеры сложноподчиненных предложений: «Kush e ep fishekun, gjakun a bân të ve'n» «Кто дает патрон, убийство (букв. „кровь") делает своим» (т. е. берет на себя ответственность за пролитую кровь); «„N'dekët detyrsi, rrnohet dorëzâni",— thotë kanuni» «„Если умирает должник, живет поручитель",— говорит канун».

Внешняя прозрачность значения такого рода формул, соотносящихся с довольно понятными ситуациями общественного быта, является, однако, кажущейся. Каждая из них, будучи знаком определенной ситуации, получает свое истолкование не из обычных речевых контекстов, складывающихся и меняющихся в потоке речи, но из одного постоянного, и притом весьма сложного контекста — из контекста определенной семиотической системы, в которую она входит в качестве составного элемента. Даже в обществе самих горцев, организованном согласно соответствующим нормам обычного права, истолкование формул, соотносимых с теми или иными общественно-правовыми ситуациями, не было доступным всякому, но требовало специальных знаний, опыта, которыми обладали так называемые «люди Кануна». Каждая из лаконичных формул служила выражением смысла не только определенной юридической нормы в ее применимости к конкретным случаям, но и находилась в системных связях с тематически близкими формулами, участвуя тем самым в образовании семантических рядов. В один из таких комплексов входят, в частности, формулы, относящиеся к общественной организации орошения земель. Поэтому такая формула, как «ujët âsht gjaku i tokës» «вода это кровь земли», является не просто метафорическим украшением речи. Она выражает глубинную сущность отношения горца как члена родовой общины к воде, которая сопоставляется с его отношением к такому важному элементу идеологии родового общества, как понятие «кровь». Семантической паре «вода — кровь» параллельна семантическая пара «дороги — жилы», представленная в формуле «udhët janë dejet e tokës» «дороги это жилы земли». Обе формулы объединяются наличием общего элемента «земля». В целом они образуют два соотносимых семантических пучка: «земля — вода — кровь» и «земля — дороги — жилы». С помощью этих обобщающих формул метафорического характера нашло выражение, притом на уровне поэтической сублимации, отношение патриархальных горцев к общинной собственности на замлю, воду и пути сообщения. В то же время в ряде тематически связанных с ними частных формул эксплицированы конкретные правовые нормы, определявшие в прошлом порядок пользования общинными благами.

Сложность для интерпретации представляют формулы, составным элементом которых является слово *gjak* «кровь». Помимо своего элементарного физиологического значения, это слово имеет в лексической системе общественно-правового и устно-поэтического койне северноалбанских горцев также следующие значения: а) кровь членов патриархальной семьи, т. е. все входящие в нее люди одной крови; б) убийство как потеря патриархальной семьей части ее крови, требовавшая возмещения ответным актом убийства, т. е. изъятием соответствующего количества крови у семьи убившего; в) нахождение в состоянии ответствен-

ности за совершенное убийство и, следовательно, боязнь кровной мести.

На этих взаимосвязанных и не всегда четко расчленяемых понятиях строился целый комплекс правовых норм, отраженный в серии лаконичных формул, представляющих собой знаки ситуаций, которые до сравнительно недавнего времени были еще актуальны для жизни населения горных районов Северной Албании и Косовского автономного края (Югославия). Несколько образцов таких формул: «Gjaku s'bâhet giobë» «Кровь не становится штрафом» (т. е. не возмещается с помощью штрафа); «Grueja s'bjen në gjak» «Женщина не попадает в кровь» (т. е. в состояние ответственности за убийство); «Pushka e çon gjakun te shpija» «Ружье приводит кровь в дом» (т. е. ружье, данное тобой для убийства, делает тебя самого ответственным за него); «Pushka shkon për gisht» «Кровь идет за пальцем» (имеется в виду палец, спустивший курок, т. е. ответственность за убийство ложится непосредственно на лицо, выстрелившее из ружья); «Beja lán gjaqe» «Клятва смывает крови» (улаживание кровной мести); «Kush vret vedin, shkon gkak-hupës» «Кто убивает себя (т. е. своего сына или дочь), считается потерявшим кровь» (т. е. ни перед кем не отвечает за убийство).

Из-за недостаточной эксплицитности выражения значений очень трудны для интерпретации следующие формулы, относящиеся к судопроизводству: «Beja merr gjan e vet» «Клятва берет свое» (это должно означать: через посредство обряда клятвы имущество будет принадлежать законному владельцу); «Plak mbi plak kanuja s'ban» «Старца над старцем канун не ставит», т. е. ранее принятое советом решение не может быть отменено новым решением.

Вообще, чем лаконичнее формулы, тем более обобщенными они являются и тем труднее их истолковать. Знаковый характер формул, выступающих как единицы особой семиотической системы, в принципе предполагает отсутствие установки на эксплицитность выражения. Поэтому недосказанность, нерасчлененность значений, особенно бросающиеся в глаза по сравнению с прозрачностью синтаксической структуры, могут считаться специфическим признаком этих языковых образований.

Предельно лаконичны формулы, образуемые паратаксическим сочетанием двух (или более) неполных предложений и содержащие требование принесения клятвы как элемента судебной процедуры. Например: «A bén, a gjân» «Или клятву, или вещь»; «Bé, e s'ká pertej» «Клятву и больше ничего».

В построении текста Кануна как целого и его отдельных контекстов формулы, используемые автором в качестве цитат и соответственно выделенные кавычками, занимают четко определенные места. Можно установить несколько способов включения их в контексты: 1) формула помещается в заглавии или в подзаголовке определенной статьи Кануна, причем в отдельных параграфах этой статьи перечисляются затем ситуации, обобщенные данной формулой; 2) отдельный параграф начинается с формулы и включает ее интерпретацию; 3) параграф начинается с развернутого изложения правовой нормы и завершается формулой, которая как бы закрепляет сказанное (цитата в таких случаях имеет характер ссылки на традицию).

Помимо формул, представляющих собой законченные предложения, употребляемые как особые знаки общественно-правовых норм и ситуаций, в тексте Кануна широко представлены также формульные словосочетания. Гьечов пользуется ими не как цитатами, но как терминами, и в качестве таковых они оказываются включенными в его авторский текст. В большинстве случаев это атрибутивные словосочетания, образованные с помощью приименного родительного (реже отложительного). Встречаются также постоянные типы глагольно-именных словосочетаний

Формульные словосочетания часто имеют метафорический характер, что соответствует сублимированному стилю общественно-ритуального койне, получившего отражение в тексте Кануна. К сфере семейно-правовых отношений принадлежат следующие формульные словосочетания: *Brézat e gjakut* «поколения крови» (имеется в виду счет поколениям мужской

линии) и в противоположность этому *brézat e gjinis* «поколения родства» (счет поколений по линии матери). В образно-поэтической форме это же противопоставление представлено формульными словосочетаниями: *lisi i gjakut* «древо крови» и *lisi i tamblit* «древо молока». Ср. также парные термины: *nip* (*mesë*) *i trungut* «племянник (племянница) ствола» и *nip* (*mesë*) *bijash* «племянник (племянница) по дочерям».

К сфере значений, связанных с убийством и местью, принадлежат формульные словосочетания: *me dalë në pritë* «выйти в засаду», *me bie në gjak* «попасть в кровь», т. е. «навлечь на себя месть», *me marrë gjak* «взять кровь», т. е. «отомстить», *në valë të gjakut* «в кипении крови», т. е. «в течение 24 часов после убийства». С процедурой примирения враждующих сторон связаны формульные сочетания: *i zoti i gjakut* «хозяин крови», т. е. «глава семьи убитого», *shkues i gjakut* «ходатай крови», т. е. «посредник при ,примирении, приходящий от лица виновного», *buka e gjakut* «хлеб крови», т. е. «трапеза, символизирующая примирение сторон».

Шт. Гьечов включил в раздел своего труда, посвященный обряду принесения клятвы, несколько образцов соответствующих обрядовых текстов, также носящих характер формул. Примечательно, что построение клятвенных формул существенно отличается от построения формул, функционирующих в качестве знаков правовых ситуаций. В то время как клятвенные формулы характеризуются своим лаконизмом и обобщенностью, проявляющейся в известной нерасчлененности выражаемых значений и отношений, определяющим признаком клятвенного текста является установка на эксплицитность выражения, на отсутствие недосказанности. Характерно, что формой тщательно отработанных вековой традицией клятвенных текстов явились относительно четко организованные сложноподчиненные структуры, дававшие возможность с помощью синтаксических средств недвусмысленно передать все важные с точки зрения юридической процедуры отношения плана содержания.

Великолепным образцом может служить лаконичный в своей формальной завершенности текст клятвы головами сыновей. Обвиняемый, нагнув и сблизив головы сыновей, опирается на них руками и произносит следующий текст: «Pasha kryet e djelmvet, nuk t'a kam bâ at rreng, për të cillin më je beditë e as nuk diej se kush t'a ka bâ» («Здесь у меня головы сыновей, я не причинял тебе этого ущерба, в котором ты меня обвиняешь, и не знаю, кто тебе его причинил») (подробнее о клятвенных текстах см. [11]).

В частях текста, содержащих развернутую интерпретацию правовых ситуаций, абсолютно преобладают сложноподчиненные предложения с отчетливо выраженным условием. Эта особенность в полной мере объясняется самим содержанием Кануна, автор которого имел цель представить в кодифицированном виде всю полноту установлений обычного права позднеродового общества северноалбанских горцев. Сложная система правил и обычаев, регулировавших семейно-родовые и имущественные отношения этого общества, система норм поведения и наказаний, связанных с различного рода правонарушениями, включая и законы кровной мести,— все это существовало в памяти «людей Кануна» и передавалось от поколения к поколению в устной форме. И эту заветную мудрость Гьечов отважился перевести из устной формы речи в письменную, для чего в каждой из кодифицируемых статей надо было отразить полноту и точность содержания, связанного в каждом случае со строго определенной правовой ситуацией. Традиционные формулы, закрепленные в памяти и сознании «людей Кануна» за различными типовыми ситуациями, в своей знаковой функции лишь указывали на наличие специально относящихся к этой ситуации правовых норм. От опыта и знаний, которыми обладали наделенные судебными полномочиями старейшины, зависело вынесение конкретных решений, определявшихся системой норм, закрепленной в формулах Кануна. Перед кодификатором же стояла задача перевести эту сумму знаний и опыта в точные формулировки, в которых соотносящиеся между собой моменты ситуации были бы представлены в расчлененном и в то же время во внутренне спаянном с помощью синтаксических средств виде. Каждая формулировка должна была включать в себя как

минимум две необходимые части: а) обозначение ситуации и б) обозначение предписываемой Кануном нормы поведения. Тем самым синтаксическая форма соответствующих формулировок уже заранее оказывалась предопределенной смысловым заданием. Образуемые сложные предложения могли иметь разные степени сложности в зависимости от количества и характера соотношения эксплицируемых моментов ситуации. Но само по себе наличие сложной синтаксической единицы, состоящей минимально из двух компонентов, соотносимых с ситуацией и вытекающим из нее предписанием, является необходимым инвариантом, характеризующим кодификацию как тип построения юридического текста в его наиболее элементарной форме.

Шт. Гьечов владел довольно богатым набором средств выражения условно-подчинительных связей. Однако наиболее часто он пользовался тремя способами построения сложноподчиненного предложения со значением условия в зависимой части: а) условие передается с помощью обособленного оборота — именительный с инфинитивом; б) условное предложение вводится союзом *po* «а, если» и имеет подлежащее в именительном падеже, а глагольное сказуемое в аористе индикатива; в) условное придаточное предложение вводится союзом *në* «если» и имеет глагольное сказуемое в той или иной временной форме конъюнктива. Зависимое предложение обычно предшествует главному. Например: а) *Me vrá i biri t'âmen, bjen në gjak me prindet e s'âmës* «Если сын убьет свою мать (букв. „убить сын свою мать"), попадает в кровь (т. е. в отношения кровной мести) с родителями матери (т. е. родня матери должна отомстить сыну за ее убийство)»; б) *Po më shau, kush, e un e vrava, i a kam gjakun* «Если меня обругал (аорист) кто-нибудь и я его убил (аорист), я ему должен (наст. вр.) кровь»; в) *N'i prekët kush kuej në nderë, peng e plak për nderë të marrun s'ka* «Если (*në*) кто кому затронет честь, залога и суда (букв. „старца", т. е. судьи) за отнятую честь не бывает».

Гьечов часто усложнял построение синтаксических комплексов, соединяя в одном синтаксическом целом несколько зависимых придаточных предложений — с целью связать в один узел указания на различные моменты ситуации, передаваемой одной статьей кодекса. Например: *Porsá t'a vrasë kush thín në dâm, do t'i lshojë zâ të zot't qi të shkojë me e marrë, pse misht i a han aj* «Как только убьет кто-нибудь свинью на потраве, должен подать голос хозяину, чтобы шел ее забрать, потому что ее мясо ест он».

Среди такого рода построений встречаются значительно более усложненные, оставляющие впечатление тяжеловесности, хаотичности, нагромождения придаточных предложений. Подобные случаи наглядно свидетельствуют о тех трудностях в работе над языком Кануна, которые Гьечову не всегда удавалось преодолеть.

В описательно-декретирующих частях текста Кануна (описания ритуальных действий) Гьечов использовал синтаксические средства повествовательного стиля народной прозы.

Это очень своеобразный жанр, для которого характерно не столько описание, сколько предписание последовательности моментов ритуального действия. Содержанием соответствующих контекстов (ритуал приема гостя, похоронный обряд и др.) не является собственно информация о том, какие действия совершаются, но серия четких указаний на действия, которые надлежит совершать, и об их временнóй последовательности. Стилистическое своеобразие состоит в том, что, с одной стороны, текст состоит из ряда элементарных синтаксических единиц — по большей части простых предложений, иногда сложных, но не усложненных, последовательность расположения которых отражает последовательность развертывания во времени описываемого действия. В этом отношении строение текста вполне аналогично строению, характерному для жанра народной прозы. Отбор и расположение синтаксических структур в основном сходны.

Однако от повествовательного стиля народной прозы стиль ритуальных частей Кануна отличается одной существенной особенностью, свя-

занной с декретирующей установкой, которой подчинено их изложение. Каждое из предложений, через последовательность расположения которых передается динамика развертывания действия, имеет своим содержанием определенное установление, предписание, которое надлежит выполнить. Так, в описании ритуала приема гостя все предложения разнесены по отдельным параграфам. И хотя они являются составными элементами цельного контекста, передающего последовательность развертывания действий, каждое из предложений содержит законченную и внутренне замкнутую формулировку, собственно формулу почти сакрального характера. Некоторые из предложений и обозначены как формулы Кануна (с помощью знака цитирования) или дополняются формулами (образцы ритуальных текстов см. в [11, с. 207—212]).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Гроссе Р.* Об изучении языка немецких правовых памятников эпохи позднего Средневековья.— В кн.: Проблемы морфологического строя германских языков. М., 1963.
2. *Обнорский С. П.* «Русская Правда» как памятник русского литературного языка.— В кн.: *Обнорский С. П.* Избранные работы по русскому языку. М., 1960.
3. *Обнорский С. П.* Очерки по истории русского литературного языка старшего периода.— М.— Л., 1946.
4. *Ларин Б. А.* Лекции по истории русского литературного языка (X — середина XVIII в.). М., 1975.
5. *Якубинский Л. П.* История древнерусского языка. М., 1953.
6. *Селищев А. М.* О языке «Русской Правды» в связи с вопросом о древнейшем типе русского литературного языка.— ВЯ, 1957, № 4.
7. *Иванов В. В., Топоров В. Н.* О языке древнего славянского права (к анализу нескольких ключевых терминов) — В кн.: Славянское языкознание, VIII Международный съезд славистов (Загреб — Любляна, сентябрь 1978). Доклады советской делегации. М., 1978.
8. *Benveniste E.* Vocabulaire des institutions indoeuropéennes. T. I—II. Paris, 1969.
9. *Watkins C.* Studies in the Indo-European legal language, institutions and mythology.— In: Indo-European and Indo-Europeans. Philadelphia, 1970.
10. Kanuni i Lekë Dukagjinit. Permbledhë e kodifikue prej A. Shtjefen Konst. Gjeçov. Shkoder, 1933, f. XXVI.
11. *Десницкая А. В.* О синтаксических особенностях кодекса обычного права северноалбанских горцев (Канун Леки Дукаджина).— В кн.: Синтаксические особенности литературных языков на ранних этапах их формирования. Л., 1982, с. 183—186.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1983

АБАЕВ В. И.

СЛОЖНЫЕ СЛОВА — ХРАНИТЕЛИ ДРЕВНЕЙ ЛЕКСИКИ

Бывает так, что то или иное древнее слово выходит из самостоятельного употребления и исчезает из памяти народа, но сохраняется в сложных словах, где его удается распознать путем этимологического анализа.

Так, слав. *čelověkъ* в современном употреблении никем уже не осознается как составное из *čelo* «род, семья» (ср. русск. *челядь*, др.-инд. *kulam* «род, племя») и *věkъ* «дитя» (ср. литов. *vaikas* «дитя»), стало быть, *человек* = «дитя рода». Оба компонента относятся к древнейшему славянскому лексическому фонду, а все сложение ведет нас в далекие глубины родоплеменного строя. Ср. по образованию фракийские личные имена *Mukaporis*, *Mukakakes* = «дитя (*poris*, *kakes*) рода (*muka*)» [см. 1].

Русск. *господь* (праслав. *gospodь*) в современном языковом сознании уже не разлагается на *гос-подь*, где в первой части скрывается слово *гость*, а во второй — и.-е. **poti-* «хозяин», а все вместе означает «хозяин в отношении гостя»; ср. этимологически и по значению лат. *hospes*, *hospitis*.

Нем. *Marschall* восходит к др.-в.-нем. *marah-scalc*, где *marah* — забытое в современном немецком слово со значением «лошадь», а *scalc* = нем. *Schalk*, в современном языке — «плут», в прошлом — «слуга». Стало быть, нынешнее высшее воинское звание в прошлом означало «конюший, конюх».

Английские *lord* и *lady* не производят сейчас впечатления сложных слов. Но они состоят, первое из *hlâf-weard* «хранитель (*weard*) хлеба (*hlâf*)», а второе из *hlâf-dīge* «готовящая (*dīge*) хлеб (*hlâf*)». Эти составляющие элементы вскрываются уже только этимологическим анализом.

Ниже приводятся некоторые подобные слова из осетинского языка.

**as | asæ* «еда»[1]

Распознается в *bas* (**upa-āsa-*) «суп, бульон», *minas* (**maiϑna-āsa-*) «угощение», букв. «еда (*āsa-*) для гостя (*maiϑna-*)» и *margas* (**marka-āsa-*) «съестное, приносимое родственниками и знакомыми покойника на поминки», букв. «еда (*āsa*) по случаю смерти (*marka-*)». Ср. др.-инд. *-āśa-* «еда», *pratar-āśa-* «утренняя еда, завтрак», *sāyam-āśa-* «вечерняя еда, ужин», перс. *āš* «еда, суп».

**az-*, *axs-* «давать приют»

Распознается в дигор. *ast'onæ* (из *az-donæ*) «гнездо», ирон. *axston* (из *axs-don*) id. В дигорском существовал глагол *azun* «давать приют; лелеять», но он мало употребителен. Форма *axs-* — из **aǵ-s-*. Ср. перс. *āšyān* «гнездо» из **āxšadāna-* (как, скажем, *Šahryār* из **xšaϑra-dāra-*). Ср. также авест. *āxšti-*, перс. *āštī* «мир». Во второй части осетинских *ast'onæ*, *axston* — др.-иран. *dāna-*, др.-инд. *dhāna-* «вместилище», обычно во второй части сложных слов; ср. *xordon* «житница», *kærkdon* «курятник» и т. п. Забытое **axs-* «давать приют» скрывается еще в одном древнем слове: *siaxs* «зять». Это слово восстанавливается в **wisi-āxša* «принятый (*āxša-*) в дом (*wisi*, локатив от *wis-*„дом" как „совокупность домочадцев")». Слово является наследием матрилокального брака, когда не невеста принималась в дом жени-

[1] Вертикальная черта отделяет формы иронского диалекта (ирон.) от дигорских (дигор.). Ссылка «ИЭС» означает Историко-этимол. словарь осет. языка [см. 2].

ха, а жених в дом невесты. Стоит отметить, что др.-иран. *wis-* «поселение» (= русск. *весь*, др.-инд. *viś-*, лат. *vicus* и пр.) в осетинском оставило след только в слове *siaxs* «зять».

**æf* «вода»

Распознается в *æxsærʒæn* «водопад» из **æf-særʒæn* (как *æxsærfars* «щека» из **æfsær-fars* «бок челюсти»). **Æf* восходит к индоиранскому *ap-*«вода», ср. др.-инд. *ap-*, авест. *ap-*, перс. *āb* и пр. В осет. вытеснено словом *don* (из **dānu-*). Вторая часть слова *æx-særʒæn* связана с др.-инд. *sarǰ-*, авест. *harz-* «изливать». До-иранское *s* (*sarǰ-*) после *f* (*x*) закономерно дало *š* (**afšarǰana-*), не перейдя в *h*. Стало быть, *æxsærʒæn* (*æf-særʒæn*) = «водоизлияние, водопад». Иран. *ap-* «вода» находим и в осет. *av-g* «стекло» (**āpaka-*) и, может быть, в *æf-surǧ* «первый фильтрат пива».

**ærīn* | *ærīnæ* «локоть (мера длины)»

Распознается в ирон. *ælmærin* (из *ærm-ærīn*) «локоть», дигор. *cængærīnæ* (из *cong-ærīnæ*). *Arm* и *cong* означают «рука». *Ærīn* восходит закономерно к **araϑni-*; ср. др.-инд. *aratni-*, авест. *arəϑna-*, др.-перс. *arašni-*, гот. *aleina* «локоть» и пр.

**ællæg*, см. ниже *x∘ymællæg*

**æwzæ* «пчела»

Распознается в дигор. *æwzæǧod* из **wabza-gauda-* «покрышка (*gauda-*) для пчел (*wabza-*), внутренняя покрышка улья», а также в некоторых других терминах пчеловодства (ИЭС I 208 s. v. *æwz-*). Для второй части (*ǧod*) ср. *aǧūd*|*aǧodæ* «футляр», согд. "γwδ «покрышка» от базы **gud-* «покрывать». Старое название пчелы **æwzæ* (согд. "wz'ak, авест. *vawžaka-*, литов. *vapsà* «оса, пчела») вытеснено в осет. описательным *mydybynʒ* «медовая муха», возможно, по табуистическим мотивам.

[1]**æx* «нога»

Распознается в словах *sag-æx-tæ* «промежуток между ногами», дигор. *ængulʒ-æx-tæ* «танец на носках», *gænʒ-æx-tæ* в выражении *gænʒæxtæ cæǧdyn* «биться конечностями, агонизировать» (*-tæ* — показатель множественности). Элемент *sag* в *sagæxtæ* означало «развилина» (др.-иран. **sāka-*); отсюда *sag* олень» («развилисторогий»). Сюда же *sagoj* «двупалые вилы», *saǵil* «раздвоенный», *saggom* «промежуток между пальцами». В *ængulʒ-æx-tæ* имеем в первой части живое слово *ængulʒ* «палец». В *gænʒ-æx-tæ gænʒ* следует, возможно, относить к скифо-славянским изоглоссам и сблизить со ст.-слав. *коньсь*, русск *конец*. Повторяющийся во всех трех словах элемент *æx* сближается с авест. *haxa-* «часть ноги, стопы». Осет. *æx* встречается и самостоятельно в значении «изгиб стопы». Стало быть, *sag-æx-tæ* означает «развилина ног», *ængulʒ-æx-tæ* — «пальцы ног», *gænʒ-æx-tæ* — «концы ног». В самостоятельном употреблении имеем *k'ax* и, частично, *fad* «нога».

[2]**æx* «крепление»

Распознается в *æx-kænyn* «запирать» («делать крепким»), *æx-tong* «подпруга» («скрепляющий ремень», см. ниже *tong*), *æǧ-næg* (из *æx-næg*) «пуговица, застежка», *æx*, вероятно, из *ærx*. Ср. *ærxæg* «сустав» («место скрепления костей»), *arx* «сук» («место скрепления сука со стволом»), дигор. *ærxu* «плотно закрытый, запертый». В этом случае осет. **æx*, **ærx* сближается с лат. *arceo* «запираю», *arx* «крепость», *arca* «сундук», греч. „αρκος «защита» и пр.

[3]*æx «хороший»

Возводится к иран. *wahu- «хороший» с отпадением начального *w-*, как в *Acyrūxs* жен. имя из *Wacyrūxs*, *Acamongæ* название чудесной чаши в эпосе из *Wacamongæ*, *æv*z- «пчела» из *wæv*z (см. выше). Распознается в *æx-con* | *æx-cæwæn* «приятный», букв. «хорошо (*æx*) идущий (*cæwæn* от *cæwyn* „идти")»; ср. по семантике русск. *идти* в смысле «быть к лицу». В осет. *зæb-æx* «хороший» имеем во второй части то же *æx-*. Что касается *зæb*, то оно идет, возможно, из тюрк. *čap* — слог, усиливающий значение прилагательных. Ср. по образованию арм. *šat- lav* «весьма хороший», где также первая часть заимствованная, а вторая — оригинальная. Наконец, старое **æx* «хороший» можно усмотреть еще в дигор. *æx-cul* «привязанный к кому-л., любящий, радующийся кому-л.», если *cul* сопоставить с *зul-* в дигор. *iзulun* «радоваться» и сакским *tculye* «splendid» [см. 3]. Живым самостоятельным словом в значении «хороший» является *xorz*, в первой части сложных слов *xærz-*.

[4]**æx* «состояние, отношение»

Возводится к иран. *ahu-* «бытие, состояние» от *ah-* «быть», др.-инд. *as-*, и.-е. **es-*. Распознается в осет. *xorzæx* | *xwarzænxæ* «милость» («хорошее отношение»), *fydæx* | *fudænxæ* «немилость» («дурное отношение»). В дигорском перед *x* возникает вторичный носовой согласный: *-ænxæ*. Совершенно такое же явление находим в авест.: *aŋhu-* «бытие» (вм. *ahu-*).

**dīw* | *dew* «божество»

Восходит к индоиранскому **daiwa-*, и.-е. **deiwo-* «божество». Ср. др.-инд. *deva-* «божество», авест. *daeva-* «злой дух» и пр. Распознается в осет. *æv-dīw* | *æv-dew* «злой дух». Поскольку значение «злой дух» для **daiwa-* связано с зороастризмом, а скифо-сарматские племена, как можно судить по античным сведениям об их религии, остались чужды зороастризму, мы вправе ожидать, что в осетинском сохранялось дозороастрийское значение «божество», а элемент *æv-* придавал позитивному **daiwa-* негативное значение. Эти соображения позволяют возвести *æv-* в *æv-dīw* к приставке *apa-*, которая как раз в определенных случаях превращает позитивное в негативное; например, др.-инд. *kāma-* «расположение, любовь» — *apa-kāma-* «отвращение», греч. τιμάω «чтить» — απο-τιμάω «презирать» и т. п. Стало быть, если *dīw* | *dew* в староосетинском означало «(чтимое) божество», то *æv-dīw* | *æv-dew* из **apa-daiwa-* получило, естественно, полярное значение «злой дух» [2].

**dyǧd* «дочь»

Восходит к др.-иран. **duǧdar-*; ср. авест. *duγδar-*, *dugədar-*; др.-инд. *duhitar-*, перс. *duxtar-*, нем. *Tochter* и пр. Вытеснено заимствованным из тюрк. *kyzg* | *kizgæ*. Распознается только в осет. ирон. *xo-dyǧd* «золовка». Первая часть *xo* в современном осетинском означает «сестра». Но из сочетания «сестра-дочь» трудно вывести значение «золовка». Да и вообще такое сочетание лишено какого бы то ни было разумного смысла. Иное дело, если допустить, что *xodyǧd* получилось из **xosdyǧd* с выпадением *s*. *Xos* закономерно возводится к **hwasru-* «свекровь»; ср. др.-инд. *śvaśru-*, перс. *xusru* «свекровь». Если так, то *xodyǧd* (из **xosdyǧd*) будет означать «дочь свекрови», а это и есть «золовка».

**dyz-* | *duz-* «дурной»

В значении «дурной» в первой части сложных слов в современном осетинском языке употребляется *fyd-* | *fud-*, восходящий к **puta-* «гнилой»: *fyd-bon* «дурной день», *fyd-fyn* «дурной сон» и т. п. Но в древнеиранском

[2] Данное толкование, предложенное Дюмезилем, мы считаем теперь более предпочтительным, чем возведение *ævdīw* к **avd-dīw* «семь богов» (ИЭС I 199—200).

в этой функции употреблялась приставка *duž-*, имеющая соответствия и в других индоевропейских языках: авест. *duž-aŋhu-* «ад» («дурное существование»)= осет. *fud-ænxæ* «немилость», авест. *duž-manah-*, перс. *dušman*, греч δυσμενής «враждебный, враг» и др.

Но в двух старых композитах и осетинский удержал иран. *duž-*: *dyzǧ∘yn | duz-ǧun* «потрепанный» из **duž-gauna-* «дурной шерсти» (для второй части ср. осет. *q∘yn | ǧun* «шерсть», авест. *gaona-* «масть») и из тех же компонентов, но в обратном порядке *q∘yn-t'yz | ǧun-t'uz* «хмурый, взъерошенный» (*t'* вм. *d* — экспрессивное). Инверсия, при которой *duž-* оказывается во второй части композита, в древнеиранском не отмечена.

**fatyk* «птица»

Распознается в *zær-vatykk | zær-batukkæ* «ласточка» из **zara-paϑuka-*. Ср. для второй части и.-е. базу * *pet-* «летать» (Pokorny 825—826). В первой части, возможно, иранская база **zar-* «петь», осет. *zaryn*. Обычное слово для птицы в осетинском — *marǧ*.

**kæn* «конопля»

В живом языке в самостоятельном употреблении бытует более поздняя форма с озвончением начального согласного: *gæn* «конопля». Старая форма **kæn* законсервировалась в слове *kættag* «полотно» из **kæn-tag*. Ср. другие слова с *-tag* во второй части: *zældag* «шелк» из **zæl-tag*, *xujændag* «дратва» из *xujæn* («швейная») *tag* («нитка»). Слово *tag* в значении «нить» употребляется и самостоятельно. В ряде языков древнее название конопли **kana-* осложнено добавочным элементом с губным согласным: греч. κάννα'βις, лат. *cannabis*, русск. *конопля*, нем. *Hanf* и др. Осет. **kæn* говорит в пользу того, что в скифском бытовала простая форма **kana-* (отсюда марийск. *keńe*). Сван. *kän* и абх. *a-k∘nə* идут из аланского.

[1]**kær* «рука»

Распознается в *kælmærzæn* «платок» из *kær-mærzæn* «утиральник (*mærzæn* от *mærzyn* „утирать") для рук (*kær*)». *r* → *l* закономерно по диссимиляции плавных. Ср. др.-инд. *kara-*«рука» от базы *kar-* «делать». Параллельно употребительны в осет. *k'ūx-mærzæn*, *k'ūxtæ-mærzæn* «платок-утиральник» (*k'ūx*, *k'ūxtæ* «рука, руки»). По дифференциации значений *kælmærzæn* в современном языке применяется к головному платку. В самостоятельном употреблении имеем *k'ūx*, *arm* «рука».

[2]**kær* «ячмень»

Древнеиранское *yava-* «ячмень» закрепилось в осет. за просом (*jæw*). Ячмень стал называться описательно *qæbær xor* «твердый злак». Но в прошлом для ячменя было в употреблении слово *kær*. Оно распознается в *kærvæz* «вид ячменя» из **kær-fæz*, где *fæz* сближается с др.-инд. *paj-ra-* «твердый», греч. πήγνυμι «делать твердым, уплотнять», πήχυς «крепкий» (ср. выше «твердый злак»). От *kærvæz* образовано в свою очередь *kærvæzæg* «глазной ячмень». **Kær* «ячмень» присутствует также в осет. *kær-zyn* «хлеб ячменный или кукурузный» (в отличие от пшеничного *zūl*). Поскольку кукуруза появилась на Кавказе сравнительно недавно, речь шла первоначально о ячменном хлебе, и *kærzyn* означало просто «ячменный» (*-zyn* — образующий прилагательные формант). Слово *kær* идет, видимо, из кавказского субстрата; ср. груз. *keri*, арм. *gari*, абх. *a-k'ar* «ячмень».

**mīn* «гость»(?)

Распознается в *mīn-as* «угощение», собственно «еда (*as*) для гостя (*mīn*), Gastmahl», см. выше **as* (заметим, что и русск. *угощение* образовано от *гость*). *Mīn* возводится закономерно к *maiϑna-* от **mait-* «пребывать

в гостях», с другим формантом перс. *mihman* «гость» из *maiθman-* и пр. (ИЭС II 119—120).— В значении «гость» в современном языке употребляется слово *wazæg*. Оно означает собственно «путник» (от базы *waz-* «ехать»).

**minæ* «полномочие, авторитет»

Распознается в *mīnæ-var* «посол, посланник; лицо, облеченное полномочиями для ведения переговоров между двумя сторонами, например, на войне, при примирении кровников, при сватовстве и пр.». Возводится к **mainya -bāra-* «носитель (*bāra-*) полномочий (*mainya-*)». Ср. для первой части др.-инд. *māna-* «уважение, почет», которым пользуется человек среди сограждан, *mānya-* «чтимый». Сложение в целом находим в согд. **mīnāvar-* (*myn'βr*) «полномочный, облеченный властью, авторитетом», др.-перс. (в эламской передаче) *Manyaparra* собств. имя. Вторая часть *-var* (и. -е. база **bher-*, русск. *беру*, лат. *fero* и пр.) налична и в осет. *læ-var* «подарок» из **fra-bāra-*, ср. греч. προφερω «подносить», лат. *pro-fero* «выносить». По образованию и по второй части осет. *mīnævar* сопоставимо, например, с лат. *signifer* «знаменосец, предводитель» и т. п.

**næw* «девять»

В современном осетинском «девять» — *farast*, что буквально значит «за (*far* из *para*) восемью (*ast*)». Но в *nū-dæs* | *næw-dæs* «девятнадцать» сохраняется старое общеиндоевропейское слово для девяти *nau* (в стяжении — *nū*). Ср. перс. *nuh*, авест. *nava*, нем. *neun*, кельт. (кимрское) *naw*, (брет.) *nao*, лат. *novem* и пр. Др.-иран. **nawati* «девяносто» также сохранилось в дигорском пастушеском счете в закономерной форме *næwæz*.

**raf* «разорение, грабеж»

Распознается в *rawwat* из **raf-wat* «бедственное положение, разруха, разорение». *Wat* во второй части сложных слов означает «место, положение»; *rox-wat* «забвение» от *rox* «забытый» , *xæzar-wat* «место, где был дом (*xæzar*), руины» и т. п. Стало быть, **raf-wat* — «разоренное положение» (как результат грабежа, расхищения). Ср. др.-инд. *rapas-* «повреждение». Ближе по значению лат. *rapio* «хватать, отнимать силой, похищать», *rapto* «грабить», *raptum* «грабеж», нем. *raffen* «схватывать, уносить».— Сюда же осет. *ryn* | *run* «эпидемия, мор» из **rafna-*.

**ræm* «плечо, рука»

Распознается в *ræm-byn* «локоть (анатом.)». *Byn* во второй части сложных слов — да и самостоятельно — означает «низ». Стало быть, *ræm-byn* можно перевести приблизительно «подплечье». *Ræm* представляет вариацию живого слова *arm* «рука» и стоит в ближайшем родстве к ст.-слав. *ramo* «плечо». Древний апофонический вариант этой же базы имеем в **rem-* в слав. *remeslo*, *remestvo*, букв. «ручная работа». Сюда же литов. *remẽsas*, лтш. *remesis* «ремесленник». Основа *remes-* относится к *rem-*, как *nebes-* к *nebo*, *koles-* к *kolo* и т. п. Русск. (диал.) *рукомесло* представляет как бы перевод с др.-русского — несколько неуклюжий, но подтверждающий, что в слове *ремесло* всегда чувствовалась «рука».

**rætæ* «повозка, арба»

Распознается в слове *rætæn-ağd* «оглобля», собственно «ляжка (*ağd*) арбы (*rætæ*)». Ср. авест. *raθa-*, др.-инд. *ratha-* «повозка», литов. *ratas*, лтш. *rats* «колесо», др.-в.-нем. *rad*, нем. *Rad* «колесо», лат. *rota* «колесо». Согласный *-n-* в осет. *rætænağd* либо вставной, для избежания зияния, либо предполагает исходную форму **raθana-*, вполне реальную для древнеиранского рядом с *raθa-*.— В современном осетинском арба зовется *wærdon*, что в прошлом означало «колесо», от базы **wart-* «вертеть(ся)».

*sag «развилина», см. выше [1]*æx

*sī | se «сирый, сирота»

Распознается в sīʒær | seʒær «сирота», букв. «живущий (ʒær) из cær от cæryn „жить") в сироти (sī | se)». Ср. авест. sae- «сирый», курд. sīwī, афг. siya, парф., пехл. sēwag, др.-инд. śayu-, śyeta- «сирота». За пределами индоиранского — ст.-слав. sirъ, русск. сирый, сирота литов. šeirýs «вдовый». Важная арио-славо-балтийская изоглосса. По ступени огласовки и по форманту авест. sae- относится к слав. *sirŭ как, скажем, авест. taeγa- к авест. tiγra- «острый».

*tong «ремень»

В значении «ремень» в осетинском и самостоятельно, и в некоторых сложениях бытует общеупотребительное слово gærz. Но в двух композитах притаилось другое, забытое слово с тем же значением, tong: æx-tong «подпруга» и dym-ī-tong | dum-e-tong «подхвостный ремень в сбруе». Æx-tong означает собственно «скрепляющий (æx) ремень», см. выше [2]*æx. Dym-ī-tong | dum-e-tong разлагается на dym | dum «хвост», tong «ремень» и соединительный гласный-ī- | -e-. Слово tong имеет надежные соответствия. Ср. перс. tang «подпруга» от *tang- (авест. ϑanǰ-) «тянуть», русск. тяга (из *tenga), тяж id. Сюда же осет. tynʒyn | itinʒun «растягивать, расстилать».

*uba «оба», см. ниже *zæstæ, *ʒæstæ «рука»

*xær «серый»

Вытеснено позднейшим c'æx кавказского происхождения. Распознается в старых сложениях xærīs | xærwes «ива, Salix», букв. «серая (xær) лоза (wīs | wes)» и в дигор. xærætegæ «густой туман», букв. «серая (xæræ) туча (tegæ)». Вторая часть слова xær-īs | xær-wes бытует самостоятельно: wīs | wes, «прут, хворостина, лоза», восходит к др.-иран. *waiša- и стоит в ближайшем родстве со слав. věcha, русск. веха, норв. veis «стебель» и пр. В xæræ-tegæ вторая часть также живое слово в значении «туча». В иронском диалекте говорят c'æx tīg «серая туча» вм. дигор. xæræ — tegæ, чем лишний раз подтверждается значение «серый» для xær(æ).

Иран. *xara-, осет. xær «серый» сопоставимо с др.-инд. khara- в khara-varna- «темного цвета», хинди xər «серый», сак. khara- «мрачный», чеш. chory, польск. chory «темный» (о муке, хлебе), др.-сев. hār англосакс. hār «серый, седой», англ. hoar «седой». Сюда же русск. серый, польск. szary (из *xoiro-).

От *xær «серый» неотделимо также осет. xæræg (др.-иран. xara-) «осел»; животное названо по цвету.

*xos | «свекровь», см. выше *dyǧd «дочь»

*xsīd | xsed «сияние»

Сохранилось в сложениях sæwæxsīd «утренняя заря» (sæw «утро») и izæræxsīd «вечерняя заря» (izær «вечер»). Восходит к др.-иран. *xšaita- «сияние, сияющий». Ср. авест. xšaeta- «сияющий, лучезарный», эпитет солнца, некоторых божеств, героя золотого века Йимы (Yima-xšaeta-).

*xoym | xum | «сома»

Это слово закономерно восходит к др.-иран. hauma- — название растения и изготовляемого из него священного хмельного напитка, др.-инд. soma-.

Распознается в *xum-ællæg* «арийский хом» (*ællæg* закономерно из **aryaka-* «арийский»). Параллельно существовала, видимо, форма *xumæl*, без форманта *æg* (*-aka-*). Отсюда — из скифо-сарматского — слав. **xŭmel'*, русск. *хмель* и другие европейские названия хмеля.

**zæl* «шелк»

В сложных словах *zældag* «шелк», *kættag* «полотно», *x∘yjændag* «дратва» вторым компонентом является живое слово *tag* «нить». Слова *kættag* и *x∘yjændag* мы уже разобрали выше, под словом **kæn*. Что касается *zældag* (из *zæl-tag*), то можно утверждать, что первая часть, *zæl*, сама по себе уже значила «шелк, шелковый». В наших текстовых записях встречается выражение *zæly kælmærzæn* «шелковый платок» (о слове *kælmærzæn* см. выше под [1]**kær*). В дигорском диалекте *i-zælu* само означает «шелковый платок». Остается выяснить происхождение элемента *zæl*. От сближения с группой: церк.-слав. *šelkъ*, русск. *шелк*, среднеангл. *selk*, англ. *silk* и пр., несмотря на некоторое созвучие, придется отказаться: переход *s* → *z*, исчезновение *-k* неправдоподобны. По свидетельству Марко Поло, шелк в одном из среднеазиатских языков (каком?) назывался *žell*. Это — идеальное соответствие для осет. *zæl*, но еще не этимология. З. Б. Мухамедова в статье «Сбруя и украшения туркменского коня» сообщает, что в туркменском языке «праздничный наряд» коня, изготовляемый из атласа и парчи, назывался *žül* [см. 4]. Быть может, это слово следует связать с *žell* Марко Поло и возвести к общетюркской базе *jäl*-«блестеть»: шелк =«блестящая ткань»? [5].

**zær* «зеленый, зелень, трава»

Выше мы восстановили для осетинского слово **xær* «серый», вытесненное субстратным *c'æx*. При этом последнее слово стало обозначать также «голубой, синий, зеленый», как это имеет место и в некоторых кавказских языках. Между тем можно утверждать, что в прошлом в осетинском четко различались цвета: **xær* «серый», **æxsīn* «темно-серый, синий» из др.-иран. axšaina-, греч. (из иран.) Ἄξεινος в названии Черного моря Πόντος Ἄξεινος (сохранилось в осет. *æxsīnæg* «голубь») и **zær* «зеленый». Таким образом, с появлением слова *c'æx* гамма цветовых обозначений в осетинском заметно обеднела.

Элемент **zær* «зеленый, зелень, трава» распознается в *zæræston* «пахотная земля, оставшаяся незасеянной и заросшая травой», букв. «место (*ston* из др.-иран. *stāna-*), поросшее травой (*zær*)». Далее — в *zæridaw* «покосный участок, оставшийся нескошенным до следующего лета». Здесь в первой части имеем *zær*, во второй — *daw* из *taw* «отава» (ср. слав. **otava*, русск. *отава* и пр.: ИЭС III 237—238), и соединительный гласный *-ī-*. Стало быть, *zæridaw* означает «зеленая отава» или «зелень-отава». Наконец, в дигорском диалекте имеем *zældæ* «трава» из иран. *zarita-*, что лишний раз подтверждает, что в осет. существовала база *zær* «зеленый» и пр. Этимологически она неотделима от и.-е. **ǵhel-* «зеленый» и пр. Ср. авест. *zairi-* (в первой части сложных слов) «желтый», *zairita-* id., церк.-слав. *zelije*, русск. *зелье*, *зеленый*, литов. *žālias* «зеленый» и пр.

**zæstæ*, **zæstæ* «рука»

Любопытное слово сохранилось в дигорском диалекте осетинского языка: *xubezæstæ* «пригоршня». Оно возводится (с протетическим *x-*) к **ubai-zastā* «обе руки». Примечательно то, что оба компонента, хорошо известные в родственных языках, в осетинском ни самостоятельно, ни в других композитах нигде больше не встречаются. Для первой части ср. авест. *uva*, ж. р. *ube*, др.-инд. *ubha*, *ubhau*, ж. р. *ubhe*, ст.-слав. *оба*, русск, *оба*, *обе*, лат. *ambo* и пр. Для второй части (*zæstæ*) ср. авест. *zasta-*, др.-перс. *dasta-*, перс. *dast* «рука», др.-инд. *hasta-*«рука; хобот» (обычно муж. рода, но встречается и жен. род), литов. *pa-žastis* «подмышка».

Весь приведенный выше материал преследует одну цель: показать, насколько «темные» сложные слова бывают интересны и важны для истории языка, для исторической лексикологии и этимологии. Труд, затраченный на их «дешифровку», полностью себя оправдывает.

Особо следует остановиться на тех случаях, когда старые иранские слова лишь частично вытеснены эквивалентами из субстрата. Их не надо реконструировать. Они — живые и даются без «звездочки». От забвения их спасло то, что они удержались не только в сложных словах, но и в устойчивых сочетаниях, идиомах, фразеологизмах, пословицах, поговорках. В результате в языке возникли синонимические или полусинонимические пары:

arm — *k'ux* | *k'ox* «рука»
fad — *k'ax* «нога»
kom — *ʒyx* «рот».

В левом столбце — иранские слова, в правом — субстратные.

Arm «рука» = авест. *arəma-*, др.-инд. *irma-*, нем. *Arm* и пр.; *fad* «нога» = = авест. *pāδ-*, др.-инд. *pāda-*, греч. ποδ-, лат. *ped-* и пр.; *kom* «рот» восходит к др.-иран. **kahman-*, ср. перс. *kām* «нёбо; пасть», вахан. *kom* «нёбо» и пр.

K'ux «рука» сближается с чечен. *kujg* «рука», *k'ax* «нога» сближается с акуш. (Дагестан) *kax*, чечен. *kog* «нога»; *ʒyx* «рот» сопоставимо с кабард. *žeh* «рот», чечен., ингуш. *ž'ok*, *ʒok* «клюв».

По первому впечатлению их взаимоотношение сопоставимо с отношением между такими синонимами в русском, как:

длань — рука
перст (ср. *перстень, наперсток, перчатка*) — *палец*
чело (ср. *бить челом, челобитная*) — *лоб*
око (ср. *очный, заочный, очевидный, окно*) — *глаз*
ланита — щека
уста (ср. *устный, наизусть, златоуст*) — *рот*.

Но это сходство обманчиво. Церковнославянизмы левого столбца имеют специфическую стилистическую окраску. Не зря они снабжаются в словарях пометами: «устар.», «книжн.», «поэт.», «ритор». В осетинском синонимы обоих столбцов стилистически нейтральны. Они различаются не стилевым использованием, а устоявшимся распределением и сочетаемостью.

Остановимся подробнее на каждой из приведенных выше осетинских синонимических пар (первый термин — иранский, второй — субстратный).

arm — *k'ux* | *k'ox* «рука»

Arm в сложных словах: *ærmg∘yroj* «ручная мельница» (во 2-й части *k∘yroj* «мельница»); *ærmæftaw* «сума» = «накинутое (*æftaw* от глагола *æftawyn*) на руку (*arm*)»; *ælmærīn* «локоть» из *ærm-ærīn* (мера длины), см. выше **ærīn*; *ærxūd* «рукавица» из *ærm-xud* «шапка (*xūd*) руки»; *ærmk'ux* id. («рука руки»); *ældar* «господин, князь» из **ærm-dar* «рукодержец», ср. сарматские личные имена из Танаиды: Ἀρδαρος (встречается около 20 раз), Ἀρδαραχος, Ἀρδαρισχος; *armyʒag* «горсть» = «полная (*ʒag*) рука»; *armyt'æpæn* «ладонь» = «плоскость (*t'æpæn*) руки»; *ærmaræxst* «искусный (*aræxst*) в работе руками»; *ærmax∘yr* «прирученный» (о животных) = «приученный (*ax∘yr*) к руке»; *ærmgūsæg* «ремесленник» из *ærm—kūsæg* от *kūsyn* «работать», *ærmydūltæ* «измятый, изуродованный» из *ærmy-tūltæ* от *tūlyn* «катать, скатывать»; *ærmævdūlæn* «раскатывание теста между ладонями»; *ærmirmi* «с рук на руки»; *æmarmæj* «дружно, совместно» из иран. **ham-arma-*; *ævdasarm* «часть туши» из *æd-fars-arm* «передняя нога (*arm*) с боком (*æd fars*)»; *ʒagarmæj* «с полными руками»; *aftīdarmæj* «с пустыми руками»; *dælarm* «подмышка» = «под рукой».

Древний этноним Σαυρομαται «сарматы» (Геродот), возможно, = осет. *saw-ærm-a-tæ* «смуглорукие» (*saw* «черный, смуглый»).

Arm в устойчивых сочетаниях: *armæj ævnalyn* «трогать руками»; *armæj qazyn* «баловаться руками» (*armæj ma qaz*! «не балуйся руками»! — обращение к детям); *arm daryn* «покровительствовать» = «держать руку»; дигор. *armi æftujun* «попадать в руки, даваться, удаваться»; *army cæwyn* «вмещаться в руке».

Слово *arm* функционирует и самостоятельно, но в более узком и ограниченном употреблении; словари дают «кисть руки». Несомненно, однако, что это — явление позднейшее, результат того, что субстратное *k'ux* сильно потеснило семантическое поле иран. *arm*. В переводе евангелия Ялгузидзе (начало XIX в.) встречается *ærddæ* «руки» (Матфей 27.24) из *ærm-tæ*, а не *k'ūxtæ*. Сложные слова и устойчивые сочетания, удержавшиеся от далекого прошлого, позволяют утверждать с уверенностью, что *arm* означало не только кисть руки (франц. *main*), но и всю руку(франц. *bras*). Достаточно указать на *dælarm* «подмышка». Более того, передняя нога четвероногих тоже называлась *arm*. Ср. *ævdasarm* из **æd-fars-arm* «передняя нога туши вместе с боком». О лошади говорят *armaccagæj cævy* «бьет передними ногами».

Но и этого мало: *arm* означало также «оглобля». С отпадением конечного *-m* дигорский диалект сохранил это значение по сей день: *ar* «оглобля». В иронском имеем другое — тоже весьма древнее *rætænagd* «оглобля» (см. выше **rætæ*). Но ирон. *ærmbos* «гужовка, повязь (*bos*) оглобли (*ærm*)» свидетельствует, что значение «оглобля» было общеосетинским.

Субстратное *k'ūx* | *k'ox*, как мы отмечали, почти полностью вытеснило *arm* в самостоятельном употреблении. Но оно оказалось бессильным вытеснить *arm* из сложных слов и устойчивых сочетаний. Известны всего, кажется, два сложных слова с участием *k'ūx*: *k'uxdaræn* «перстень» = «носимое (*daræn*) на пальце (*k'ūx*)» [3], и *k'ūxylxæeæg* «шафер» = «держащий (*xæcæg*) за руку (*K'ūxyl*) (невесту)»; ср. по значению и образованию др.-инд. *karagraha-*, *karagrahana-* «das Erfassen (*graha-*) der Hand (*kara-*) insbes. der Braut bei der Hochzeit».

fad — *k'ax* нога»

Fad в сложных словах: *fadat* «возможность» из **fad-wat* «место (wat) для ноги»; *fadzū* «ход шагом» (аллюр лошади) из *fad-cū*, где *cū* — от *cæwyn* «идти»; *cyppærvadygæj* «галопом» (аллюр лошади), букв. «в четыре (*cyppar*) ноги (*fadygæj*)»; *fadnīz* « ящур, болезнь (*nīz*) ног»; *fadqūl* «лодыжка, бабка (*qūl*) ноги»; **fadtavæn* «подстилка из сухой травы в чувяках», сохранилось в балкарском языке в форме *fadavan*, усвоено из осетинского; *fadxos* «подстилка из сена (*xos*) в горской обуви»; *wælfad* «подъем ноги» (**upari-pādam*); *dælfad* (**adari-pādam*) в форме *dælfædtæm* «в ногах», в *dælfadbos* «штрипка ноговиц, брюк, повязка (*bos*) под ногой (*dælfad*)»; *bæǧævvad* «босоногий» = **maγna-pāda-*; *ræwvad* «быстроногий» из *ræw-fad*, в первой части — *ræw* «легкий», *fælmænvad* «слабого, нетвердого характера», букв. «мягконогий»; *qæbærvad* «крепконогий»; *cæfxad* «подкова» из *cæg-fad* «кольцо (*cæg*) ноги»; *særfad* «толковые, умелые действия, должный распорядок», букв. «голова (*sær*)-нога»= «уменье связать начало с концом».

Fad в устойчивом сочетании: о мертвецки пьяном говорят *jæ sær*, *jæ fad nal æmbary* «он уже не чувствует своей ни головы, ни ноги»; этот фразеологизм перекликается со сложным словом *særfad* «толк» (см. выше).

Как видим, иран. *fad* входит во множество сложных слов, причем большинство их настолько прозрачно, что значение «нога» легко установить и без специальных этимологических изысканий.

---

[3] Не значит ли это, что обычай носить перстень появился у предков осетин только в кавказский период их истории?

Субстратное *k'ax* господствует вне сложных слов как обычное название ноги. Лишь в нескольких случаях мы находим его в составе сложных слов: *k'axvændag* «тропинка» = «дорога» (*fændag*) для ноги»; *dyk'axyg* «двуногий», *ærtyk'axyg* «треногий», *cyppærk'axyg* «четвероногий» (ср. выше *cyppærvadyg* «галоп») и некот. др.

kom — zyx «рот»

Kom в сложных словах: *komaryng* «нёбо» = «корыто (*aryng*) рта»; *komyk'ūl* «внутренняя поверхность щек» (*k'ūl* «стена»); *komydon* «слюна, вода (*don*) рта»; *komzag* «кус, полный рот»; *komytæf* «дыхание, воздух, выходящий изо рта» (*tæf* «дух»); *komaxsæn* «праздник заговенья или масленицы» (по Всеволоду Миллеру, «оберегание рта», хотя глагол *axsyn* означает собственно «схватывать» [см. 7]); *kombæddæn* «начало великого поста», букв. «завязывание (*bæddæn* от *bæddyn* „вязать") рта», *kwazæn|kowwazæn* «разговенье, пасха из *kom-wazæn*, букв. «освобождение (*wazæn* от *wazyn* „отпускать, освобождать") рта»; *komzog* «доказчик» (лицо, уличающее кого-л.), «идущий (*zog* из *cæwæg* от *cæwyn* „идти") с (уличающим) словом („ртом")», *komxæliw* «с разинутым (*xælīw*) ртом»; *komkommæ* «напротив» («ртом ко рту»); *ængom* «вплотную» (**ham-kahman-*); *wælgommæ* «вверх лицом» («ртом»); *dælgommæ* «вниз лицом»; *kombos* «шнур для перевязывания мешка»; *cæskom* «лицо» из *cæst-kom* «глаз-рот», *ægomyg* «немой» из *æ-kom-yg* «безустый»; *nælgoǰmag* «человек мужского пола, мужчина» из *næl-kom-ag* «мужеустый»; *sylgoǰmag* «женщина» из *syl-kom-ag* «женоустая» и некот. др.

Kom в устойчивых сочетаниях, идиомах, формулах, поговорках: *kom ivazyn* «зевать» («растягивать рот»), *kommæ kæsyn* «быть послушным», букв. «смотреть в рот»; *kom daryn* «поститься» («держать рот»); *galy komy syf* «листочек в пасти быка», т. е. мизерная доза чего-л.; «*zyng*» *zæǧynæǰ kom næ sūzy* «от того, что скажешь „огонь", рот не обжигается» (поговорка); дигор. *kalmi komæǰ xæfsæ bajston, mæxe komæǰ mistæ rajston. . . galı komi sifæ taǰuǰ, ǧogi komi cænxæ taǰuǰ* «изо рта змеи отнял лягушку, из своего рта достал мышь . . . во рту быка тает лист, во рту коровы тает соль» (из формул заговора против сглаза скота) [см. 8].

И здесь, как в случае с *arm* «рука» и *fad* «нога», субстратное слово не смогло вытеснить иранское из старых словосложений и устойчивых сочетаний. Само *zyx*, ставшее обычным наименованием рта, редко встречается в сложных словах: *xælīwzyx* «разиня, ротозей» (ср. выше *komxælīw*), *fydzyx* «сквернослов, дурноустый», *mīlzyx* «с темными усиками» (о молодом человеке), «с пятном (*mıl*) на рту», *zulzyx* «натянутые отношения», букв. «косоустые» (отношения) (*zūl* «косой, кривой»).

Как видно из нашего материала, в иранском фонде осетинского языка были исконные и широко употребительные наименования для руки, ноги и рта: *arm*, *fad*, *kom*. Как же случилось, что они уступили место иноязычным элементам? Такие важные и насущные анатомические наименования относятся к самому ядру основного лексического фонда. За редкими исключениями, это ядро непроницаемо для внешних заимствований. Иное дело — субстрат. Субстрат связан с процессом э т н о г е н е з а, и он налагает отпечаток на всю этническую культуру народа, включая язык. Для него нет непроницаемых сфер в лексике. Заимствования не несут никакой этногенетической информации. Они говорят лишь о внешних отношениях с другими народами и языками. Осетинские *k'ux* «рука», *k'ax* «нога» и *zyx* «рот» тем и примечательны, что они не подводятся под рубрику «заимствований». Они свидетельствуют о глубоком и интимном взаимодействии с кавказским этническим и языковым миром, взаимодействии, в котором кавказская почва сыграла роль субстрата. Лексические факты, с которыми мы познакомились, вместе с другими языковыми и неязыковыми (археологическими, антропологическими, этнографическими) показаниями согласно рисуют картину становления современной осетинской народ-

ности: осетины как этнос, сохраняя свою иранскую, скажем точнее — скифо-сарматскую основу, во взаимодействии с народами Кавказа завершили свою этногенетическую историю. Совершенно также в Передней Азии и на Кавказе завершил свою этногенетическую историю другой индоевропейский народ: армяне.

ЛИТЕРАТУРА

1. В чест на академик Владимир Георгиев. Езиковедски проучвания. София, 1980, с. 107.
2. *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М.— Л., 1958; Т. II. Л., 1973; Т. III. Л., 1979.
3. *Bailey H. W.* Dictionary of Khotan Saka. Cambridge, 1979, p. 141.
4. Mémoires de la société finno-ougrienne, 1976, v. 158 («Altaica»), p. 193.
5. *Räsanen M.* Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Turksprachen. Helsinki, 1969, S. 181.
6. *Böhtlingk O.* Sanskrit Wörterbuch. St. Petersburg, 1881, II. S. 21.
7. *Миллер В.* Осетинские этюды. Вып. 2. М., 1882, с. 272.
8. Памятники народного творчества осетин. Вып. II. Владикавказ, 1927, с. 172.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1983

КЛИМОВ Г. А.

О ПОЗИЦИОННЫХ ПАДЕЖАХ ЭРГАТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Признание системного постулата в содержательно ориентированных типологических исследованиях привело, как известно, к взаимному обособлению по крайней мере трех комплексов признаков-координат, характеризующих номинативный, эргативный и активный строй. В итоге многочисленных исследований стало довольно очевидным, что и морфологические системы представителей этих систем, постулированных в соответствии с различными способами передачи субъектно-объектных отношений действительности, не совпадают друг с другом. Сказанное относится, в частности, и к такому рано попавшему в сферу наблюдений типологов фрагменту морфологической структуры разнотипных языков, каковым является падежная парадигма.

Специальная литература последнего десятилетия свидетельствует вместе с тем, что существуют факторы, тормозящие успешную разработку представлений типологов о дифференциальных признаках отдельных языковых типов. С одной стороны, это все еще не всегда четкое различение абстрактного понятия типа, строящегося из совокупности разноуровневых логически необходимых структурных признаков, и некоторого класса конкретных языков, обычно лишь в определенном приближении реализующих этот тип (и, следовательно, способных в той или иной степени совмещать признаки и иного типа). Этим обусловливаются все еще нередко встречающиеся в литературе утверждения о сущности типологической системы, основанные не на анализе внутренней логики ее организации, а на материале отдельных языков, сплошь и рядом не отвечающих эталону системы (так, например, исходя из случаев функционирования категории залога в языке, характеризующемся так называемой парциальной эргативностью, иногда высказывается мнение о совместимости категории залога с эргативной системой). С другой стороны, аналогичным фактором является вольный или невольный отход некоторых авторов от критерия способа передачи субъектно-объектных отношений действительности, положенного в основу контенсивно-типологических исследований с самого их возникновения. Его естественным следствием оказывается сдвиг самой исследовательской процедуры с позиций содержательно-ориентированной типологии в план формальной типологии или даже других разновидностей структурного изучения языков (лингвистики универсалий, характерологии, контрастивной лингвистики и т. п.), либо вообще в плоскость конструирования систем, построенных на произвольно избранных признаках. Яркими примерами последнего случая могут служить отдельные попытки постулации систем, строящихся уже не на реально наблюдаемых различиях языков в способах передачи субъектно-объектных отношений, а на механическом инвертировании структурных зависимостей, характерных для эргативного или какого-либо иного строя (не приходится удивляться поэтому тому обстоятельству, что, например, так называемая антиэргативная система не образует сколько-нибудь целостного типа, характеризуя в лучшем случае лишь разрозненные фрагменты структуры конкретных языков). Наконец, еще один фактор подобного порядка, по-видимому, составляет постоянно сопровождающий развитие теории контенсивной типологии груз ассоциаций с грамматической традицией изучения языков номинативного строя и отсюда — воздействие на нее со стороны соответствующего терминологического аппарата. Как об этом свидетельствует современное состояние науки (ср., в частности, предпринимающиеся опыты

исторического выведения эргативной конструкции предложения из пассивных построений), было бы наивной иллюзией полагать, что она уже полностью освобождена от действия этого фактора.

Уже довольно длительная к настоящему времени традиция изучения эргативной системы позволила постулировать в качестве ее позиционных падежей эргативный и абсолютный, субъектно-объектная специфика которых не разрешает отождествить их с номинативом и аккузативом номинативной системы (одной из наиболее ранних эмпирических предпосылок этого явилось еще наблюдение Г. Шухардта, согласно которому в автохтонных языках Кавказа нет именительного и винительного падежей, как они даны в индоевропейских языках [см. 1, с. 38—39]). Этот вывод, формулировка которого связана с общей теорией эргативности, разрабатывавшейся в советском языкознании прошлого и прежде всего в трудах И. И. Мещанинова, ныне широко признан в мировой науке и, можно сказать, решительно господствует в таких дисциплинах, как американистика, эскалеутское языкознание, чукотско-камчатское языкознание, океанистика, папуасское языкознание, австраловедение, древневосточное языкознание (в некотором смысле исключения представляют собой кавказоведение и баскология, где при преобладающем понимании функциональных особенностей обоих позиционных падежей эргативной системы вместо термина «абсолютный падеж» широко употребляется «именительный падеж»). Разделяется он в настоящее время и такими ведущими представителями разработки общей теории эргативности на Западе, как Ст. Андерссон, Б. Комри и Р. Диксон [см. 2, с. 18; 3, с. 337 — 342; 4, с. 60—65].

Причина подобной популярности этого положения заключается, на взгляд автора, в его строгой адекватности самой объективной реальности эргативной системы, передающей субъектно-объектные отношения действительности в отличие от номинативной системы синкретическим образом.

Абсолютный падеж обычно определяется при этом в рабочем порядке как падеж подлежащего при интранзитивном глаголе и прямого дополнения при транзитивном (ср. функции адыгейского падежа с признаком *-р* в *шыблэ-р мэгъуагъо* «гром гремит» и *хьакIэ-м хьэ-р ылъэгъуагъ* «гость собаку увидел»). Если учесть, что другой фундаментальный падеж эргативной системы, также функционально отличный от номинатива, квалифицируется постоянно как эргатив, то должно быть очевидным, что использование вместо первого во многих преимущественно описательных работах по эргативным языкам термина «номинатив» представляет собой терминологическую непоследовательность, иногда способствующую, как показывает исследовательская практика, смешению типологически различных падежных величин. Как справедливо заметил Г. В. Церетели, этот падеж, имея в виду его прямообъектную, а не субъектную функцию, можно было бы с равными основаниями квалифицировать и как аккузатив [ср. 5, с. 19]. Поэтому терминологически более последовательной была практика Н. Ф. Яковлева, прямо называвшего его в некоторых своих работах именительно-винительным [6, с. 39 —40], что конечно, опять-таки затушевывало его функциональное отличие от именительно-винительного падежа, известного из многих описаний номинативных языков, характеризующихся морфологически несамостоятельным аккузативом. Нельзя забывать, однако, что контенсивная типология, собственно и построенная на различиях языковых систем в способах выражения субъектно-объектных функций, не может пренебречь отличиями абсолютного и именительного падежей в этом фундаментальном для нее отношении.

Некоторые исследователи эргативных языков, осознавая функциональные отличия, существующие между корреляцией номинатива и аккузатива, с одной стороны, и эргатива и абсолютива, с другой, придерживаются тем не менее в обозначении последнего термина «номинатив», ввиду того, что в основу такой квалификации они кладут назывную функцию некоторой беспризнаковой (словарной) формы субстантива, существующей во всех языках мира. Нетрудно увидеть, однако, что в этом слу-

чае они незаметным для себя образом покидают самую почву контенсивно-типологического исследования, с рамками которого необходимо связаны понятия эргативного и абсолютного падежей, и становятся на почву некоторой иной дисциплины — лингвистики универсалий. О том, что подобный подход уже не имеет какого-либо отношения к типологической схематике, основанной на субъектно-объектном критерии, достаточно красноречиво свидетельствует, например, то обстоятельство, что в ряде эргативных языков форма абсолютного падежа имени отличается от его беспризнаковой формы с назывной функцией. При этом можно сослаться, в частности, на положение в ближе знакомых автору адыгских языках, где наряду с фиксируемой в словарях назывной формой типа *шыбл(э)* «гром» существует и специальная форма абсолютного падежа *шыблэ-р* (ср.также особую форму абсолютного падежа с признаком *-q* в языке гренландских эскимосов: *arna-q* «женщина»).

Иная конфигурация субъектно-объектного синкретизма характеризует эргативный падеж, оказывающийся, согласно известным дефинициям, падежом подлежащего при транзитивном глаголе, а также косвенного дополнения (ср. функцию адыгейского падежа с признаком *-м* в построениях: *хъакIэ-м хъэ-р ылъэгъуагъ* «гость собаку увидел», *ар дыды-м рэдэ* «он шилом шьет», *а-м инысэ-м ритыгъ* «он своей невестке отдал то»). Следует подчеркнуть, что характерный для него субъектно-объектный синкретизм, хорошо знакомый исследователям эргативных языков, все же, по-видимому, недостаточно учитывается в современных теоретических концепциях эргативности, поскольку он затрагивает самое существо эргативного строя. Именно этот синкретизм, некогда внушавший Г. Штейнталю впечатление о полной неграмматичности подобных падежных образований [7, с. 186], судя по всему, и делает эргатив закономерным коррелятом абсолютива в рамках типологически единой падежной парадигмы. Поэтому можно присоединиться к Г. В. Топуриа, отмечающему в специальной работе, что термин «совмещающий эргатив» является чисто условным, поскольку субъектная и инструментная функции в эргативе органично слиты [8, с. 30]. Субъектно-объектный синкретизм эргатива, как известно, особенно рельефно выступает в двухпадежных эргативных языках, в которых соответствующие функции по необходимости распределены между эргативным и абсолютным падежами. Именно такая его семантика, включающая наряду с субъектным отношением инструментное, адресатное и — уже за пределами этого круга — локативное, достаточно отчетливо отражается в таких двухпадежных языках, как убыхский, бурушаски, алеутский, некоторые папуасские и др. Если учесть, что и в беспадежных представителях эргативного строя, например, в абхазском языке и некоторых американских, те же субъектно-объектные функции аналогичным образом распределены между глагольными личными показателями эргативной и абсолютной серий, то становится очевидным, что и глагольная морфология подтверждает характерность такой дистрибуции для эргативной системы. Констатация означенного синкретизма обоих позиционных падежей позволяет увидеть их специфические инвариантные значения как морфологических координат эргативности, основанной, как показывают и ее другие грамматические проявления, на противопоставлении не субъектного и объектного начал, характерном для номинативной системы, а некоторых принципиально иных, квалифицируемых в терминологии А. Е. Кибрика как агентивное и фактитивное [9, с. 34]. Показательно, что аналогичная функциональная нагрузка обоих рассматриваемых падежей прослеживается даже в языках, ныне существенно отклоняющихся от эталона эргативности, в которых за эргативом наряду с субъектным отношением оказывается в той или иной степени закрепленным либо инструментное, либо адресатное, либо посессивное отношение (ср., например, статус лезгинского эргатива, несущего в отдельных случаях наряду с субъектной функцией и инструментную).

В целом ряде эргативных в своей основе языков, примером которых может служить часть нахско-дагестанских, эргативный падеж, хотя он и остается «совмещающим» косвенно-объектное отношение, обнаруживает

тенденцию к преобразованию в так называемый самостоятельный эргатив, т. е. в исключительно субъектный по своей функции падеж. Как это было установлено еще в трудах И. И. Мещанинова, относящихся к 30—40-м годам, такая тенденция составляет одно из проявлений номинативизации языковой структуры и отражает собой существенный шаг в трансформации эргатива в номинатив [10, с. 169—170; 11, с. 199—205]. Типологически промежуточный статус самостоятельного или «несовмещающего» эргатива может служить одной из многочисленных иллюстраций известной диалектической закономерности соотношения формы и содержания развивающегося явления: он остается эргативом в той мере, в которой он формально еще отличен от падежа подлежащего при интранзитивном глаголе, но является номинативом в той мере, в какой он уже обладает только субъектной функцией. Как известно, многочисленные последующие наблюдения в рамках отраслевых ответвлений языкознания подтвердили справедливость этого вывода указаниями на большую архаичность совмещения эргативом субъектной и косвенно-объектной функций в истории множества эргативных языков. Примеры этому нетрудно найти как в кавказском языкознании [ср. 4, с. 49—50; 12, с. 99—100; 13, с. 51; 14, с. 51], так и далеко за его пределами [ср. 15, с. 146; 16, с. 96]. Было бы естественным ожидать, что параллельно с этим процессом происходит и историческое преобразование абсолютного падежа в аккузатив за счет сокращения его субъектной функции, динамика которого еще не служила предметом рассмотрения в историко-типологическом плане (в последнем отношении определенный интерес представляет, в частности, диахронический анализ морфологически несамостоятельного аккузатива в некоторых ныне номинативных языках).

Поскольку семантика эргативного и абсолютного падежей отражает вместе с соответствующими характеристиками других элементов эргативной системы самый ее содержательный стимул, становится возможным увидеть, что широко распространенное в исследовательской практике рабочее определение последней как типологической системы, в которой единая трактовка подлежащего при интранзитивном глаголе и прямого дополнения при транзитивном противостоит отличной трактовке подлежащего при транзитивном глаголе, оказывается неполным, и, строго говоря, не вполне адекватным, поскольку отдельно взятый последний признак (вне его сопоставления с признаком аналогичной трактовки косвенного дополнения) характерен лишь для языков, уже вставших на путь структурной номинативизации (на раннем этапе своих занятий проблематикой эргативности прибегал к такому определению и автор настоящей статьи). Нетрудно заметить, что с тезисом о субъектно-объектном синкретизме эргативного и абсолютного падежей оказывается связанной совокупность наблюдений типологов, касающихся и других признаков-координат эргативности (в частности, затрагивающих самый принцип организации глагольной лексики), останавливаться на чем здесь было бы уже неуместным.

Частично рассмотренная в настоящей статье проблема морфологических координат эргативности представляется особенно актуальной в свете так называемого повторного открытия морфологии, все выводы из которого предстоит сделать и в сфере содержательно ориентированных типологических исследований. Вместе с тем, эта проблема диктует необходимость постановки вопроса более общего порядка о том, каким образом описательные грамматики эргативных в своей основе языков должны отражать их типологические особенности.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Шухардт Г.* О пассивном характере переходного глагола в кавказских языках.— В кн.: Эргативная конструкция предложения. М., 1950.
2. *Andersson St.* On the notion of subject in ergative languages.— In: Subject and topic. Ed. by Li Charles N. London, 1976.
3. *Comrie B.* Ergativity.— In: Syntactic typology. Studies in phenomenology of language. Ed. by Lehmann W. P. Sussex, 1978.

4. *Dixon R. M. W.* Ergativity.— Language, 1979, v. 55, № 1.
5. *Церетели Г. В.* Урартские памятники Музея Грузии. Тбилиси, 1939.
6. *Яковлев Н. Ф.* Синтаксис чеченского литературного языка. М.— Л., 1940.
7. *Steinthal H.* Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues. Berlin, 1860.
8. *Топуриа Г. В.* Эргатив самостоятельный и эргатив совмещающий, их функции в иберийско-кавказских языках.— В кн.: Вопросы синтаксического строя иберийско-кавказских языков. Нальчик, 1977, с. 30.
9. *Кибрик А. Е.* Структурное описание арчинского языка методами полевой лингвистики: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1976.
10. *Мещанинов И. И.* Новое учение о языке. Стадиальная типология. Л., 1936.
11. *Мещанинов И. И.* Общее языкознание. Л., 1940.
12. *Гаджиев М. М.* Синтаксис лезгинского языка. Ч. 1. Простое предложение. Махачкала, 1954.
13. *Гаприндашвили Ш. Г.* Система склонения имен существительных в диалектах даргинского языка.— Иберийско-кавказское языкознание, 1956, VIII.
14. *Мейланова У. А.* Морфологическая и синтаксическая характеристика падежей лезгинского языка. Махачкала, 1960.
15. *Sommer B. A.* Agent and instrument in central Cape York peninsula.— In: Languages of Cape York. Ed. by Sutton P. Canberra, 1976.
16. *Itkonen T.* Subject and object marking in Finnish: an inverted ergative system and «ideal» ergative subsystem.— In: Ergativity: towards a theory of grammatical relations. Ed. by Plank F. London, 1979.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1983

КОТОВ А. М.

ЭКСПРЕССИВНЫЕ СРЕДСТВА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

Проблемы лингвистической стилистики до недавнего времени не входили в круг исследований лингвистов-востоковедов, и, в частности, китаистов. Тем не менее нужды преподавания языка, перевода, лексикографии, литературоведения настоятельно требуют рассмотрения вопросов, связанных со стилистическим расслоением языковых средств и типов речи. Поэтому представляется не случайным наблюдаемый в последнее время интерес исследователей к функциональным стилям китайского языка. Это, несомненно, положительное явление, однако следует заметить, что увлечение функциональной стилистикой, изучение с помощью статистических методов структуры «речевой ткани» функциональных типов китайской речи приводит к игнорированию того факта, что регулярная эксплуатация определенного круга лексики, морфологических и синтаксических явлений в известных социально и психологически детерминированных ситуациях общения приводит к стилистической дифференциации языковых средств, к закреплению у них стилистических значений. По всей видимости, параллельно с выявлением статистической структуры функциональных стилей следует уделить внимание и стилистически окрашенным средствам китайского языка. В данной статье делается попытка наметить в общих чертах состав экспрессивных средств китайского языка.

Литература, посвященная категории экспрессивности, довольно обширна. Обычно в каждой из работ дается обзор точек зрения, касающихся теории вопроса, поэтому здесь нет необходимости останавливаться на них. Авторы большинства работ категорию экспрессивности так или иначе связывают с категорией эмоциональности: либо их считают независимыми друг от друга, либо устанавливают между ними отношения включения. Часто при этом замечают, что весьма трудно разграничить эти категории, что они переплетаются и проявляются друг в друге и что эмоциональность присутствует в большинстве видов экспрессивности. Полагаем, что подобные наблюдения не случайны, что всякое необычное, усиленное выражение мысли обусловлено определенным не нейтральным эмоциональным[1] состоянием говорящего. Поэтому соотношение рассматриваемых категорий представляется следующим.

Эмоциональность — категория экстралингвистическая, которая в языке отражается в виде экспрессивности, иначе говоря, экспрессивная речь присуща человеку, находящемуся в определенном эмоциональном состоянии. На современном этапе развития языка связь некоторых экспрессивных средств с эмоциональным состоянием говорящего (пишущего) не является столь явной, однако в филогенетическом плане они в конечном счете выделились в языке благодаря их регулярному употреблению в речи психологически не нейтральной, первоначальное же употребление многих из них явилось эмоционально-моторной, импульсивной реакцией человека, находящегося в возбужденном состоянии (междометия, повторы, эллипсис и т. д.). Впрочем, и в настоящее время их использование связано, не говоря уже о разговорно-бытовой речи, не с тем, чтобы придать речи «изящность», а обусловлено соответствующим эмоциональным состоянием говорящего (пишущего) и/или стремлением привести в такое состояние

[1] Формы психической жизни человека не сводятся, конечно, лишь к эмоциям, и употребление здесь термина «эмоциональное» в расширенном значении, т. е. «психическое вообще» есть дань сложившейся в лингвистике традиции.

слушающего (читающего). Широко известны, например, случаи чуть ли не патологического сопереживания «художников слова» со своими героями в процессе творчества, когда «художник, объективируя созданный, выдуманный им образ, остро, порою болезненно переживает его иллюзорную литературную судьбу, как если бы он был живым, реальным лицом» [1]. Интересно в этом плане замечание А. Н. Савченко, касающееся тропов, на первый взгляд не связанных с эмоциональностью: «Всякое образное употребление слова уже эмоционально, потому что образность есть стремление речи к усилению наглядности восприятий, а восприятие всегда вызывает не только мысль, но и чувство. Метафоры и сравнения производят эмоциональное впечатление, во-первых, потому, что сами они обычно бывают результатом эмоционального отношения к выражаемому факту, и, во-вторых, потому, что в них тот или иной признак выражаемого предмета или явления в результате образного отождествления с другим представляется в усиленном виде, и это неизбежно воздействует на чувство говорящего и слушающих» [2].

В речи любая единица может быть экспрессивной, это зависит от ситуации общения, контекста, интонации. Однако, как отмечалось выше, язык располагает такими средствами, которые специализируются на передаче экстралингвистических явлений психологического порядка и поэтому имеют бо́льшие «шансы» быть экспрессивными в высказывании. По этой причине целесообразно различать, как это часто делается, два вида экспрессивности: парадигматическую и синтагматическую. Первая — это самодостаточная экспрессивность, не требующая для своего появления специального контекста. В этом случае сама языковая единица является микроконтекстом, достаточным для актуализации экспрессивности (оценочные слова, некоторые окказионализмы, слова, построенные по определенным моделям, и т. д.). Что же касается синтагматической экспрессивности, то она приобретается единицей в определенном контексте (антифразис, некоторые виды игры слов, нарушение стилистической сочетаемости и т. д.).

Следует отметить, что разделение экспрессивности на парадигматическую и синтагматическую есть лишь научная абстракция. Экспрессивность реально употребленной единицы — это сложная и не всегда поддающаяся четкому структурированию комбинация этих двух видов экспрессивности.

Какими же экспрессивными средствами располагает китайский язык? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует заметить, что экспрессивность — категория объемная, и в ней можно выделить следующие компоненты: оценочность, образность, интенсивность и окказиональность. Данное деление является до известной степени условным, поскольку у некоторых единиц могут сосуществовать несколько компонентов экспрессивности. Например, русское слово *медведь* (в значении «неповоротливый человек») обладает и оценочностью, и образностью, и интенсивностью представления признака. Тем не менее в целях научного анализа мы выделяем в экспрессивности названные компоненты и в соответствии с этим делением рассмотрим экспрессивные средства китайского языка.

Оценочность. Характер субъективной оценки предмета речи может быть весьма разнообразным. Китайские исследователи не сходятся во мнении относительно количества и номенклатуры оценочных оттенков, передаваемых словами. В специальной литературе можно встретить различные перечни окрасок типа «одобрительное», «уважительное», «бранное», «ироническое», «презрительное» и т. п. Эти разногласия имеют и объективную причину, которая заключается в сложности психологических явлений, стоящих за языковой категорией оценочности. Однако при всем разнообразии оценочных оттенков и нюансов все их можно свести к двум видам: положительные и отрицательные. Соответственно этому выделяются слова, обладающие положительной и отрицательной оценкой. В китайской филологической традиции первые обычно называются баоицы, вторые — бяньицы.

Оценочность может быть маркирована различными способами. В рус-

ском языке она передается наиболее ярко с помощью специальных суффиксов. В китайском языке суффиксов, регулярно выполняющих подобную функцию, нет [2]. Русские слова с оценочными суффиксами передаются в русско-китайских словарях либо стилистически нейтральными словами с пометами, указывающими стилистический оттенок слова, либо сочетаниями нейтральных слов с прилагательными *сяо* «маленький» и *да* «большой». Показательным в этом плане является пример из перевода «Поднятой целины» М. А. Шолохова, где все оттенки уменьшительно-ласкательного значения слов Половцева, обращенных к кошке (*Кисынька*! *Кисочка*! *Котик*! *Ко-ти-ще*!) переданы многократным повторением прилагательного *сяо*: *Сяо мао, сяо мао, ни чжэ сяосяо ды сяо цзяхо*! [3]. Это не означает, однако, что китайский язык не имеет возможности передавать оценочные значения на лексическом уровне. Дело в том, что в силу известных структурных особенностей китайского языка аффиксация не получила в нем такого развития, как в русском языке, и оценочное значение имеется главным образом у тех китайских слов, денотативное значение которых само включает элемент оценки, т. е. у тех слов, которые обозначают объективно «хорошие» или «плохие» предметы, признаки, действия. К таким словам, например, можно отнести: с отрицательной окраской — *сюнъэ* «гнусный, гадкий», *лоуло* «приспешник», *тяобо* «провоцировать, подстрекать»; с положительной окраской — *вэйда* «великий», *баобэй* «[мое] сокровище (о человеке)», *шиши* «скончаться».

Стилистическое значение в простом слове обычно ничем материально не выражается, но так же, как и лексическое значение, оно существует в языковом сознании говорящих. При этом для самих носителей языка оценочность является немотивированной, если значение этого корня не является переносным и сохраняющим в сознании говорящих связь с исходным значением. Что же касается сложных слов, а их большинство в китайском языке, то оценочность многих из них определяется соответствующей окраской составляющих их корневых морфем. В слове оценочные морфемы могут располагаться препозитивно и постпозитивно. Слова с препозитивным расположением оценочных морфем, как правило, относятся к атрибутивному типу сложных слов (тип А), и зачастую их трудно отделить от словосочетаний, тем более что эти же морфемы могут выступать в роли оценочных слов-определений перед стилистически нейтральными словами в словосочетаниях. К подобным морфемам (словам) можно, например, отнести *ван* «безрассудный» (*ванцю* «домогаться», *ванвэй* «сумасбродство», *вансян* «пустая мечта, химера»); *чоу* «безобразный» (*чоуши* «мерзость», *чоуцзюй* «гнусная комедия, фарс», *чоухуа* «грязные слова»); *дяо* «коварный» (*дяохуа* «хитрый, коварный», *дяофу* «строптивая женщина, фурия», *дяогунь* «негодяй»); *вэй* «великий» (*вэйцзи*, *вэйе* «великие дела, деяния», *вэйжэнь* «корифей»). Приведенные морфемы (слова) имеют оценочную окраску в своем прямом значении, однако имеются и такие, которые приобретают ее в переносном значении. При этом оценочная окраска выходит на первый план, а денотативное значение настолько затемняется, что определить его представляется затруднительным. Лексическая сочетаемость таких слов расширяется до необозримых пределов. К таким морфемам (словам) можно, например, отнести *по* букв. «сломанный, рваный» (*чжэ* ***по*** *цзя ю бу ши во и гэ жэнь ды* «эта проклятая семья не только моя»; *шэй кань нэйгэ* ***по*** *си* «и кто будет смотреть эту дрянную пьеску!»); *чоу* букв. «вонючий» (например, герой фильма-оперы «Западный флигель», которого заставляют зубрить классические книги, в отчаянии восклицает ***чоу*** *вэньчжан*! «проклятые тексты!»); *гоу* букв. «собака» (***гоу*** *тэу* «шпионишка», *на* ***гоу*** *дичжу на*? «ну, а тот помещик?»); *гуй* букв. «черт» (*чжэгэ* ***гуй*** *дифан*! «вот чертово место!»); *гуй* букв. «дорогой» (***гуй***го «Ваша страна»). Подобные единицы могут выступать и в наречной функции. Например, *на ши во* ***гоу*** *чжан жэнь ши* «это я, подлец, делал, опираясь на чужую силу».

---

[2] Что касается суффиксов *-цзы* и *-эр*, которые, как отмечал еще А. А. Драгунов [4], способны передавать оценочное значение, то они выполняют эту функцию не всегда, а при определенных условиях и в составе определенных групп слов.

К рассматриваемому явлению примыкают случаи придания словам оценочности посредством постановки перед ними специфических счетных слов. Например: *Та вэйшэмма чжэнчжэ яньцзин сюань лао Цзя чжэ хао жэньу дан цаньмоу на*? «Почему он, ничего не стесняясь, выбрал этого Цзя в начальники штаба?» Здесь слово *жэньу* «человек, личность», обычно сочетающееся со стилистически нейтральным счетным словом *гэ*, употреблено со словом *хао* букв. «знак, номер», передающим в таких случаях отрицательное оценочное значение.

Морфемы с оценочным значением могут располагаться в составе слова, как отмечалось выше, и постпозитивно. В этом случае они образуют ряды слов с общей стилистической окраской. Морфологический статус таких морфем определить во многих случаях затруднительно. Степень их десемантизации различна, некоторые из них можно бы было отнести к полусуффиксам, другие — к корневым морфемам. Вопрос об их морфологическом статусе не входит в задачи стилистики, для нас важнее проанализировать их в семантико-стилистическом плане. К рассматриваемым морфемам можно отнести следующие: *дань* букв. «яйцо» (*бэньдань* «тупица», *хутудань* «дурень», *цюнгуандань* «босяк», *ланьдань* «лентяй» и т. д.); *хо* букв. «товар» (*чуньхо* «тупица», *цзяньхо* «бесстыдница, девка», *фэйхо* «дерьмо» и т. д.); *гуй* букв. «чёрт» (*даньсягуй* «трус», *линьсэгуй* «скупердяй», *сэгуй* «бабник» и т. д.). Примером постпозитивной морфемы с положительной оценочной окраской может служить *ши* букв. «ученый, мужчина», с которой образуются слова *чжаньши* «воин», *леши* «(павший) герой», *минши* «знаменитость», *уши* «воитель, рыцарь», *юнши* «храбрец» и т. д.

Оценочность, как и в других языках, может приобретаться словом и в том случае, если данное слово, обычно стилистически нейтральное, в конкретной ситуации употребляется для наименования другого предмета, действия или качества с целью передачи субъективного отношения к ним говорящего. В принципе для указанной цели тот или иной предмет (в широком смысле) может быть метафорически назван любым словом (кроме, может быть, терминов). Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить наименования «плохих» и «хороших» лиц, имеющие хождение в различных диалектах, социальных, возрастных и половых группах, микроколлективах и в индивидуальном употреблении. Оценочные значения некоторых из этих слов становятся фактами языка и фиксируются в словарях, другие слова лишь демонстрируют такую тенденцию, а есть слова, употребление которых в оценочном значении является окказионализмом. Нас, однако, здесь интересуют слова с общепринятыми переносными оценочными значениями. Такие слова в большинстве случаев являются наименованиями предметов обихода, пищи, растительного и животного мира. Например, *цайбаоцзы* «пирог с овощами» → «идиот», *вэйба* «хвост» → «прихвостень», *хули* «лиса» → «сварливая женщина, мегера», *чжуло* «свинья» → «тупоумный человек» (но не «подлец» и не «неряха», как в русском языке), *бе* «болотная черепаха» → «трус», *шуцзы* «крыса» → «трус, негодяй». Нетрудно заметить, что во многих случаях перенос значений происходит у тех же слов, что и в русском языке, однако переносные значения в некоторых случаях не совпадают с переносными значениями аналогичных русских слов.

Иногда слово, обладающее однозначной оценочной окраской, может быть употреблено в речи с противоположной окраской. Такое явление, как известно, называется антифразисом. Например: *хао цзяхо*! «хорош гусь!» *нимэнь на вэйфэн на, хай ба вомэнь бу*? «ну вы, бравые, еще будете с нами воевать? (пленным солдатам)».

Средством реализации противоположного оценочного значения в таких случаях выступает интонация. Вообще интонация является самым эффективным средством передачи оценки в речи. Часто ей сопутствуют в этом определенные синтаксические построения, которые позволяют передавать эмоциональное состояние говорящего даже оценочно нейтральными словами. К таким синтаксическим конструкциям можно отнести, например, побудительные предложения с «избыточным» косвенным дополнением *гэй во* «мне»: *ни гэй во гунь*! «пошел вон!»; *ни гэй во цилай, тан шэмма*

цзир! «а ну, вставай, чего развалился!»; *мама, Вэйвэй, нимэнь ба та гэй во хунцзоу*! «мама, Вэйвэй, вышвырните ее!». Возбужденное состояние передают обычно (вместе с соответствующей интонацией) и конструкции, включающие личное местоимение с приложением, выраженным существительным с указательным местоимением: ***ни чжэгэ хуасяцзы*** *и дакай цзю мэй гэ вань* «а ты, граммофон этакий, как заведешь — конца не видно»; *во дуйсян во дуйсян... во дуйсянчжэ ни*, ***ни чжэгэ гунчэнь***! «с кем, с кем... да хоть с тобой, деятель ты этакий! (раздраженно на вопрос, с кем будет соревноваться)». При отсутствии предмета речи в поле зрения говорящего в таких случаях личное местоимение не ставится: *чжэ цюнь сюйшэн*! «[вот] скоты!»; *чжэгэ ецзы*! «[ах он] хулиган!».

Следует отметить и роль притяжательных местоимений в эмоциональных высказываниях. Обычно в китайском языке, в отличие, например, от английского, притяжательные местоимения не употребляются, если отнесенность определяемых ими слов очевидна, однако в высказываниях рассматриваемого экспрессивного типа широко употребляются подобные «избыточные» местоимения: *дайшан* ***ниды*** *на по маоцзы, куай дяр гунь* ***ниды*** *дань*! «а ну, надевай свою шапчонку и катись отсюда!».

Интенсивность. Этот компонент экспрессивности заключается в подчеркивании, усилении, а иногда и гиперболизации степени качества или количества признаков и действий. Следует отметить, что не всякое усиление и подчеркивание можно признать экспрессивным, поскольку в языке имеются средства логико-смыслового усиления, которые не являются отражением эмоционального состояния говорящего. Интенсивные экспрессивные средства всегда содержат элемент оценочности или образности.

Среди интенсификаторов прежде всего следует назвать наречия и наречные слова со значением степени: *тай* (*та чан ды тай хао ла*! «она чудесно поет!»); *гуай* (*гуай ю исы ды* «ужасно интересно»); *хао* (*хао да ды юй*! «вот так рыбина!»); *чжэнь* (*чжэнь лэн*! «страшно холодно!»); *шифэнь* (*шифэнь чжунъяо* «чрезвычайно важно») и его гиперболические, еще более экспрессивные варианты *шиифэнь* и *ваньфэнь*; *цзяньчжи* (*во цзяньчжи бу чжидао цзэмма бань* «я прямо-таки не знаю, что делать»).

Роль экспрессивных интенсификаторов выполняют также постпредикативные слова различной категориальной принадлежности, означающие высокую степень качества или действия: *цзила* (*хаоканьцзила* «ужасно красиво»); *тоула* (*та хуайтоула* «он законченный негодяй»); *будэляо* (*ман ды будэляо* «чертовски занят»); *ляобудэ* (*та ды лици да ды ляобудэ* «он ужасно сильный»); *яо сы* (*тун ды яо сы* «смерть как больно»); *яо мин* (*пицзюань ды яо мин* «устал до смерти»); *лихай* (*цзиньтянь лэн ды лихай* «сегодня жуткий холод»).

Экспрессию интенсивности передают и гиперболически употребляемые слова, в том числе сложные слова гиперболического характера, в которых один компонент указывает на интенсивность другого: *ни фэн ла*! «ты с ума сошел!»; *сыцян* «упрямый до смерти»; *баньтянь* «очень долго» (букв. «полдня»); *дунсы* «замерзнуть (т. е. сильно озябнуть)»; *ицзин шого и цянь бянь* «тысячу раз сказано»; *ваньэ* «проклятый» (букв. «десять тысяч раз ненавистный»); *тэнъай* «горячо любить» (букв. «любить до боли»); *куанлэ* «бурно радоваться» (букв. «радоваться до сумасшествия»).

Отдельно следует остановиться на таком средстве интенсивной экспрессивности, как редуплицированные единицы. Удвоение китайских слов производится по различным моделям (особенно это касается прилагательных), во многих случаях удвоение сопряжено с приобретением словом оценочности или образности, однако все редуплицированные формы объединяет то, что они выражают качественную или количественную интенсивность [3]. Поэтому все они будут рассмотрены в данном разделе.

Удвоение односложных существительных передает значение раздельной множественности, и в этом они близки сочетаниям существительных-

---

[3] Ср. замечание Ж. Вандриеса о том, что «повторение есть... один из приемов, вышедших из языка аффективного» [5].

однослогов с определениями *мэй игэ* «каждый», *со ю ды* «все», однако по сравнению с последними редуплицированные формы более экспрессивны. Экспрессивное удвоение следует отличать от слов, образованных путем удвоения морфем с предметным значением, например, *вава* «ребенок, дитя», *синсин* «звезда». Следует, однако, отметить, что и данные слова представляют интерес для стилистики, поскольку, по мнению исследователей [6, с. 124], у них имеется оттенок уменьшительности, а уменьшительности обычно сопутствует положительная оценка. Не случайно поэтому таких слов особенно много в детском языке, а также в речи взрослых, имитирующих детскую речь (например, в разговоре с детьми): *чи фаньфань*, «кушай» (букв. «ешь рисик»); *чуань сесе* «надевай ботиночки» [7, с. 201].

Двусложные прилагательные удваиваются по формуле ААББ: *мин-мин-байбай* «совершенно ясный, понятный»; *хуанхуан-чжанчжан* «быть в полной растерянности».

Односложные прилагательные удваиваются по формуле АА (*эр ды*). Существует мнение, что оттенок усиления признака такие редупликаты имеют лишь в функции обстоятельства и дополнительного члена (постпозитивного обстоятельства степени), например, *гаогао ды гуалясялай* «повесили высоко-высоко», *гуа ды гаогао ды* «повесили высоко-высоко». Что касается употребления в функциях определения и сказуемого, то, по мнению китайских ученых, здесь такие редупликаты не только не передают оттенка усиления признака, а наоборот, имеют добавочное значение его ослабленности [8]. Однако в этом случае они имеют положительную оценочную окраску (ласкательный, теплый оттенок), например, *дуань-дуань ды сябай*, *гаогаор ды кэнь* «коротенькая юбочка с высокими разрезиками» [7, с. 209]. Подтверждением этого, как указывает Чжу Дэси, может служить и тот факт, что многие прилагательные со значением отрицательных качеств (*хуай* «плохой», *чоу* «безобразный», *по* «рваный», *цзан* «грязный», *луань* «беспорядочный» и др.), как правило, не имеют формы удвоения, но если они в редких случаях и удваиваются, то приобретают положительную коннотацию, например, *ба тоуфанун ды луаньлуар ды* «привела волосы в [живописный] беспорядок».

Известна еще одна модель прилагательного с редуплицированным компонентом — АББ, например, *цзиньхуанхуан* «золотистый, сверкающий золотом», *люйюю* «сочно-зеленый». Подобные слова не являются результатом частичной редупликации двусложного прилагательного АБ (хотя возможны и такие случаи), они образуются путем присоединения к односложному прилагательному (иногда глаголу, существительному) удвоенной морфемы, которая интенсифицирует качественное значение слова. Очень часто интенсивность значения приобретается за счет образности (зрительной, слуховой, обонятельной и т д.), например, *сянпэньпэнь* «душистый» (поморфемно — «ароматный» + «прыскать, извергаться»); *луаньхунхун* «шумный, суматошный» («беспорядочный» + звукоподражание шуму); *хэйдундун* «непроглядная тьма» («черный» + «пещера»); *шилиньлинь* «мокрый до нитки» («сырой» + «поливать»). Среди постпозитивных редуплицированных элементов встречаются такие, которые не вносят образной характеристики, поскольку их значение в составе рассматриваемых прилагательных необъяснимо с точки зрения современного языка, они лишь передают значение интенсивности признака, например, *хэйхуху* «[очень] черный», *жэхуху* «горячий», *цихуху* «в крайнем негодовании», *панхуху* «толстый, тучный», *лахуху* «острый, жгучий».

Существует модель частичного удвоения двусложного прилагательного со вставкой элемента *-ли-*, не имеющего в данном случае значения. По общему мнению исследователей, слова, образованные по модели А-*ли*-АБ, помимо интенсивности качества обладают отрицательной оценочной окраской и образуются исключительно от слов, означающих негативные признаки: *сяолисяоци* «скаредный», *лолилосо* «болтливый», *люлилюци* «хулиган», *хулихуту* «бестолковый», *хуанлихуанчжан* «суматошный» и т. п.

Данная модель пришла в литературный язык из пекинского диалекта, в котором существует еще ряд моделей образования интенсивных (обычно негативно оценочных) прилагательных путем присоединения или вставки

незначащих элементов, например, *суаньбуцзила ды* «[очень] кислый», *хулибату ды жэнь* «бестолочь (о человеке)», *кулабацзи* «[очень] горький», *шалигуацзи ды* «дурацкий».

Помимо рассмотренных истинных повторов, в китайской речи очень часто встречаются смысловые повторы, т. е. употребление в пределах одной описательной формы двух синонимичных или принадлежащих к одному семантическому полю единиц (типа русских *нежданно-негаданно*, *ни свет ни заря*, *беда-кручина*). Подобные повторы также обладают экспрессивностью в ее интенсивном аспекте. Так же, как и в русском языке, описательные формы, образованные смысловым повтором, зачастую являются устойчивыми сочетаниями, например, *бу хуан бу ман* «не торопясь» (букв. «не суетиться и не спешить»); *дун чжан си ван* «смотреть по сторонам» (букв. «глядеть на восток, смотреть на запад»); *да чуй да лэй* «устраивать шумиху» (букв. «громко трубить и громко стучать в барабан»).

Как видно из этих примеров, экспрессивный смысловой повтор односложных слов не бывает простым, контактным, он всегда осложнен дополнительными элементами. Контактный же смысловой повтор обычно представляет стилистически нейтральную копулятивную единицу с отношениями синонимии между компонентами (ср. *хуанчжан* «торопливо, поспешно», *чжанван* «смотреть»), однако такие единицы и служат в большинстве случаев материалом для смыслового повтора как стилистического явления. Степень устойчивости, узуальности описательных форм-редупликатов во многих случаях бывает трудно определить, поскольку очень часто носители языка создают такие формы для одноразового употребления, используя типовые модели повторов. При этом редуплицированные формы могут образовываться не только путем чередования компонентов сложного слова с дополнительными элементами и могут быть не только четырехсложными (хотя последние и являются наиболее распространенными), главной особенностью смыслового повтора как экспрессивного средства (помимо, естественно, наличия синонимичной пары) является количественный и качественный параллелизм двух его членов. Приведем ряд примеров смыслового повтора в речи.

Ши нянь цян-линь-дань-юй ды шэнхо, та ***у цы фу шан, лю чу гуацай*** «За одиннадцать лет, проведенных в огне сражений, он был много раз ранен» (букв. «пять раз получал ранения, в шести местах был ранен»); *Во лай дао Лунхэ дукоу, цзюй му и кань, чжи цзянь* ***бо лянь бо, лан чжу лан***, *шуайпайчжэ цяоби* «Я подошел к переправе на Лунхэ и бросил взгляд на реку, на ней были видны лишь волны, которые катились одна за другой и бились об утес». Здесь повторены синонимичные компоненты слова *болан* «волна» *бо* и *лан* (оба со значением «волна»), а также (контекстуально) синонимичные слова *лянь* и *чжу* «следовать друг за другом».

В качестве примера синтаксических средств экспрессии интенсивности можно назвать усиление утверждения или отрицания путем оформления высказывания в виде вопроса. Такие высказывания называются ложными, или риторическими, вопросами. Помимо логического усиления высказываемой мысли, они всегда передают отношение говорящего к собеседнику и предмету речи. Например, *Лао банцзы, ни гуань тамады шэмма сянь ши, ни шэнь шан е янян ма*? «А ты, старая колотушка, чего суешься, тоже хочешь схлопотать?»; *Наян бань, цзэмма нэн дайкай да бу цяньцзинь на?* «Как же можно при таком подходе к делу сделать большой шаг вперед?».

В подобных конструкциях часто употребляются вопросительные слова, которые приобретают усилительно-восклицательное значение. К таким словам относятся: *до*(*ма*) (*до цзао*! «как скверно!»); *шэмма* (*ни дун шэмма*! «что ты понимаешь!»); *на*(*ли*) (*нали мэнсяндыдао*! «где уж было об этом мечтать!») и некот. др.

Экспрессивны своей интенсивностью и высказывания, передающие отрицательное отношение говорящего к невозможности совершения действия, что усиливает его обязательность. Данное отношение может передаваться либо словом с соответствующим значением [например, *дэн та хуйлай, во бу цзоубянь та цай* ***гуай***! «вот он придет, уж я его отделаю!» (букв. «будет удивительно, если не изобью»)], либо отрицанием модального гла-

гола [*вомэнь фэй дадао муди бу кэ* «мы обязательно добьемся своего» (букв. «нельзя не добиться»)], либо интонацией. В последнем случае высказывание формально приобретает вид отрицания. Например: *дуаньсь паолоу во фей цзайла Ян мацзы!* «вот возьмем вышку, уж я прикончу конопатого Яна!» (букв. «не прикончу»); *ни хай бу тин во ды хуа, кань, во бу цзоу ни и дунь ды!* «смотри, не будешь слушаться, я тебе задам!» (букв. «не задам»). Формально отрицательный вид имеют и такие экспрессивные высказывания, в которых подчеркивается **не необходимость совершения действия**, а констатируется факт его совершения. Например: *хай бу ю шэньцзинь юаньцзы ли лай!* «опять во двор натекло [воды]!»; *та бу би ни чжидао ды до я!* «она же знает больше твоего!».

Образность. Как было отмечено выше, некоторые оценочные слова и прилагательные с удвоенными морфемами обладают еще одним компонентом экспрессивности — образностью, поскольку с их помощью объект номинации ассоциируется с другим предметом, который в большей степени обладает признаком, актуализируемым в конкретном высказывании. Вообще перенос значения является главнейшим фактором языковой образности [4]. Приводить дополнительные примеры переноса значений слов нет необходимости, тем более, что этот вопрос в известной степени разработан в рамках традиционной китайской стилистики «сюцы». Укажем лишь на случаи переносного употребления специфического для китайского языка (и ряда языков Юго-Восточной Азии) разряда слов — так называемых классификаторов, или счетных слов. Например, *гу ши ю и гэ гован, ю и пи тяосао* «в древности жил император, у которого была огромная блоха», где классификатор *пи*, обычно сочетающийся со словом *лошадь*, в целях экспрессивной гиперболизации употреблен со словом *блоха*.

Следует отметить, что вопросы, связанные с переносом значения в китайском языке, представляются весьма трудными. Это обусловлено слабой разработанностью таких лексикологических проблем, как соотношение полисемии и омонимии, прямого и переносного значений слов. Кроме образности, основанной на переносном употреблении слова, китайский язык характеризуется образностью, связанной с метафорической внутренней формой слова. Известно, что китайские слова образуются в большинстве корнесложением, т. е. являются семантически мотивированными. Среди них много слов с образной внутренней формой, например, *цюбо* «кокетливый женский взгляд» (поморфемно — «осенние волны»); *лунтоу* «водопроводный кран» («голова дракона»). Сюда же можно отнести образно-экспрессивные фразеологизмы типа *пэн динцзы* «нарваться на неприятности» (букв. «наскочить на гвоздь»); *цяо вэйба* «важничать» (букв. «задирать хвост»). Решение же вопроса об осознании говорящим семантической мотивированности слова, а следовательно, об образности, затрудняется рядом факторов: наличием стертых (словообразовательных) метафор [например, *тяо* «биться (о сердце)», прямое значение «прыгать»; *цзиньцяньбао* «леопард», букв. «золотомонетная пантера»]; не одинаковым осознанием носителями языка наличия образности в слове (это зависит от речевого опыта, общего культурного уровня). Кроме этого, для исследователя, не являющегося носителем языка и имеющего дело с языком преимущественно в письменной форме, имеются дополнительные трудности: наличие так называемых «заимствованных» иероглифов, в результате чего словарь может содержать псевдопереносные значения; иероглифическая запись и отсутствие фонетических изменений на стыках морфем, что приводит исследователя к соблазну этимологизирования и нахождению образности внутренней формы у тех слов, образность которых для носителя языка является стертой.

Тем не менее следует признать, что внутренняя форма китайского слова в большинстве случаев прозрачна для носителя языка, поскольку, как

---

[4] В данном случае речь идет об образности (и вообще об экспрессивности) парадигматической, т. е. такой, которая ощущается в результате сопоставления единиц-элементов определенных системных рядов, а не о синтагматической, которая выявляется в результате соположения единиц в линейной цепи, т. е. в речи.

признают исследователи, китайские «морфемы обладают способностью как бы „оживать“ и приобретать качество слов в некоторых стилях» [9]. Такое обстоятельство позволяет сделать вывод об еще меньшей скрытости внутренней формы китайского слова, чем русского и немецкого [5]. Подтверждением этой мысли служит и факт широкого распространения в китайской речи каламбуров, в основе которых лежит обыгрывание внутренней формы слов (примеры см. ниже).

Окказиональность. Окказиональность как фактор экспрессивности заключается в необычности какого-либо языкового явления, в несоответствии его узуальному, общепринятому употреблению. Окказиональное явление отсутствует в языковом сознании слушающего и поэтому, как и всякое отклонение от привычного, останавливает его внимание, воспринимается неавтоматически и в конечном счете создает у него определенный психологический «настрой». Естественно, при этом оно отражает подобное же эмоциональное состояние говорящего.

Окказиональность здесь понимается шире, чем это обычно принято, а именно как любое стилистически оправданное нарушение норм — структурно-языковых (орфоэпических, лексических, морфологических, синтаксических, словообразовательных) и стилистических (функционально-речевых). Поэтому окказиональным может быть не только «искусственное» слово, образованное по непродуктивной модели для одноразового употребления, но и употребление канонического (узуального) слова в лексическом окружении, не свойственном ему как с точки зрения его типовой лексической сочетаемости, так и в плане его функционально-стилевой отнесенности.

Граница между окказиональным и узуальным подвижна: в результате последующего многократного использования первоначально окказиональное явление перестает восприниматься деавтоматизированно и может стать узуальным и неэкспрессивным. Данный процесс постоянно наблюдается в публицистическом стиле, постоянное обновление экспрессивных средств свойственно и разговорно-бытовому стилю.

Окказиональность, как было отмечено выше, может быть структурно-языковой (общелитературной) и функционально-речевой. Рассмотрим вначале экспрессивные окказиональные явления первого из названных видов.

1. Создание окказионального слова каламбурного характера путем обыгрывания внутренней формы сложного канонического слова. В данном случае обычно одна из морфем канонического слова заменяется антонимичной морфемой и два слова сталкиваются в пределах непротяженного контекста. Например: *ю жэнь шо*, *чжэ ши иньмоу*, *вомэнь шо чжэ ши янмоу* «некоторые говорят, что это интриги (поморфемно — «темные замыслы»), мы же говорим, что это (перевод следующего окказионального слова затруднителен, поморфемно — «светлые замыслы»). Покажем для примера еще ряд пар канонических и окказиональных слов, не приводя целиком контекста: *синьвэнь* — *цзювэнь* «новости» («новые известия») — «старости» («старые известия»); *маоцзинь* — *маотуй* «идти напролом вперед» — «отступать напролом»; *цзисин* — *вансин* «память» («помнить» + «свойство») — «забывчивость» («забывать» + «свойство»).

Такой же семантический механизм лежит в основе окказионального обыгрывания клишированных сочетаний (например, *сои жэньмэнь ба «дачжай гун» цзяоцзо «дагай гун»* «поэтому „работу по-дачжайски“ в народе называют „работой спустя рукава“»), а также фразеологических единиц. В последнем случае замена компонента приводит к актуализации иносказания, лежащего в основе фразеологизма, и он понимается буквально. Приведем пример, в котором обыгрывается фразеологизм *пай ма пи* «подхалимничать» (букв. «бить лошадь по крупу»): *шэй чжи*, *пай ма пи пай цзай ма туй шан* «кто же знал, что попытка выслужиться обернется неудачей» (букв. «бил лошадь по крупу, а попал по ноге»).

---

[5] Имеется в виду мысль К. А. Долинина о меньшей скрытости внутренней формы русских и немецких слов по сравнению с французскими [10].

2. Обыгрывание внутренней формы сложного слова, неразложимого в современном языке, путем его разрыва и окказионального создания (точнее — воссоздания, оживления) двух односложных слов, значения которых непонятны без опоры на значение обыгрываемого слова, поскольку в современном языке эти единицы отдельно не употребляются. Например: *чжэгэ «моу» «цань» ды хао* «этот план разработан неплохо». Здесь обыгрывается слово *цаньмоу* «офицер штаба, советник». Смысл реплики понятен слушающему, поскольку она обращена именно к офицеру штаба.

3. Окказиональное употребление словообразовательных элементов в качестве слов. Например: *во чжи сянчжэ бие хоу чуань бай гуа, чжу гао лоу, дан гэ шэмма «цзя»* «я мечтал лишь о том, что после окончания учебы буду носить белый халат, буду жить в большом доме, стану каким-нибудь „истом“». Следует отметить, что степень экспрессивности в таких случаях зависит от степени грамматикализации соответствующего словообразовательного элемента в современном языке. Как и в других языках, словообразовательные элементы в китайском языке образуются из знаменательных слов, при этом соотношение лексического и грамматического в каждом элементе на данном этапе различно. Естественно, чем менее такой элемент обособился от исходного слова (например, *чжуи*), тем менее неожиданно его употребление в качестве слова, и, следовательно, оно менее экспрессивно, и наоборот.

4. Создание слов по непродуктивной модели путем произвольного удлинения нормативно конечного словообразовательного ряда. Например, *цзяошуцзян* «урокодатель (о плохом учителе)». В данном случае окказионально расширен ряд слов на *-цзян*, являющихся наименованиями лиц определенных ремесленных специальностей: *муцзян* «плотник», *шицзян* «каменщик», *тецзян* «кузнец» и т. д.

На степень экспрессивности в этом случае влияет степень семантической и стилистической однородности соединяемых морфем. Окказиональные слова, содержащие неоднородные в указанном плане элементы, нарушающие нормы лексической и стилевой сочетаемости, более неожиданны и экспрессивны. Приведем еще несколько примеров.

Юйши, цзай ганьбу хэ цюньчжун чжун пубянь цуньцзай и чжун «кунфучжэн» «И вот среди кадровых работников и в народных массах распространилась „богатствофобия“» (поморфемно — «бояться» + «богатство»+ + «болезнь»). Окказионализм создан по аналогии с медицинскими терминами, образованными по модели *кун* × *чжэн*, обозначающими различные виды фобий.

Сань пай суйжань ши «цяолянтун», дань е жунъи иньцы иньци сысян маби, жан шигу цзуань кунцзы «Хотя третий взвод и является „мостоведом“, однако и его хватил идейный паралич, и он пытался замять дело с аварией». Здесь окказионализм образован по аналогии со словами, обозначающими специалистов в какой-либо отрасли знания: *чжунготун* «китаевед», *жибэньтун* «японовед», *ваньшитун* «всезнающий человек, энциклопедист» и т. п.

К этому пункту примыкает окказиональное словоизменение, тем более что в некоторых случаях в китайском языке трудно провести границу между словообразованием и словоизменением. Окказиональное «формотворчество» заключается в том, что формальные элементы присоединяются к словам, нормативно не обладающим данной грамматической категорией, и тем самым слово временно приобретает качества другой части речи. Например, в следующей строке из сатирического стихотворения, в котором высмеиваются невежды (*вайхан*, поморфемно «вне» + «занятие, профессия»), наречие *вай* вербализовано и оформлено глагольным суффиксом *-сяцюй*: *сань нянь сы нянь «вай»сяцюй* «третий и четвертый годы продолжает невежествовать». Помимо окказиональной вербализации этот пример содержит и окказиональное словообразование, поскольку у *вай* нормативно нет значения «невежествовать», оно перешло к нему из слова *вайхан*, частью которого оно является.

Попутно отметим, что иногда слово, переходя в другую категорию, не получает формального изменения, но ставится в несвойственную ему син-

таксическую позицию. Например, адъективированное имя существительное (собственное) в позиции качественного сказуемого: *ни цзы цзю ши цянбао шан ды нэйгэ Сюй Бингуй, шоды бу хаотин, би нэйгэ Сюй Бингуй хай Сюй Бингуй* «твоя сестра точь в точь та самая Сюй Бингуй, о которой пишут в стенной газете, говорит грубо, она еще бóльшая Сюй Бингуй, чем сама Сюй Бингуй».

Выше было сказано, что экспрессивность на основе окказиональности может создаваться путем нарушения не только структурно-языковых норм, но и стилистических. Отклонение от стилистических норм заключается в употреблении единицы в несвойственном ей (либо в эмоциональном, либо в функционально-стилевом плане) контексте. Приведем ряд примеров экспрессивности подобного рода.

Чжэгэ Тан Юцай цзюцзин ши шэмма жэнь? Шанхай тань шан цзюэ у цзинь ю, чу лэй ба цуй ды — да хуньдань! «Кто же все-таки этот Тан Юцай? Единственный в своем роде на шанхайском побережье, замечательный... мерзавец!». Здесь экспрессивность создается столкновением двух противоположно окрашенных в оценочном плане единиц — фразеологизма *чу лэй ба цуй* «выдающийся, лучший из лучших» и слова *хуньдань* «мерзавец»; *Сяньцзай, даоди нэн бу нэн бушан чжэ и кэ, каньлай хай ши и чжуан «сюаньань»* «Можно ли сейчас дать консультацию, это, по-видимому, еще далеко не урегулированная проблема». Здесь в бытовом разговоре о малозначительном факте употреблено книжное слово *сюаньань* «нерешенное дело, открытый вопрос».

ЛИТЕРАТУРА

1. *Медведев П. Н.* В лаборатории писателя. Л., 1960, с. 29.
2. *Савченко А. Н.* Речь и образное мышление.— ВЯ, 1980, № 2, с. 26—27.
3. *Сяолохэфу М. А.* Бэй капкэнь ды чунюйди. Бэйцзин, 1950, с. 102.
4. *Драгунов А. А.* Исследования по грамматике современного китайского языка. М.— Л., 1952, с. 79—91.
5. *Вандриес Ж.* Язык. М.— Л., 1937, с. 148.
6. *Коротков Н Н.* Основные особенности морфологического строя китайского языка. М., 1968.
7. *Yuen Ren Chao.* A grammar of spoken Chinese. Berkeley and Los Angeles, 1968.
8. *Чжу Дэси.* Сяньдай ханьюй синжуцы яньцзю. —Юйянь яньцзю, 1956, № 1, с. 108.
9. *Солнцева Н. В., Солнцев В. М.* Теоретическая грамматика современного китайского языка (проблемы морфологии): Курс лекций. М., 1979, с. 63.
10. *Долинин К. А.* Стилистика французского языка. Л., 1978, с. 119.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1983

ФЕДОРОВ А. И.

НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СИБИРИ И ИХ РЕШЕНИЕ

Союз Советских Социалистических Республик — добровольное объединение равноправных народов — существует шестьдесят лет. Общая цель этих народов — создание общества материального благополучия и высокой духовной культуры. Единство целей и задач коммунистического строительства вызывает все возрастающее сближение между народами. обмен кадрами между республиками (что способствует увеличению многонационального состава населения в республиках), заимствование достижений в производстве, обмен опытом в производстве материальных и духовных ценностей. Это в свою очередь вызывает необходимость все возрастающего общения между народами нашего отечества на едином языке; при этом большинство национальных языков продолжает интенсивно развиваться; это особенно легко показать на лексике, где в последние десятилетия наблюдается увеличение количества слов преимущественно за счет заимствования из русского языка и калькирования семантики русских и (через посредство русского) иностранных слов. Активно развивается национально-русское двуязычие. Параллельно с двуязычием, т. е. использованием родного и русского языков в различных сферах общения, в 80-е годы XX в. идет процесс сближения национальных языков с русским языком, ставшим языком межнационального общения и средством освоения русской и мировой культуры. Длительность и глубина языковых контактов у разных народов нашей страны с русскими была разной. Она определялась конкретными внеязыковыми причинами, разной историей взаимоотношений с русским населением. В дореволюционный период царизм по отношению к народам России проводил политику великодержавного шовинизма, насильственного навязывания русского языка всем народам в качестве государственного языка. Из 130 наций и народностей дореволюционной России 19 имели свои литературные языки [1, с. 88], развитие которых всячески сдерживалось. Вот некоторые факты: в Казахстане, например, не было ни одной типографии [1, с. 24]; на узбекском языке издавалась одна официальная газета [1, с. 25]. На большинстве национальных языков литература не издавалась. Причиной этого была не только политика царизма, но и общая культурная и экономическая отсталость России.

В. И. Ленин, противопоставляя политике царизма в национальном вопросе политику РСДРП, выдвинул положение о равноправии наций и языков.

После Великой Октябрьской социалистической революции первым шагом в решении национального вопроса была «Декларация прав народов России», документ, опубликованный за подписью Председателя Совета Народных Комиссаров В. Ульянова (Ленина) от 2 (15) ноября 1917 года; в ней провозглашалось:

«*1. Равенство и суверенность народов России.*

2. Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства.

3. Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений.

4. Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России» [2].

В соответствии с этим документом стала строиться и языковая политика Коммунистической партии и Советского государства.

Но языковые процессы у разных народов Советского Союза проходили по-разному, что зависело от уровня развития культуры и языка, от численности народа, наличия письменности (или отсутствия ее), от его образа жизни и рода занятий, обычаев и др.

В 20—30-е годы идет процесс слияния мелких национальных групп в народности и нации: буковинцы, верховинцы, гуцулы, лемки, казаки, пинчуки, полещуки, русины, говорившие на диалектах украинского языка, в процессе культурной революции консолидируются в составе украинской социалистической нации; сваны, мегрелы — в составе грузинской нации. В Сибири до 40-х годов шел процесс консолидации качинцев, сагайцев, койбалов, бельтир, а также абаканских, минусинских и ачинских тюрков с хакасами; в результате образовалась хакасская народность; ойроты, теленгиты, телеуты, челканцы объединились в алтайскую народность.

В лингвистической литературе добровольный переход в общении малых народов и групп людей, оказавшихся в иноязычной среде, на другой язык принято называть самоассимиляцией. Он был предсказан В. И. Лениным как результат единения трудящихся, создающих новый общественный строй. В. И. Ленин считал такой языковой процесс прогрессивным явлением: «Пролетариат... приветствует всякую ассимиляцию наций за исключением насильственной или опирающейся на привилегии» [3].

Освоение литературных языков соседних народов (и главное — русского языка) малыми народами и этническими группами в 30—40-е годы существенно помогло вовлечению населения национальных районов в социалистическое производство, в политическую и экономическую жизнь страны, позволило успешнее осуществлять школьное образование и подготовку специалистов для народного хозяйства.

Вместе с тем в соответствии с ленинской национальной политикой в это время создавались письменности и литературные языки на национальной основе для многих народов нашей страны с целью развить национальную по форме и социалистическую по содержанию культуру народов Советского Союза. Но создать их для каждой народности за короткое время не было возможности, а в ряде случаев, ввиду конкретных условий жизни народа, в этом не было и необходимости. Наиболее малочисленные народности и этнические группы, жившие на одной территории с большим народом, стихийно принимали в качестве межнационального и литературного язык этого народа. В Дагестане таким языком стал аварский; в Таджикистане, для ягнобцев и всех ираноязычных народностей Памира — таджикский. Малочисленность этих народностей не позволяла им создать свой литературный язык. Если бы он был создан, функции его оказались бы предельно ограничены. Это понимали многие работники просвещения и деятели культуры. Не стали создавать письменность на своих языках карелы, вепсы, ижорцы и другие народы, судьбы которых тесно переплелись с судьбой русского народа. Они приняли в качестве литературного русский язык. Разумеется, не только эти народы были тесно связаны с русскими. Большинство народов нашей страны имеет исторические связи с русскими, что обусловило и языковые контакты. Результаты таких связей оказались разными в зависимости от типологии контактирующих языков, длительности и глубины исторических связей народов с русскими.

Особое место в языковом взаимодействии занимают украинско-русские и белорусско-русские языковые связи.

Украинцы занимают второе место по численности населения в СССР. Основная часть этого большого народа живет на Украине, где много и русского населения (особенно городского); значительное количество украинцев живет в других республиках, и больше всего — в РСФСР. Украинцы имеют свои исторически сложившиеся самобытные национальные культуру, литературу и фольклор. И тем не менее значительная часть городского населения Украины в общении активно пользуется русским языком. Этот вид русского языка, употребляемого в городском просторе-

чии Украины, отличается своеобразием: его можно условно назвать русским просторечием городов Украины. В произношении в нем проявляются особенности украинской артикуляционной базы, украинская интонация и мелодика; в лексике — отмечается наличие многих украинских слов. Вместе с тем значительная часть украинской интеллигенции одинаково активно владеет и русским, и украинским литературными языками, что можно назвать классической формой двуязычия.

Еще шире и активнее пользуется русским языком городское население Белоруссии и Украины. Причины последнего обстоятельства многообразны. Это, прежде всего, близкое родство языков и культур братских народов, развившихся из древнерусской народности; близость их исторических судеб, что привело к воссоединению этих народов в пределах одного государства; единство целей этих народов, освободившихся от царизма и раньше других народов нашей страны ставших на путь социалистического строительства [1].

Иначе складывались взаимосвязи языков других народов нашей страны (народов Кавказа и Средней Азии) с русским языком. Независимо от конкретных исторических и культурных контактов этих народов с русскими для каждого народа русский литературный язык в наше время стал средством межнационального общения и средством освоения русской и мировой культуры и науки. Этим вопросам посвящены многие монографические работы и статьи, опубликованные в последние десятилетия [2].

Своеобразно складывались связи языков малых народов Севера и Сибири с русским языком. Эти контакты мало изучены. Поэтому на этом вопросе целесообразно остановиться подробнее.

Русский язык с самого начала его бытования в Сибири был не литературным, а диалектным. Литературно-письменный язык стал распространяться в Сибири в конце XVII в., в период развития русского национального государства с его органами власти и управления. Он существовал, главным образом, в форме делового стиля. Поэтому аборигенное население, вступившее в контакт с русскими, осваивало русское просторечие и диалектную, главным образом, севернорусскую, речь. Массовое изучение русского литературного языка народами Сибири началось в 20-е годы нашего столетия. Оно осуществлялось через школьное и специальное образование, а также в процессе все более широкого вовлечения национального населения Сибири в социалистическое производство. Параллельно с этим процессом у народов Сибири шел другой — быстрое развитие литературных языков на базе устной родной речи в соответствии с принципами ленинской национальной политики. В 30-е годы создавалась письменность для многих языков народов Севера и Сибири, которые до этого периода ее не имели (манси, ханты, нанайцы, ненцы, эвенки, чукчи и др.). Появление письменности у народов Севера и Сибири стало необходимой основой для формирования литературных языков, что существенно расширило функции национальных языков этих народов. Родной язык у многих из них стал не только средством устного общения в семье, быту, в труде, но и языком художественной литературы, публицистики, языком школьного образования. Это в свою очередь вызывало духовный подъем у носителей этих языков, формировало у них осознание своей принадлежности к соответствующему этносу, пробуждало и утверждало национальное самосознание. Но процесс развития литературно-письменных языков у малых народов Сибири был диалектически противоречивым.

Как известно, литературный язык — это нормированный, кодифицированный язык и, будучи предназначенным для развития национальной культуры и освоения достижений русской и мировой культуры, он должен иметь достаточный для этого арсенал языковых средств, способный передать всю совокупность понятий, которыми пользуются современные

---

[1] См. работы И. К. Белодеда, В. В. Ильенко, М. И. Куличенко.

[2] См. социолингвистические работы Ш. Р. Рашидова, Ю. Д. Дешериева, М. И. Исаева и др.

цивилизованные нации. Малые народы Сибири, Севера и Дальнего Востока до Октябрьской революции развивались в изоляции от европейской культуры, их образ жизни определялся традиционными видам занятий, обусловленными характером местной географической среды. Как в свое время верно заметил К. Маркс, человек дает названия прежде всего предметам, полезным в его жизни и деятельности [4]. Поэтому в этих языках много слов, отражающих видовые местные понятия: многие десятки названий видов снега в зависимости от времени года, состояния погоды; большое количество слов — видовых названий зверей и животных (особенно много названий оленя) в зависимости от возраста, пола, цвета шерсти, физического состояния и т. п. Обладая богатством видовых названий местных реалий, эти языки нередко имеют вместе с тем относительно небогатый словарный состав. Труднее сравнить арсенал синтаксических средств языков малых народов с европейскими языками. Можно, однако, утверждать, что синтаксис современных развитых языков более разнообразен, гибок. Он больше удовлетворяет целям реализации речевой интенции художников слова, публицистов, ученых.

Все сказанное вовсе не означает, что языки малых народов непригодны для отражения понятий современной науки и культуры вообще. Любой язык в принципе можно развить до такого уровня, при котором он будет пригодным для выражения всей совокупности понятий, свойственных мышлению цивилизованных наций. Но едва ли целесообразно в современных социальных условиях формулировать такую задачу во всех случаях.

В современных условиях жизни народов Советского Союза темпы сближения их экономики и культуры существенно опережают возможности развития их языков. Единство целей этих народов, создающих новое общество, переход их к новым видам труда и общественной деятельности — все это требует знания русского литературного языка, через посредство которого и осуществляется освоение новых понятий. Поэтому в 30-е годы для многих малочисленных народов создание письменности и литературных языков оказалось нецелесообразным. Больше того: в последующие десятилетия из сорока народов, получивших письменность на родном языке, двадцать перешли к обучению детей в школе на литературных языках других наций (главным образом, на русском). Из-за малочисленности ительмены, коряки, удэгейцы, нанайцы и др. народы не смогли создать свою художественную литературу, публицистику, что в свою очередь сдерживало развитие языков этих народов. В этих условиях неизбежен был переход обучения после начальных классов на русский язык, что существенно расширило его функции. Он стал для молодого поколения национальных окраин не только средством межнационального общения, но и языком мировой культуры и науки, передовой идеологии, позволив тысячам молодых людей национальных районов Севера и Сибири «в просвещении стать с веком наравне». Полифункциональность русского литературного языка способствовала его быстрому и широкому распространению среди народов Советского Союза.

Каждый человек любой национальности, знающий русский литературный язык, может приобщиться к русской культуре, освоить классические произведения русской литературы и переведенные на русский произведения иностранных авторов; получить сведения (из газет или через радио и телевизионные передачи) о событиях в мире. С другой стороны, выдающиеся произведения советских национальных литератур становятся достоянием иностранных читателей прежде всего через русский текст или в переводе с него. Мировой известностью пользуются произведения Ч. Айтматова, написанные на русском языке. Такие крупнейшие национальные поэты, как Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Кайсын Кулиев, стали известны европейскому читателю через переводы на русский язык.

Оценивая значение русского литературного языка в жизни народов нашей страны, Ш. Р. Рашидов справедливо утверждает: «Народам сегодня необходимы устойчивые мосты в большой мир, который всегда богаче, шире, многообразнее культуры каждого отдельного народа» [5].

Нет никаких оснований оспаривать тот факт, что освоение русского литературного языка народами Советского Союза — явление прогрессивное. В современных условиях сбывается предвидение В. И. Ленина о том, что ход общественной жизни приведет к сближению народов России, к тесному общению и братскому единству, к добровольному изучению русского языка [6].

Но процесс перехода отдельных групп национального населения на русский язык (как показывает социолингвистическое обследование в Сибири) проходит неравномерно в зависимости от глубины и длительности контактов национального населения с русскими, от компактности его расселения и, главное, от возраста носителей национальных языков. Эта неравномерность в освоении русского языка обусловлена и другими факторами: сохранением традиционно национальных видов труда (оленеводство, охота, рыболовство) или переходом к новым видам деятельности.

Поскольку реальным фактом в жизни народов Сибири стало массовое двуязычие, перед лингвистами встала задача изучить конкретно виды двуязычия, сферы употребления родного и русского языков и их функциональное размежевание. Выяснить языковую ситуацию у народов Сибири в 60-е годы попытался В. А. Аврорин при участии большой группы филологов Сибири, применяя метод анкетирования. Результаты этого социолингвистического обследования позволили внести существенные коррективы в общее представление о языковой ситуации у народов Сибири. С тех пор прошло около двадцати лет. Языковые процессы у народов Севера и Сибири продолжали развиваться. Лингвосоциологические экспедиции сотрудников Института истории, филологии и философии СО АН СССР последних лет в некоторые районы Сибири показывают, что в знании родного и русского языков у разных возрастных групп нивхов, нанайцев, кетов, селькупов и др. наблюдаются значительные различия. Дети и молодые люди хорошо владеют русским, почти не зная родного языка; старшее поколение людей пользуется родным языком. Частота и длительность употребления русского языка в различных ситуациях общения и редкое обращение к родному языку определяют в сознании молодых людей установку на русский язык: он употребляется в функции языка школьного и специального образования, производства, средства получения сведений о событиях в жизни страны и за ее пределами. Поскольку любой язык, будучи психофизическим явлением, осваивается и утверждается через узус, активное употребление русского языка и редкое пользование родным языком приводит к забвению или переходу в пассивный запас слов, словоформ, синтаксических моделей родного языка в сознании его молодых носителей. И, естественно, если молодое поколение людей из малых народов Сибири и Севера не унаследует язык предков, он станет мертвым языком.

Далеко не все малые народы Севера и Сибири переживают процесс самоассимиляции. Так, например, негидальцы в Хабаровском крае сохраняют родной язык в условиях бытового общения и в производственной деятельности; культурно-просветительская работа и школьное обучение осуществляются на русском. Сохраняют и развивают родной язык долгане, для которых усилиями новосибирских лингвистов Е. И. Убрятовой и В. М. Наделяева два года назад была разработана письменность.

Наблюдается общая тенденция в развитии языков народов Советского Союза. Она определяется сближением экономики и культуры советских народов, становлением новой исторической общности — советского народа. Чтобы определить языковую политику, общую и конкретную (по отношению к каждому малому народу), лингвисты должны учитывать реальную языковую ситуацию в данное время, видеть общий путь и частные тропинки в движении языков, исходя из известного марксистского положения: «История есть не что иное, как последовательная смена отдельных поколений, каждое из которых использует материалы, капиталы, производительные силы, переданные ему всеми предшествующими поколениями; в силу этого данное поколение, с одной стороны, продолжает унаследованную деятельность при совершенно изменившихся условиях, а

с другой — видоизменяет старые условия посредством совершенно измененной деятельности» [7]. В соответствии с этим положением строится и языковая политика по отношению к малым народам Севера и Сибири, т. е. диалектически гибко, с учетом культурного наследия прошлых поколений, отраженного в языке, и новых потребностей людей в изменившихся условиях их жизни.

Процесс сужения сферы применения родного языка, сокращения его функций и переход на двуязычие у малых народностей Севера и Сибири, таким образом, обусловлен социальными факторами. Он носит поэтому необратимый характер. Поскольку родной язык жив и продолжает служить (пусть даже в узкой, семейно-бытовой, сфере общения), его существование следует поддерживать, чтобы, прежде всего, избежать препятствий (дисгармонии) в общении людей старшего и молодого поколений данной народности, для утверждения их национального самосознания, а также для накопления сведений на этом языке, имеющих культурную и научную ценность.

В специальном постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему экономическому и социальному развитию районов проживания народностей Севера» предусмотрен комплекс взаимосвязанных решений, в числе которых «Академии Наук СССР рекомендовано продолжить лингвистические и социологические исследования по проблемам развития письменности на языках народностей Севера. Министерству просвещения СССР, Академии педагогических наук СССР, Министерству высшего и среднего специального образования СССР, Государственному Комитету СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Совету Министров РСФСР обеспечить разработку учебных программ, подготовку и выпуск учебников, учебно-наглядных пособий, словарей для общеобразовательных школ, педагогических училищ и институтов и наглядных пособий и методических указаний для дошкольных учреждений...» [8].

Для практической реализации этих решений необходимо объединить усилия лингвистов страны, ученых-языковедов Ленинграда, Москвы и Новосибирска, а также тех преподавателей лингвистических кафедр вузов Сибири и Дальнего Востока, которые занимаются языками аборигенного населения Севера. С этой целью целесообразно создать перспективные группы лингвистов под руководством ведущего специалиста для изучения языка каждой народности Севера, чтобы они, эти группы, могли использовать имеющиеся лингвистические исследования и, учитывая современное состояние языков народностей Севера, поставить перед собой новые конкретные задачи.

Первоочередной задачей лингвистов и органов просвещения в современных условиях является содействие развитию двуязычия, так чтобы молодое поколение национальных районов Севера и Сибири в совершенстве владело бы родным и русским языками, что способствовало бы восстановлению гармонии общения людей разных поколений и вместе с тем позволило развивать культуру этих народов.

Двуязычие в национальных районах Сибири развивается в двух основных формах: 1) язык народности и усвоенное через непосредственное общение русское просторечие с элементами диалектной речи (главным образом, старожильческой); 2) язык народности и русский литературный язык, освоенный через школьное и специальное образование, активное чтение литературы и публицистики. Разумеется, лингвисты должны содействовать утверждению второй формы двуязычия, создавая нормативные словари-справочники и грамматики, пособия по культуре национальной и русской разговорной речи. Пока что для этого сделано мало.

Двуязычие сибирских народностей в зависимости от степени владения родным и русским языками может быть «совмещенным» (compound) или соотносительным» (coordinate). В первом случае имеет место совмещение фактов двух языков (явление интерференции); во втором — мысль целиком воплощается средствами одного языка. Специалисты (лингвисты, психолингвисты, методисты) должны детально изучить типологию языков

в условиях двуязычия, чтобы разработать рекомендации для регулирования соответствующих языковых процессов. Эта тема на языковом материале народов Сибири остается неизученной. И пока еще нет лингвистов, подготовленных для такого исследования.

Поскольку язык каждого народа, большого или малого,— это важнейший исторический источник, встает задача подробного описания всех уровней каждого языка народностей Севера и Сибири. И прежде всего необходимо обратить внимание на исчезающие языки. Для этой цели нужно точно и подробно зафиксировать эти языки в виде множества текстов, особо выделив из их числа фольклорные. Последние необходимо представить в магнитофонной записи. Но для лингвистического описания языков сохраняют свое значение и фонетические или фонематические записи текстов. С учетом современного уровня развития фонологии и экспериментальной фонетики необходимо усовершенствовать орфографию тех языков народов Севера и Сибири, орфография которых по разным причинам оказалась несовершенной, неточно отражающей фонетическую систему языка.

Пока предпринята попытка усовершенствовать орфографию нанайского языка. Последовательное совершенствование орфографии других языков этого региона потребует координации усилий филологов всех причастных академических учреждений и вузов, где ведется изучение языков народов Сибири.

Особенно важной и вместе с тем огромной по масштабу работ является проблема создания максимально полных словарей языков этих народов. Создание таких словарей может стать реальностью при широком вовлечении в подготовительную работу представителей интеллигенции, знающих язык своей народности.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ханазаров К. Х.* Решение национально-языковой проблемы в СССР. М., 1982.
2. Советское содружество народов. М., 1972, с. 14.
3. *Ленин В. И.* Критические заметки по национальному вопросу.— Полн. собр. соч., т. 24, с. 133.
4. *Маркс К.* Замечания на книгу А. Вагнера «Учебник политической экономии».— *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 19, с. 377.
5. *Рашидов Ш. Р.* Язык нашего единства и сотрудничества. М., 1979, с. 22.
6. *Ленин В. И.* Нужен ли обязательный государственный язык? — Полн. собр. соч., т. 24, с. 293—295.
7. *Маркс К., Энгельс Ф.* Немецкая идеология.— Соч. 2-е изд., т. 3, с. 44—45.
8. Правда, 1980, 26 февр.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1983

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

МАРКОВ В. М.

К ИСТОРИИ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ГЛАСНОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

1. Показания Пантелеймонова евангелия XII в. (ГПБ, Соф. 1) (далее — ПЕ), касающиеся истории редуцированных гласных, позволяют продолжить те наблюдения, которые были начаты на материале Путятиной минеи (далее — ПМ), Остромирова евангелия (далее — ОЕ) и других книжных текстов, относящихся к XI в. Главное в них — это выяснение сущности взаимодействия исконных глухих и так называемых неорганических гласных в процессе все большего ослабления фонематической значимости звуков, приобретающих характер нулевой категории в их системных отношениях с гласными полного образования.

Неорганические гласные, как известно, явились результатом тенденции формирования определенной модели славянского слога, тенденции, неравномерно проявлявшейся в различных стечениях согласных на протяжении ряда веков. Эта тенденция продолжала проявлять себя и тогда, когда создавались древнейшие славянские тексты, причем чем более отчетливо сказывалось присутствие неорганических гласных, тем чаще реализовались попытки избежать той редукции, которая способствовала разрыву актуальных этимологических соответствий. Иными словами, есть все основания думать, что по мере приближения к нашему времени из двух путей преодоления сложностей, связанных с группами согласных, все большее значение приобретал путь развития неорганической гласности, обеспечивающий сохранение соседствующих согласных.

Будучи проявлением собственно фонетической необходимости, неорганические гласные далеко не всегда осознавались как принадлежность фонемной структуры слова, несмотря на их большее или меньшее акустическое сходство с исконными редуцированными гласными. Сходство подтверждается, во-первых, показаниями древних текстов, передающих эти различные по своему происхождению звуки с помощью одних и тех же графических приемов. Во-вторых, как исконные, так и неорганические «глухие» в ряде случаев позволяют говорить об их одинаковом отношении к тем тенденциям, которые характеризуют древнейший период истории русского письма. Наконец, в-третьих, и те, и другие, «проясняясь» в так называемой сильной позиции, становятся гласными *о* и *е*. Все эти обстоятельства уже сами по себе достаточно выразительны, для того чтобы признать принципиально несостоятельным (по крайней мере, по отношению к древнерусской поре) изолированное рассмотрение истории исконных глухих вне их связи с неорганической гласностью, сыгравшей, как можно думать, весьма значительную роль в их дальнейшей судьбе.

Лишь при достаточном внимании к неорганической гласности могут быть поняты такие процессы, как образование «тематической» флексии в формах 3-го лица множественного числа атематических глаголов, сохранение определенных сочетаний согласных в одних языках и диалектах и их редукция в других, появление параллельных образований типа *семьи* и *седьмьи*, развитие разнохарактерных случаев полногласия, становление новых предложно-приставочных еровых форм, а также многое другое. Вместе с тем лишь при учете показательных противоречий, характеризующих природу неорганических гласных, может быть понята

та исключительно пестрая и представляющаяся во многих отношениях загадочной картина, которая раскрывается перед исследователем, пытающимся разобраться в закономерностях употребления букв ъ и ь.

Если допустить, как это делают многие, что отсутствие буквы является несомненным свидетельством отсутствия гласного, то останутся непонятными такие, например, написания, как *египтъ*, нередко выступающие наряду с написаниями типа *египьтъ*, которые могут быть отмечены не только в пределах одного и того же целостного текста, но и на протяжении нескольких строк. Последнее написание согласуется с современным *Египет*, и, естественно, было бы странно относиться с недоверием к раннему ь, тем более что при отсутствии сонанта о позднем появлении гласного, разумеется, говорить не приходится. Если же допустить, что в сочетании *-пт-* действительно развивался неорганический гласный, то как при этом понять очень ранние случаи отсутствия ъ в таких, например, написаниях, как *птица*, которые также выступают наряду с написаниями, содержащими ъ? Очевидно, то общее, что объединяет указанные формы в период существования глухих,— это не отсутствие, а присутствие гласного, хотя, в силу разных причин, и не отличающегося той фонематической определенностью, которая делала бы его восприятие устойчивым и четким.

Важно подчеркнуть, что в некоторых случаях мы получаем возможность говорить об особых условиях, которые способствовали проявлению ослабленной в фонематическом отношении гласности на письме. В частности, это касается переноса или, шире, явлений, наблюдающихся в окончаниях строк и связанных с необходимостью осмысленного деления на слоги. Впрочем, прежде чем говорить об имеющихся в нашем распоряжении данных, необходимо напомнить о том ошибочном понимании этих явлений, которое долгое время препятствовало серьезному изучению весьма интересных с точки зрения исторической фонетики фактов. И. В. Ягич, рассказывая о содержании своих лекций, писал: «Я обращал внимание на палеографический прием древних памятников, по которому, прерывая слово и перенося часть его в следующую строку, любили в конце предыдущей строки после согласной ставить еще ъ или ь» [1]. Это загадочное пристрастие к указанным буквам впоследствии было истолковано как следование некоему правилу, не имеющему никакого отношения к реальной фонетике слова. Отсюда та странная небрежность в оценке «неожиданных» буквенных знаков, приходящихся в рукописях на перенос, которая, к сожалению, наблюдается нетолько тогда, когда дело касается источников сравнительно поздних, не отражающих древнерусских силлабических норм, но и тогда, когда речь идет об источниках XI—XII столетий, красноречиво свидетельствующих о сохранении редуцированных гласных. При таком положении вещей необходимо еще раз сосредоточить внимание на упомянутых фактах, тем более что избранный для исследования памятник позволяет, как кажется, обнаружить немало свидетельств того, что перенос в древних текстах происходил по слогам, требуя, таким образом, известной сосредоточенности на слогоделении и повышенного внимания не только к этимологически оправданным, но и к более или менее развитым неорганическим гласным.

Если бы дело касалось лишь графики, то, конечно, в окончаниях строк можно было бы ожидать ъ и ь во всех сочетаниях согласных, и, в частности, в таких распространеннейших сочетаниях, как *-ст-* и *-ск-*, встречающихся во многих категориях слов. Между тем ничего подобного мы не видим. Как правило, в случаях переноса фиксируются гласные в таких сочетаниях согласных, в которых так или иначе обнаруживается наличие гласного и независимо от рассматриваемых условий. При решении вопроса о фонетической обусловленности соответствующих написаний этот факт, разумеется, может быть признан достаточно значимым, особенно если учесть, что с ним согласуются показания текстов, иногда допускающих «нарушение» орфографической нормы, т. е. представляющих отдельные случаи не «гласного», как обычно, а «согласного» окончания строк. К числу таких текстов принадлежит и исследованный текст ПЕ, позволяющий присмотреться к явлению, вызывающему большой интерес.

Прежде всего необходимо отметить отсутствие случаев переноса на одиночном согласном при написании гласной на следующей строке, т. е. случаев вроде *вод-ити* или *съб-оръ*. Если же строчка кончается на букву согласного звука, то гласный (как редуцированный, так и полный!) не обозначается вообще, что, естественно, должно пониматься как случайная недописка, возможная лишь в случае ориентации на реальное «слоговое» звучание слова. Перед нами, таким образом, яркий факт, объединяющий разнотипные гласные и тем самым подтверждающий действительное существование тех гласных, которые по тем или иным соображениям могли казаться «сомнительными» при рассмотрении древнерусского материала. Вот те примеры из текста ПЕ, которые имеются в виду.

1. Случаи опущения букв, обозначающих гласные полного образования: *прок-жгнааго* (173), *архиереи ж-* (вм. *же*, 178об.), *въторн-къ* (209об), *премоудр-стию* (219об), *пр-дѣлѣхъ* (223); здесь же может быть отмечено и написание *смок-вьница* (162 об), так как данное слово уже с древнейшей поры (и это в интересующем нас отношении особенно показательно) представляет чередование ъ и о: *смокъ-вьница* (162об), *смокъвьницоу* (112, а также 125, 162об), но — *смоковьница* (165об), *смоковьницю* (132об три), *смоковьницею* (4 два); ср. в ОЕ *смокъвьниця* (146об), но — *смоковьницу* (289), *смоковьницею* (7), *смоковьници* (289).

2. Случаи опущения букв, обозначающих исконные редуцированные гласные: *ръп-таахоу* (114об, ср. *ръпътаахоу* 95об, а также *ръпътахуть* 12, *ръпъщѣте* 12, *ръпътъ* 15), *оум-ремъ* (159, ср. *оумьреть* 12об, 24об, 53, 56, 79, 82об, 123об, 135, 160 два, 160об и др.), *д-вою* (139, ср. *дъвою* 16, 32об и т. д.), *съм-ртьнѣи* (223об, ср. *съмьртьно* 198об и др.).

3. Случаи опущения букв, обозначающих неорганические гласные как в славянских, так и в заимствованных словах: *мат-фановъ* (86об два, ср. *матъфана* 215об), *талан-тъ* (170об два, ср. *таланътъ* 62, а также 82 два, 170об), *ан-глъ* (217, ср. *ань-гла* 220об, а также 49об, 165об, 213), *рав-ви* (10, ср. *равъви* 4, а также 167), *зем-ли* (27об, ср. *земь-ли* 24об, а также 5об два, 70), *прием-леть* (118, ср. *приемь-леть* 128, а также 75), *възлюбленыи* (222, ср. *възъ-ложиша* 194об и др.), *въвьр-жеть* (82, ср. *въвьрьжеть* 34 и др.).

Характерно, что писец, перенося слово по слогам и обозначая при этом слогообразующий гласный, порою пытается «исправить» написанное, коль скоро с точки зрения принятых норм написание буквы в определенных условиях может считаться ошибочным. Так, например, он стирает кончающую строку букву ь в слове *помышь-ляете* (24), хотя забывает это сделать в другом аналогичном примере: *помышь-ления* (53об). Следует также отметить, что именно окончания строк в ряде случаев допускают написание *о* или *е* вместо ъ или ь, в чем нельзя не увидеть свидетельства осознаваемой гласности: *ано-дреа* (20об), *нефо-талимля* (223), *мо-ного* (37, а также 5об), *нбсе-ныя* (60, 125об) и т. д. Наконец, при переносе на согласный могут проявляться такие яркие восточнославянские особенности, как первое полногласие, объясняющее нам, например, написание *ж-ребия* (190). Нужно ли говорить, что при наличии перечисленных данных у исследователей многих текстов древнейшей поры есть все основания видеть в заключающих строку написаниях с ъ или ь отражение не всегда согласуемого с орфографией живого звучания слова и рассматривать окончания строк как источник достаточно ценных дополнительных сведений по истории русского языка.

II. Неорганические гласные в структуре заимствованной лексики важны для нас как аналог славянских глухих и вместе с тем как свидетельство развития гласности в определенных стечениях согласных. В отношении заимствований с интересующей нас точки зрения как будто бы нет разногласий: необходимость сохранения их консонантной структуры неизбежно вызывала появление гласности в тех фонетических условиях, которые в том или ином отношении противоречили требованиям древнеславянской произносительной нормы. «Кроме давних славянских ъ, ь,— пишет А. М. Селищев,— в системе старославянского языка были ъ, ь

такие, которые появились при передаче заимствованных слов,— появились для избежания закрытости слога и некоторых групп согласных... Написание ъ, ь в передаче этих слов указывало действительно на редуцированные гласные, которые затем разделяли судьбу, одинаковую с ъ, ь более давнего происхождения» [2]. Об этом же писали и многие другие языковеды-слависты, отмечая сам факт появления «новых» глухих. При наличии подобных замечаний тем более удивительно, что в работах по исторической фонетике русского языка об этих гласных, как правило, вообще не говорится ни слова. Исследователи, имея дело с показательными частностями вроде первого полногласия, словно бы не замечают существования важнейшей проблемы неорганической гласности, не задумываясь над причинами происхождения целого ряда фонетических процессов. Поэтому оставлены без внимания и случаи развития вставочных гласных в заимствованных словах, если не считать традиционно упоминаемых образований *скоропия* или *мороморъ*, напоминающих в своем развитии об аналогичном изменении раннего сочетания *tort*.

Прежде чем перейти к рассмотрению показаний Пантелеймонова евангелия, необходимо напомнить те общие закономерности, касающиеся качества развивающихся звуков, которые с наибольшей отчетливостью раскрываются при изучении именно заимствованных слов. Речь идет о тенденции прогрессивно-ассимилятивного развития гласных, т. е. об исходной зависимости вставочного гласного от характера гласного предыдущего слога: если в этом слоге присутствует гласный непереднего ряда, такого же качества гласный развивается и между согласными, на первых порах, по-видимому, независимо от характера гласного последующего слога. В дальнейшем эта зависимость может обнаружить себя в появлении произносительных вариантов, порождаемых, когда это возможно, дальнейшей историей соответствующих образований. Отсюда те редкие различия, которые наблюдаются между отдельными памятниками, в общем, не допускающими смешения знаков глухих. Так, в ПМ имя *андрѣя* постоянно пишется с ь, тогда как в ПЕ в соответствующем написании представлен лишь *ъ*. Ср. в ПМ: *аньдрѣя* (79, 79об, 81об), *аньдрею* (87об); в ПЕ: *анъ-дрѣа* (38), *анъдрѣя* (63, 84об), *анъ-дрѣи* (136об), а также *ано-дреа* (20об). В Чудовской псалтыри находим *еуанъгелии* (2), тогда как в ПЕ *еванъ-гѣлие* (175об) и т. д. Не повторяя сказанного ранее в нашей монографии [3, с. 146—157 и др.], укажем лишь *поньтъскоуоумоу* (221), которому в русских летописях соответствует *понетскии* — свидетельство жизненности отмеченных фонетических отношений.

Очевидно, предстоит еще уточнить те условия, в которых с большей или меньшей степенью последовательности осуществлялось развитие гласного еревого типа при наличии непереднего гласного в предшествующем слоге. Более прозрачными оказываются те обстоятельства, которые определяют сравнительно редкое возникновение гласного типа ъ на месте ожидаемого гласного переднего ряда: здесь многое определяется присутствием в последующем слоге твердых переднеязычных согласных, т. е. наличием тех конкретных фонетических условий, которые, как известно, сыграли значительную роль в фонетическом развитии ряда славянских языков. Следовательно, при наличии указанных согласных также оказывалось возможным появление произносительных вариантов, причем различные тексты по-разному отражали это явление, что, по-видимому, позволяет говорить о диалектном своеобразии наблюдаемых чередований. ПЕ принадлежит к числу источников, в общем свидетельствующих о возможности совместного существования указанных огласовок, что проявляется, между прочим, как в написании славянских образований (см. ниже), так и в передаче заимствованных слов.

Яркой иллюстрацией к сказанному может послужить огласовка существительного *кинсъ* и прилагательного *кинсьныи*. В соответствии с написаниями ОЕ, где неорганический гласный обозначается либо надстрочным значком, либо ь, в ПЕ выступает написание *кинисъ* и, соответственно, *кинисьноую*. Ср.: *отъ кыихъ приемлють дани или кин'съ* (ОЕ, 72), *достоино ли есть дати кин'съ кесареви* (ОЕ, 78), но — *отъ кыхъ приемлють*

дани или кинисъ (ПЕ, 56об), *достоить ли кинисъ дати кесареви* (ПЕ, 82об); *покажѣте ми цяту киньсьную* (ОЕ, 78), но — *покажѣте ми златицоу кинисьноую* (ПЕ, 68). Образование *кинисъ* принадлежит к разряду явлений, которые свидетельствуют о наиболее последовательной реализации принципа прогрессивно-ассимилятивного развития неорганических гласных, т. е. о «полногласии», отражающем один из путей освоения заимствованной лексики в условиях непременной открытости слога. Сюда относятся не только упомянутые формы вроде *мороморъ*, но и такие образования, как *харатия*, *манатия*, *инидиктъ*, *геремань* и др. Развитие подобных образований, естественно, сдерживалось рядом обстоятельств, и, следовательно, развивающиеся неорганические гласные далеко не всегда соответствовали тенденции, так сказать, идеального уподобления, как правило, оставаясь в том «еровом» качестве, при котором было естественным их сближение с гласными *о* или *е*. При наличии последующего твердого переднеязычного согласного на месте ожидаемого *ь* мог, таким образом, выступать неорганический звук типа *ъ*, объясняющий нам отмеченное в ПЕ (и в ряде других славянских рукописей) написание *киносъ*: *достоино ли есть дати киносъ кесареви или ни·разоумѣвъ же исъ лоукавьство ихъ рече... покажѣте ми цатоу кинисьну* (166). Фонетическая обусловленность отмеченного параллелизма нам представляется несомненной.

Есть в исследованном тексте и другие примеры полногласия, представленного в заимствованных словах. Это, во-первых, известная форма *скоропия* (ср. в ОЕ *скор'пию* — 275об), отмеченная А. А. Шахматовым в Златоструе XII в., в Евангелии XIII в. и т. д., которая выступает наряду с формой *скарпия*, известной по тексту Изборника 1073 г. (*скаръпию* — 170). Ср.: *подасть емоу скарпию* (104об), *се даю вамъ власть наступати на змия и скарпию* (119), но — *се дахъ вамъ власть наступати на змия и скоропия* (210 об). Другой пример полногласия — собственное имя *малахъ*. Ср.: *бѣ же имя рабоу малахъ* (ПЕ, 186об), но — *бѣ же имя рабоу мал'хъ* (ОЕ, 177об). Что касается случаев чередования разнокачественных неорганических гласных перед твердым переднеязычным, то здесь в первую очередь обращает на себя внимание параллелизм *видъсаиды* (3об, 24об) — *вифесаида* (97об). Последний пример, как и некоторые приведенные выше, напоминает нам о возможности обозначения неорганического гласного с помощью букв *о* и *е*. Другие написания, свидетельствующие об этом: *народа* (161об, ср. в ОЕ *нар'да* — 142), *нефо-талимля* (223, ср. *нефталимлихъ* — 223, а также в ОЕ *неф'фалимля* — 262об).

В русской орфографии старшей поры существуют, таким образом, три способа графической передачи заимствованной лексики (если не считать отдельных случаев употребления букв *о* и *е*), отраженных в таких, например, документах, как Путятина минея, Остромирово евангелие, Синайский патерик (далее — СП) и др. Ср. *хар'тию погребосте съ нимъ·сии же... глаша емоу еи·елко хартию бо ны нѣкаку дасть оумираяи рече·егда Гже погрѣбаете мя·сию хартию дадите дрьжати м'нѣ въ роукоу* (СП, 144). ПЕ, не зная употребления паерков, представляет свидетельства лишь двух из указанных возможностей, позволяя усматривать яркий параллелизм между заимствованными словами и славянскими образованиями, связанными с непоследовательным обозначением «старых» и «новых» глухих. Примеры: *андрѣа* (24об два), но — *анъдрѣа* (38, а также 63, 84об, 136об); *матфеи* (38об), но — *матьфеи* (47, так постоянно); *кондратъ* (34, 84), но — *конъдратъ* (136); *талантъ* (81об семь, 82, 170об пять, 171 четыре), *таланта* (81об два, 171 два), но — *таланътъ* (62, 82об два, 170об); *егуптъ* (218об), *егупта* (там же), *егуптѣ* (там же), но — *егупьтъ* (218); *понтьскоуоумоу* (179об), но — *поньтьскоуоумоу* (221); *матфанъ* (215об), *матфановъ* (86об два), но — *матъфана* (215об).

Некоторые слова передаются в исследованном тексте лишь в «еровом» написании; другие, наоборот, представлены написаниями, не передающими вставочного гласного, тогда как существование этого звука подсказывается материалом других документов XI—XII вв. К написаниям первого типа относятся такие написания, как *дидрагъма* (56, 56об), *ехидьньсции* (58об),

олокавътоматъ (83об), *анъфима* (205об), *титьлоу* (208 два), *вакъха* (209об), *павьла* (212об), *авъгоуста* (216об). К числу постоянных «безъеровых» написаний относятся следующие: *левгиты* (1об и т. д., ср. в ОЕ *левъгиты* — 3об), *магдалыни* (10об два, ср. в ОЕ *магъдалыни* — 17 об два), *закхеи* [131об, ср. в Архангельском евангелии (далее — АЕ) *закъхѣи* — 173], *голгофа* (145об, ср. в АЕ *голъгофа* — 108об, 118, 128об два), *леонтии* (176 два, ср. в СП *леоньтии* — 5), *сандалия* (75, ср. в СП *сан'далия* — 179) и т. д. В общем картина достаточно типична для древнерусского евангельского текста: здесь и свидетельства нечеткого понимания фонетического содержания слова, и отражение индивидуальных писательских привычек и, наконец, подтверждение тех общих соображений, которые заставляют нас связывать историю давних глухих с историей «новых» неорганических гласных.

Роль последних особенно заметна тогда, когда дело касается стечения одинаковых согласных, т. е. стечения, которое допускает, в отличие от других групп согласных, редукцию, определяющую возникновение таких образований, как *осана* (ὡσαννά), *рави* (ῥάββί) и под. Параллелизм написаний *осана* — *осаньна*, *рави* — *равъви* делает несомненным наличие гласного звука как средства сохранения обоих согласных, хотя и в данном случае нередки написания вроде *осанна*, *равви* и под. Ср.: *ава* (СП, 4об) — *авъва* (СП, 5) — *авва* (СП, 27об); *кападокия* (СП, 80) — *кап'падокия* (СП, 63об) и т. д. В ПЕ содержатся следующие написания, отражающие возможность упрощения отмеченных групп: *аны* (207), но — *аньнѣ* (187), *аньна* (187об, 199), *аньны* (214об), а также — *аннѣ* (221); *осана* (141об, 161 два, 162), но — *осаньна* (161об); *маноу* (14), ср. в ОЕ *маньну* (24); *варавоу* (193об два, 194 два), ср. в ОЕ *варавъву* (197); *гавафа* (207об), ср. в ОЕ *гав'вафа* 220); *асурии* (211об), ср. в ОЕ *ас'сарии* (234). Слова *равви* (4 два, 5об, 10, 18об, 22об, 143об, 167, 176об) и *еммаоусъ* (199) передаются в ПЕ в соответствии с их исходной структурой (ср. в ОЕ *емаоусъ* — 4).

Значительное количество случаев редукции, обнаруживаемое на материале исследованных текстов, заставляет признать наблюдаемое явление достаточно распространенным и, в связи с этим, рассматривать написания типа *ана*, *ава* и под. как проявление живой фонетической тенденции, характеризующей одну из древнейших особенностей восприятия заимствованных слов. Это само собою разумеющееся обстоятельство приходится подчеркивать потому, что в некоторых случаях исследователи, комментирующие издаваемые тексты, почему-то видят в отмеченных написаниях что-то загадочное, требующее недоуменных восклицаний вроде «так!» и т. п. (см., например, [4—5]).

Последнее, что должно быть отмечено по поводу неорганических гласных в заимствованной лексике,— особенно широкое отражение этих звуков в позиции после плавных. Эта позиция представляла условия, сходные с теми, в которых с наибольшей последовательностью развивалось так называемое «полногласие», и, следовательно, наблюдаемые в данном случае отношения, без сомнения, могут считаться достаточно показательными с точки зрения собственно славянских фонетических изменений. Более того, сам характер отражения вставочной гласности в положении после плавных во многом зависел от усвоенных способов передачи древнерусских сочетаний редуцированных с плавными, о чем свидетельствует, в частности, исследованный евангельский текст.

III. Вопрос о втором полногласии как об одном из древнейших восточнославянских фонетических явлений, обусловленных теми же причинами, что и первое полногласие, в настоящее время является решенным: характер развивающегося гласного, его зависимость от определенных фонетических условий, показательное сходство его восприятия с восприятием исконной редуцированной гласности в положении после плавных, соответствие показаний древнейших источников современным диалектным (и отчасти общепринятым) образованиям вроде *верех* и *доложно* — все это, в совокупности, позволило преодолеть те сомнения, которые долгое время находили отражение в исследованиях и пособиях по истории русского языка. Древнейшие грамоты на бересте, содержащие такие написания, как

смьръда, *пьрьво*, *твьрьдяты*, *вьрьши* и под., подвели, так сказать, окончательную черту в затянувшихся теоретических спорах по поводу двуеровых написаний, рассматриваемых, как известно, некоторыми языковедами как отражение графической контаминации, искусственного церковного произношения и т. д. Было установлено, что показания книжных источников и деловых документов в общем согласуются друг с другом, подтверждая несомненную значимость этих написаний как, говоря словами Л. Л. Васильева, «действительных отражений второго полногласия» [6]. Теперь, таким образом, задача исследователя заключается не в том, чтобы доказывать наличие неорганической гласности, развивавшейся после плавных, а в том, чтобы исследовать характер отражений этой гласности в связи с различными установками древнерусского писца как носителя определенных языковых представлений.

Норму в тексте ПЕ составляют написания типа *вьрхъ*, т. е. написания, соответствующие древнейшей восточнославянской орфографической традиции, не допускающей последовательного обозначения неорганического гласного буквами ъ или ь. Ниже даны примеры, подтверждающие сказанное.

1. Написания типа -*ьр*-: *бьрвьна* (93об), *бьрвьно* (93об два), *бьрние* (22об два, 23 два), *въвьргоша* (136об, 139об), *въвьргоуть* (50, 50об, 213об), *въвьрже* (84, 125об, 136об два, 139об, 140, 157об), *въвьржемъ* (89об), *въвьржено* (34об), *въвьрженъ* (116, 151об), *въвьрженѣ* (50), *въвьржеть* (13об, 70, 82), *въвьрзѣте* (73об, 171об, 203), *възвьргоша* (120, 147об), *въстьргати* (43), *въстьргающе* (154, 213), *въстьргнете* (213), *вьрвия* (5), *вьргоуть* (20), *вьржение* (149об), *вьрзи* (87об, 223), *вьртоградарь* (201 об), *вьртоградъ* (186 два), *вьртоградъ* (187об), *вьртьпъ* (192об), *вьртьпѣ* (192об), *вьрха* (7, 88об, 99об), *вьрхоу* (57об, 58, 107об, 161, 168, 194об, 205, 218), *дьржаахоу* (121), *дьржяста* (2, 199), *дьржати* (78, 113об), *дьржать* (6, 99об, 202об), *дьржаша* (90), *дьржаще* (78, 150об), *дьржимыя* (64), *дьржите* (6, 78об два, 202об), *дьржить* (41, 128об), *дьрзаи* (51, 109об, 178), *дьрзноувъ* (10, 192), *жьрновьныи* (116), *жьртвъ* (83об), *жестосьрдию* (61об, 129об, 198), *зьрно* (57), *зьрноу* (49, 70, 125об), *извьргоша* (50об, 133об), *извьржеть* (28об, 182), *извьрзи* (34об), *испьрва* (183об), *истьргнеть* (53), *милосьрдова* (38, 65, 113), *милосьрдовавъ* (62, 155), *мьрзость* (59об, 128об, 138, 164об), *мьртвии* (8, 41об, 123об, 199об), *мьртвъ* (140об, 141, 157об), *мьртвыи* (96, 160об), *мьртвыими* (198об), *мьртвыхъ* (5, 26 два, 31, 52, 56 два, 58об, 83 два, 97об, 103, 123об два, 127об, 135, 135об два, 161об, 162, 166об два, 168об, 192об, 196об, 198, 200, 200об, 201об, 203об), *мьртвыя* (7об, 116об, 212об), *мьртвьца* (116об), *мьрче* (152об), *одьржима* (89об), *одьржимъ* (13об, 124об), *одьржимы* (33), *опровьрже* (5), *осквьрнити* (79об), *осквьрнять* (187об, 188), *отъвьргоша* (95), *отъвьргоуся* (142об, 177), *отвьргыи* (108об, 212), *отъвьрже* (1об, 144об два, 150, 179, 179об, 187об два), *отъвьржени* (38), *отъвьрженъ* (212), *отъвьржеть* (35об, 53, 100, 127об, 156об), *отъвьржеши* (142об, 144, 149, 150об, 177, 179об), *отвьрзаеть* (21), *отвьрзе* (23 три, 23об три, 26, 33, 200об), *отвьрзета* (65), *отъвьрзеть* (104 три, 104об), *отъвьрзи* (56об, 85об, 126, 170об), *отъвьрзоста* (3, 22об, 54об), *отвьрзосте* (200), *отвьрзоша* (195об, 222), *отъвьрзоуть* (122об), *отвьрзъ* (214), *отъвьрзъше* (218), *отвьрзыи* (160об), *отъвьрста* (4), *повьргоша* (54), *повьргыи* (89, 193), *помьркнеть* (60), *помьркъшю* (191), *потьрпи* (62), *почьрпала* (17об), *почьрпать* (18), *почьрпъше* (7), *почьрпѣте* (7), *претьрзахоу* (71), *претьрпѣвыи* (138), *протьрзаахоу* (89об), *прѣтьрпѣвыи* (39, 77), *пьрвая* (77об 83об два, 166об), *пьрвии* (35об, 131), *пьрвое* (13об, 58, 216об), *пръвомчнца* (209), *пьрвопостьника* (212), *пьрвоумоу* (115об, 163, 191об, 208), *пьрвоую* (140об, 196об, 198), *пьрвыи* (83, 118об, 123, 123об, 135, 141об, 163об, 166, 175об), *пьрвыихъ* (46, 68об, 105), *пьрвыя* (192об), *пьрвѣе* (67, 80, 93об, 101об, 107, 108, 187), *пьрвѣи* (1об, 222об), *пьрвѣиши* (83об, 135об), *пьрвѣньць* (216, 216об), *пьрси* (31, 137об, 191, 204), *пьрста* (103, 156), *пьрстень* (140об), *пьрстъ* (6об), *пьрстъмь* (72об, 107об, 167), *пьрстѣ* (105), *развьрзая* (223об), *развьрзи* (156), *развьрзоста* (156), *растьрза* (179), *растьрзавъ* (106), *скьвьрнити* (79), *скьвьрнить* (53 два, 53об, 79), *скьвьрнять* (43об, 53об), *скьвьрнящая* (53об, 79), *смьрдить* (160об), *съвьршени*

(30об, 186), *съвьршение* (114об, 206об), *съвьршенъ* (65, 93об, 130об), *съвьр ши* (54), *съвьршилъ* (161об), *съвьршити* (114об два), *съвьршихъ* (27об, 185), *съвьршиша* (191об два, 208об), *съвьршю* (8об), *съмьрти* (2об, 8 два, 19об три, 100, 142об, 144, 151об, 156об, 159, 159об, 179, 199об), *съмьртию* (25, 31, 79, 188, 204), *съмьрть* (39, 137об, 149, 158, 174об), *съмьртьно* (198об), *сьрдць* (62об), *сьрдьцьмь* (77об), *сьрдьця* (26), *сьрпъ* (70), *тьрние* (45об, 99), *тьрнии* (46об, 67об, 99об), *тьрния* (93об, 99, 188об, 194, 210), *тьрновъ* (189об), *тьрновыи* (188об), *тьрпить* (137), *тьрплю* (57, 112об), *тьрпѣнии* (99об, 124), *оудьржаша* (127об), *оудьржимъ* (163об), *оумьрла* (72, 110), *оумьрлъ* (159об, 160), *оумьртвия* (218об), *оумьртвять* (124), *оутвьрди* (44об, 99, 101, 103об, 154об, 174об), *оутвьрдите* (192об), *оутвьрдити* (192об), *оутвьрдиша* (192об), *оутвьрдиши* (149), *цьркъви* (5, 15об, 32об, 43об), *цьркъвь* (32об, 190), *цьрквьная* (152об), *цьрквьнѣмь* (87об), *четвьртовластьникъ* (86), *четвьртовластьствоующю* (221 два), *четвьртовластьць* (97об), *четвьртое* (76об), *четвьрть* (173, 187об), *чьрвленою* (194), *чьрвленоу* (102об, 188об), *чьрмьноу* (55), *чьрмьноуеть* (55), *чьрта* (205), *чьртѣ* (116).

2. Написания типа *-ър-*: *гърстию* (78), *кърмѣ* (70об), *оскърбѣ* (31), *скърби* (29, 29об, 69об, 165, 184), *скърбь* (164об, 165, 183об), *скърбьни* (185), *скърбѣти* (177об), *скърбя* (130об, 154об), *скърбяща* (219об), *скърбяще* (176об), *тържища* (72), *тържищихъ* (73, 84, 107об, 136, 139об, 167), *тържьникомь* (5, 171).

3. Написания типа *-ъл-*: *вълкъ* (205об два), *вълнению* (209), *вълхвомъ* (219 два), *вълхвъ* (218 об), *дългъ* (62, 62об два, 75об), *дългы* (153об), *дължьникомъ* (163об), *дължьникъ* (62, 115об), *дължьнъ* (62, 115об), *дължьнъ* (62 три, 115об два, 167об, 168, 189), *дължьнѣише* (112), *извълкъ* (143об, 178), *испълнена* (30), *испълнения* (1об), *испълни* (5об, 29), *испълнити* (222), *испълнитъ* (205), *испълнить* (70, 182об), *испълниша* (20об), *испълнь* (76, 87, 191об, 195), *испълняя* (219), *мълва* (175, 194), *мълвляаше* (206об), *мълнии* (60, 117), *мълчааше* (179), *мълчи* (70об), *напълни* (145об), *напълните* (7), *обълчена* (106), *обълченъ* (220об), *продължаетъ* (70), *пълна* (107), *пълни* (168об), *пълноу* (203об), *пълнъ* (127, 191об), *стълпъ* (112, 114, 133об), *тълкноувъшю* (122об), *оумълкноуть* (120об), *оумълчить* (129, 132), *хълмомъ* (152), *хълмъ* (221).

На фоне перечисленных написаний двуеровые написания в памятнике встречаются сравнительно редко, что отличает его от ряда других аналогичных источников и, в частности, от МЕ, где указанные написания (как будет видно из таблицы) встречаются значительно чаще. Например:

1. Написания типа *-ьрь-*: *бьрьвьна* (37об), *бьрьвьно* (37об), *въвьрьженоу* (129об), *въвьрьжгнъ* (129), *въвьрьже* (136об), *въвьрьжеть* (34), *въвьрьзи* (131об, 133, 162об), *вьрьхоу* (168), *дьрьзаи* (132), *дьрьзаите* (185), *жьрьновьныи* (129), *жьрьтвьникъмь* (58), *зьрьно* (131об), *извьрьзи* (34), *испьрьва* (29), *мьрьтвии* (94об), *мьрьтвыихъ* (162об, 203, 203об), *мьрьтвыя* (38об), *одьрьжааше* (89об), *одьрьжими* (106об), *отьвьрьгоша* (134), *отвьрьгоу* (35об), *отъвьрьгы* (132об), *отвьрьженъ* (108об), *отвьрьзаеть* (37об), *отъвьрьзеши* (180), *отвьрьзоуть* (37об), *помьрькнеть* (165), *претьрьпѣвыи* (164об), *пьрьвии* (35об, 131), *пьрьвое* (37об), *пьрьвоуоумоу* (195об), *пьрьвыи* (38, 56), *пьрьвыимъ* (34, 34об), *пьрьвыихъ* (163об), *пьрьси* (152об), *пьръста* (202об), *растьрьгноуть* (37об), *растьрьза* (144), *скьвьрьнящая* (79об), *съвьрьшени* (35), *съвьрьшенъ* (35), *съвьрьши* (40), *съвьрьшю* (18об), *съмьрьти* (151об, 177об), *твьрьдѣ* (143об), *тьрния* (36об), *тьрьпить* (134), *оутвьрьжающоу* (198об), *чьрьвь* (129, 129об два), *чьрьна* (34об).

2. Написания типа *-ъръ-*: *прискъръбьна* (177об).

3. Написания типа: *-ълъ-*: *вълъкъ* (101об), *вълънами* (37), *вълънению* (97), *вълъны* (70об), *вълъсви* (217об), *вълъхвъ* (218об), *вълъхвы* (217об), *вълъци* (210), *дълъгъ* (62), *дълъжьни* (131об, 176об), *дълъжьника* (96об), *дълъжьникоу* (103об), *дълъжьнъ* (57об два, 96об), *дълъзѣ* (150), *зълъчию* (194об), *мълъва* (139), *мълъвиши* (207), *мълънии* (165, 196об), *мълънию* (210об), *мълъния* (60), *мълъчааше* (144), *мълъчахоу* (128, 154об, 216), *напълъниша* (7), *обълъкы* (151об), *обълъчена* (71об), *примълъчи* (89),

стълъпъ (163об), *тълъкоущемоу* (37об), *тълъцѣте* (37об), *оумълъкнета* (64об), *оумълъкни* (63об), *оумълкноуть* (148), *оумълъче* (73об).

Особый интерес при рассмотрении двуеровых написаний представляют написания типа *-ьръ-*, т. е. написания, свидетельствующие о возможности развития непереднего гласного перед твердым переднеязычным согласным. Эти написания, подтверждая фонетическую обусловленность двуеровых написаний вообще, позволяют усматривать показательный параллелизм в развитии исконных и вставочных гласных, представленных как в славянских, так и в заимствованных словах. Не касаясь тех фактов, которые были уже рассмотрены нами [см. 3, с. 178 и сл.], считаем необходимым подчеркнуть здесь лишь то, что различные документы древнейшей поры обнаруживают различную степень зависимости неорганических гласных от согласных *т*, *д*, *с*, *з* и *л*. В этих документах возможны ограничения лексического характера, когда при наличии казалось бы одинаковых условий написания типа-*ьръ-* выступают лишь в передаче отдельных лексем. Возможна и связь лишь с каким-то определенным согласным, что прекрасно подтверждается материалом ПЕ, где написания типа *-ьръ-* выступают, как правило, лишь перед *з* (в одном примере перед *л*): *въстьръзаахоу* (98), *дьръзаи* (51), *мьръзость* (116), *отвьръзоу* (49об), *оумьръла* (51). В целом наблюдения над употреблением отмеченных написаний (начиная с ПМ и ОЕ) заставляют сделать вывод о сокращении их количества в источниках XI—XIII вв. в пользу двуеревых написаний, соответствующих обычно полногласной модели. Этот процесс, в котором мы видим отражение живых фонетических отношений, проявляется, в частности, в случаях совместного существования по-разному передаваемых корней, которые могут быть обнаружены в рамках одного и того же древнерусского текста. Ср.: *дьръзаи* (ПЕ, 51), но — *дьрьзаи* (ПЕ, 132); *отвьръзоу* (ПЕ, 49об), но — *отвьрьзоуть* (ПЕ, 37об), *мьрътвыхъ* (МЕ, 117), но — *мьрьтвыя* (МЕ, 105); *жьрънъвахъ* (МЕ, 72), но — *жьрьновьныи* (МЕ, 123об), *мьрътво* (Успенский сборник, далее — УС, 191об), но — *мьрьтво* (УС, 182об); *четвьрътыи* (УС, 153об), но — *четвьрьтыи* (УС, 149) и т. д.

Примеры из Успенского сборника представляются тем более выразительными, что они позволяют обнаружить одно из дополнительных свидетельств параллелизма в развитии двух основных категорий восточнославянского полногласия. Дело касается предложного образования *черосъ*, на которое обратил внимание А. А. Шахматов. «Звуковой контаминацией объясняется и сочетание *его* вм. *ere*. Так находим *черосъ* вм. *чересъ*, *черезъ* под влиянием *скрозѣ*, *скрозь*: *черосъ* Усп. сб. XII в., 106д, 131б, Прол. 1383 (Собол.), *черосъ ночь* Поуч. Илья Новг. по сп. XV в.» [7, с. 153]. Это объяснение А. А. Шахматова представляется по меньшей мере спорным. Никаких доказательств возможности отмеченного влияния А. А. Шахматов не приводит. В УС образование *скрозѣ* отсутствует, как отсутствует оно в «Материалах» И. И. Срезневского, так что само существование приводимой А. А. Шахматовым формы в древнерусский период должно быть признано сомнительным. Полагаем, что для искусственного допущения принимаемого А. А. Шахматовым влияния нет никаких оснований: форма *черосъ* (106об, 131) встречается в УС наряду с формой *чересъ* (15об, 129об) точно так же, как встречается в нем форма *четвьрътыи* наряду с образованием *четвьрьтыи*, отражая реакцию неорганического гласного на последующий твердый согласный переднеязычный, т. е. реакцию, следы которой постепенно утрачивались в процессе «уравнивания» интересующих нас гласных. Следует добавить, что предложная форма *черосъ* оказывалась изолированной в том отношении, что здесь отсутствовали какие бы то ни было побочные факторы вроде мягкости согласного в родственных формах, т. е. факторы, которые ускоряли бы прохождение указанной замены (ср. отношения типа *перед-*: *перед'-*, *серед-*: *серед'-* и под.) [1].

[1] Указанная мена гласных *е* — *о* перед твердым переднеязычным возможна и в условиях приставочных форм. Мы имеем в виду показательное написание *переступил* в записи писца Ев. чт. 1370 г. (ГПБ, Соф. 189, л. 134), т. е. написание, вполне сопоставимое с формой *черосъ*.

Любопытно, что сказанное находит своеобразное подтверждение в графической интерпретации заимствованных слов, содержащих исходное сочетание *-ер-* в положении между согласными. О возможности сближения этого сочетания с сочетанием *-ьр-*, как и вообще о возможности раннего сближения редуцированных, находящихся в исследуемых сочетаниях, с гласными полного образования, свидетельствуют, как известно, достаточно многочисленные написания, на которые указывал еще А. А. Шахматов. Речь идет о написаниях типа *свершиша* и подобных, встречающихся в Минее 1095 г., в Христинопольском апостоле, в Стихираре 1157 г., в Златоструе XII в., в Ефремовской кормчей и т. д. [7, с. 207]. К этой же категории явлений относится и зафиксированное в ПЕ написание *исполънити* (124об); здесь же следует отметить и дважды встречающееся в Милятином евангелии написание *четвертовластьникъ* (78 об, 89об; ср. *четвьртовластьникъ* — 86об) и т. д. При наличии всех этих написаний становится понятным тот факт, что, встречая в заимствованном слове межконсонантное сочетание *-ер-*, писец, дезориентированный неясностью слухового впечатления, мог обозначать его через *-ьр-*, как это имело место при написании такого, например, обычного в евангелии слова, как *капернаоумъ*.

Следует, впрочем, заметить, что ПЕ, взятое в качестве основного источника при написании данной работы, в указанном случае дает очень мало. И это понятно. Ориентация писца на безъеровую передачу сочетаний, включающих плавный и следующий за ним неорганический гласный, определила сравнительно редкое отражение этого гласного в структуре заимствованной лексики. Ср.: *маръ-фоу* (159, единственный пример), но — *марфы* (159), *марфѣ* (159об), *марфа* (159об, 160, 160об, 161об, 206об, 207); а также: *варфоломѣи* (38об), но — *варъфоломѣя* (МЕ, 61); *иердана* (214), но — *иорьданѣ* (МЕ, 57) и т д. Название *капернаоумъ* в ПЕ лишь одним написанием обнаруживает присутствие неорганического гласного, тогда как уже в ОЕ это слово обычно передается с глухим. Ср.: *вьниде ис въ каперънаоумъ* (ОЕ, 8об), но — *приде исъ въ капернаоумь* (ПЕ, 4об); *его же сынъ болѣше въ каперънаоумѣ* (ОЕ, 18об), но — *его же снъ боляше в капернаоумѣ* (ПЕ, 11) и т. д.] Позднейшие тексты евангелий нередко сохраняют написание *каперънаоумъ*, наряду с которым уже в текстах XI в. выступает и написание *каперьнаоумъ* (см., например, АЕ, 30 и т. д.). Особенно яркой оказывается картина графического оформления этого слова в МЕ. Здесь (помимо указанного *каперънаоумъ* — 22), во-первых, выступает написание *капернаоумъ* (22) — наиболее строгая передача исходного слова. Во-вторых, здесь, как и в тексте ПЕ (88об), выступает написание *капьрнаоумъ* (81) — свидетельство возможного сближения *-ер-* : *-ьр-*. В-третьих, здесь выступают написания, свидетельствующие о произносительных вариантах, связанных с присутствием последующего твердого *н*. Ср.: *капьрънаоумъ* (24, 78, 90об, 147об, а также в ПЕ — 128), но — *каперънаоумъ* (57об). Наконец, в-четвертых, здесь выступает написание *каперенаоумъ* (94), отражающее характерное сочетание, в сторону которого было направлено развитие исходного сочетания *-ер-* при наличии живой фонетической тенденции, свойственной собственно русским словам. Эти данные МЕ, сопоставляемые с материалом, иллюстрирующим развитие русского полногласия, как кажется, представляют большой интерес.

Другое, что привлекает внимание при рассмотрении двуеровых написаний в источниках XII в.,— это неравномерность их употребления при передаче сочетаний, включающих, с одной стороны, плавный *р*, а с другой стороны — плавный *л*. Приведенные выше примеры из ПЕ достаточно красноречиво иллюстрируют факт значительного преобладания написаний с *-ълъ-*. Насколько мы можем судить, это обстоятельство еще никем не отмечалось, а между тем его наличие подтверждается целым рядом источников, представляющих чередование одноеровых и двуеровых написаний. Примером текста, для которого последние написания достаточно характерны, может послужить текст МЕ, данные которого приводятся

Памятники	Типы написаний					
	-ьр-	-ър-	-ъл-	-ьрь-	-ъръ-	-ълъ-
Пантелеймоново евангелие (ПЕ)	86	97	63	14	3	37
Милятино евангелие (МЕ)	48	58	23	52	42	77

в таблице (в ней округленно указываются проценты, подсчитанные на основе соотношения *-ьр-* : *-ьрь-*, *ър-* : *ъръ-* и *-ъл-* : *-ълъ-*).

Как следует из таблицы, в МЕ при обилии двуеровых написаний картина преобладающего использования графического сочетания *-ълъ-* оказывается еще более яркой и исключающей возможность истолкования наблюдаемых отношений как чего-то обособленного или случайного. О том же свидетельствуют и данные Ефремовской кормчей, приведенные С. П. Обнорским [8]: при незначительном количестве двуеровых написаний преобладание написаний с-*ълъ-* в этом памятнике достаточно заметно (они составляют 12% по отношению к общему количеству сочетаний с *-л-*, тогда как в сочетаниях с *-р-* их количество ничтожно — менее 5%). Нелегко догадаться, какое реальное основание отражает наблюдаемая графическая закономерность. Во всяком случае особенно широкая распространенность форм с полногласием вроде *молонья* или *доложно* как будто бы допускает фонетическое истолкование установленного факта.

О возможности такого истолкования говорит, как нам кажется, и наблюдаемая картина употребления так называемых «болгарских» написаний, т. е. написаний типа *врьхъ* и *влъна*. Их количество в исследованном тексте сравнительно невелико:

1. Написания типа *-рь-*: *въврьгоша* (84об, 203), *въврьже* (84об два, 203), *въврьзи* (56об), *жрьнъвахъ* (81), *одрьжа* (113об), *отъврьжеши* (174об), *отврьзе* (84), *поврьже* (112об), *потрьпи* (62), *прьво* (84), *прьстъ* (202об), *прѣтрьпѣвыи* (59), *трьние* (67об), *трьнии* (48об, 69об), *трьплю* (157), *чрьвь* (154 два).

2. Написания типа *-ръ-*: *оскръбѣ* (204), *протръжеся* (203об), *тръжищихъ* (95), *тръжьникомъ* (82).

3. Написания типа *-лъ-*: *влъкъ* (39), *исплънена* (184об), *исплънения* (127), *исплъненоу* (185об), *исплъни* (183об), *исплъниcте* (168об), *исплънися* (161 об, 206 об, 221), *исплънити* (222), *исплъниша* (73об, 88об, 92об, 216об, 219), *исплънь* (90), *исплъняя* (219), *наплънися* (50, 63), *наплъниться* (123), *наплъниша* (89об), *облъчена* (42), *плъни* (58, 58об, 168об), *съвлъкъше* (113).

Приведенный перечень примеров, как легко убедиться, также позволяет противопоставить сочетания с *-р-* сочетаниям с *-л-*: «болгарские» написания типа *-рь-* (*-ръ-*) составляют менее 5% от общего количества сочетаний, включающих *-р-*, тогда как написания типа *-лъ-* (на общем фоне сочетаний, включающих *-л-*) дают 20%, что опять-таки заставляет признать исключительное положение сочетаний, включающих *-л-*, с точки зрения графической интерпретации сочетаний редуцированных с плавными. Характерно, что в МЕ, в котором «болгарские» написания практически отсутствуют (с *-р-*, при 367 написаниях, отмечено лишь два ненадежных примера: *оск-в-рьнити* — 75 и *истрьгнеть* — 119 об), все же содержится заметное количество случаев использования написания *-лъ-* (ср. *-лъ-* — 5, *-ъл-* — 20, и *-ълъ-* — 67 примеров): *влъкъ* (93об), *наплънися* (57), *облъчена* (21об), *плъни* (52об), *оумлъкни* (58).

Таким образом, в истории неорганической гласности предстоит разрешить еще немало загадок.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ягич И. В.* Критические заметки по истории русского языка. СПб., 1889, с. 23.
2. *Селищев А. М.* Старославянский язык. 1. М., 1951, с. 280.
3. *Марков В. М.* К истории редуцированных гласных в русском языке. Казань, 1964.
4. *Жуковская Л. П.* Реймское евангелие: история его изучения и текст. М., 1978, с. 23, 30.
5. *Голышенко В. С., Дубровина В. Ф.* Синайский патерик. М., 1967, с. 44.
6. *Васильев Л. Л.* Одно соображение в защиту написаний *ьрь, ьръ, ъръ, ълъ* древнерусских памятников как действительных отражений второго полногласия.— ЖМНП, 1903, VIII, с. 312.
7. *Шахматов А. А.* Очерк древнейшего периода истории русского языка.— В кн.: Энциклопедия славянской филологии. Вып. 11.1. Пг., 1915.
8. *Обнорский С. П.* О языке Ефремовской Кормчей XII века.— ОРЯС, 1912, т. 3, вып. 1, с. 42—46.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1983

КАМЧАТНОВ А. М.

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ И ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

В различных списках одного и того же языкового памятника можно обнаружить множество различий в языковых средствах выражения. Эти различия, обусловленные неодинаковыми представлениями писцов о литературно-письменном узусе и проникновением в их язык новообразований и диалектных черт, дают лингвисту богатый материал в области исторической грамматики и лексикологии, а также истории русского литературного языка. Представление о том, что язык памятника отражается не в одном, а во всей совокупности его списков, является выражением более общего принципа, согласно которому язык рассматривается как динамическая, развивающаяся во времени и пространстве система. Что касается более частной области исторической лексикологии и лексикографии, то привлечение нескольких списков к изучению языка памятника дает возможность открывать новые слова и новые значения известных слов, изучать синонимические средства выражения, стилистические функции синонимов, более обоснованно подходить к выделению лексики определенного ареала и т. д.

Предметом нашего изучения стал Изборник Святослава 1073 г. [1] и 16 его списков, находящихся в книгохранилищах СССР. Предварительный текстологический анализ привел к построению типологической классификации списков и выделению представителей редакций и групп списков. Все списки распределились по трем редакциям — полной, краткой и пространной. Списки полной редакции разделились на две группы — Изборник 1073 г. и Тл. (ГПБ, собр. Толстого, Q. I, 208, XV в.) являются представителями первой группы полной редакции; Ег. (ГБЛ, собр. Егорова, ф. 98 № 745, перв. четв. XVII в.) — представитель второй группы полной редакции; Рм. (ГБЛ, собр. Румянцева, ф. 256 № 6, XV в.) — представитель краткой редакции; КБ-1 (ГПБ, собр. Кирилло-Белозерского монастыря, № 5/1082, XV в.) — представитель пространной редакции. Дальнейший, собственно лингвистический анализ проводился на основе этих пяти списков. Прочтение одной первой половины Изборника (которой мы и ограничили исследование ввиду очень большого объема памятника) по всем пяти спискам обнаружило более трехсот лексических вариаций-синонимов. Для данной работы были отобраны лишь те вариации, которые имеют отношение прежде всего к исторической лексикографии, т. е. могут непосредственно войти в словарь древнерусского языка. По своим конечным лексикографическим результатам все отобранные вариации разделяются на две группы: 1) новые слова (сюда же относятся случаи ранее не известной омонимии); 2) новые значения у ранее известных слов. Лексикографическими точками отсчета, относительно которых определяется «известность — неизвестность» слов и значений, были для нас [2, 3]. Греческие параллели приводим по рукописи Codex coislinianus № 120, хранящейся в Парижской национальной библиотеке и содержащей греческий текст Изборника 1073 г. В ГБЛ имеется копия этой рукописи (Архив О. М. Бодянского, ф. 36, карт. 6, № 5).

1. *Поноженъ.*

Словом *поноженъ* писец КБ-1 заменил страдательное причастие *побѣжденъ* из Изборника 1073 г.: побѣжденоу (*поноженоу* — КБ-1, л. 110) же ѥмоу ведоути и въ помысльныи грѣхъ (л. 58б); греч. ἡττηθέντος δε αὐτοῦ,

ἄγουσιν αὐτὸν εἰς τὴν κατὰ διάνοιαν ἁμαρτίαν. Речь здесь идет о том, что бесы стремятся овладеть душой человека. Когда же он побежден (ἡττηθέντος), то его вводят в духовный грех. Под рукой писца КБ-1 человек не побежден, а *поноженъ*. Это слово в «Материалах» И. И. Срезневского отсутствует, а в Картотеке ДРС представлено только нашими материалами. Судя по вариации, мы можем заключить, что это слово имело значение «победить, одолеть, овладеть», но это скорее всего вторичное, переносное значение. Вероятнее всего, *поноженъ* образовано от гипотетического **поножити* и имело значение «связанный, скованный по ногам». Это слово соотносится с *поножи* «ножные цепи, кандалы, колодки», с *треножить* «связывать, перевязывать путами обе передние ноги с одной задней или только передние ноги (у лошади)» [5,IV, с. 785]. Эти материалы позволяют, на наш взгляд, обосновать предложенные этимологию и значение слова *поноженъ*.

2. *Помурисати*.

Писец Тл. словом *помурисати* заменил слово *помазати*: помажи (*помурисаи* — ТЛ., л. 54) ѭ покади ѭ въложи многа молитвьнаꙗ каждениꙗ (л. 59а-б) (греч. ...μύρισον αὐτὸ, θυμίασον...). Этого слова нет ни в «Материалах» И. И. Срезневского, ни в Картотеке ДРС. Его словообразовательная структура и значение достаточно прозрачны: образованный от греч. глагольной основы μυρίς «натирать благовонными мазями», глагол *помурисати* означает «покрыть благовонием».

3. *Прѣмѣна*.

Это слово из Изборника 1073 г. варьируется дважды. В Рм. оно заменено словом *бремꙗ*, а в Ег.— словом *тѧготы*: аплоу глющоу·дроугъ дроугоу прѣмѣна (*бремена* — Рм. л. 25; *тѧготы* — Ег. л. 50) поносѧще и тако испълните законъ Хрістосовъ (л. 45б) — греч. ...ἀλλήλων τα βάρη βαστάζετε... Как видим, слово *прѣмѣна* употреблено вместо греч. βάρος «тяжесть», «груз», «бремя». Легче всего в написании *прѣмѣна* видеть описку вместо правильного *бремена* (соответствующая поправка была внесена писцом Рм.). Ведь окончание *-а* в форме вин. пад. мн. ч. имеют или существительные ср. р. с основой на согласный, или существительные ср. р. с основой на *-о*. Приведем все же некоторые семантические аргументы в пользу закономерного перевода греч. βάρος словом *прѣмѣна*.

В «Материалах» И. И. Срезневского *прѣмѣна* толкуется как «изменение», «переход», «превращение», «мена», «обмен» [2, II, с. 1671]. Ясно, что в нашем случае *прѣмѣна* употреблена в ином значении. Слово *мѣнъ*, от которого образовано слово *прѣмѣна*, имеет значение «меры» [2, II, с. 242], а *мѣра* имеет значения «мерка, предмет, которым меряют, мера», «размер, мера», «вес» [2, II, с. 242]. Не исключено, что и у слова *мѣнъ* было значение «вес, груз, употребляемый в качестве меры при обмене», образовавшееся у него по смежности. В этом значении *мѣнъ* внешне соотносится с современным *безмен* «рычажный или пружинный прибор для определения веса без помощи гирь» [5, I, с. 111]. Эта народная этимология, поддерживаемая, впрочем, некоторыми учеными [6, I, с. 22], получает у нас некоторые дополнительные аргументы.

С префиксом высокой степени признака *прѣ-* слово *прѣмѣна* означает «большой груз, тяжесть», а в переносном смысле — «тяготы, бремя». На правильность этого толкования указывают и вариации слова по спискам: *бремꙗ* и *тѧготы*. Остается решить вопрос о том, видеть ли в описанном случае полисемию или омонимию. На наш взгляд, здесь скорее можно видеть омонимию слов *прѣмѣна* 1 «изменение» и *прѣмѣна* 2 «большой груз», «тяготы, бремя». Хотя этимологически оба слова восходят к одному корню, их значения слишком разошлись, чтобы считать их значениями одного слова. Что касается флексии *-а* вместо *-ы* в вин. пад. мн. ч., то, может быть, для писца это было грамматическим средством различения двух омонимов, а может быть, она возникла просто по аналогии со словами типа *бремꙗ*.

4. *Пустина.*

Это слово из списка КБ-1 заменяет слово *поучина* в Изборнике 1073 г.: кръмьникоу же весло пороучаѭще къ боу молимъсѧ·отъ поучины (*пустины* — КБ-1, л. 189 об) сънабъдѣтисѧ (л. 114б); греческий текст отсутствует. Слово *поучина* употреблено здесь в значении «пучина», «глубина», «бездна» [2, II, с. 1741]. Слово *пустина* отсутствует в «Материалах» И. И. Срезневского, а в Картотеке ДРС представлено только нашими материалами. Образованное от прилагательного *поустъ* с помощью суф. *-ина*, слово *пустина* имело, видимо, значение «пустое место», как и однокоренное слово *поустыни*. По отношению к морскому пространству *пустина* стала употребляться в значении «бездна». Если бы это было не так, то едва ли была бы возможна замена *поучины*, имеющей особую этимологию и семантику, словом *пустина*.

5. *Оудоробъ.*

В Изборнике 1073 ч. читаем: Иже вѣры не имыи· нъ добро нѣчьто творѧ подобенъ ѥсть иже водоу черепли· и въ оудоробъ оутьлоу лѣѭть (л. 33а). И. И. Срезневский в толкующей части словарной статьи при слове *оудоробь* поставил знак вопроса. Это не удивительно, поскольку уже в XV в. это слово было архаизмом: все четыре списка заменили его на современные им слова. Тл. и КБ-1 заменили его на *делва* и *делвь* «бочка, кадка» [3, вып. 4, с. 205]; Рм.— на слово *кадь* «сосуд из досок, скрепленных обручем, кадь» [3, вып. 7, с. 13]; Ег.— на слово *сосудъ*. Из этого варьирования видно, что с точки зрения всех писцов слово *оудоробь* имело значение «бочка, кадка, сосуд».

Слово *оудоробь* было известно В. И. Далю; он поместил его в словарную статью слова *удороживать*, правда, за двумя чертами: «*Удороба*? ярс. худой, подбитый горшок» [4, IV, с. 474]. Вопросительный знак, очевидно, означает, что Далю была не ясна этимологическая связь между этим словом и прочими словами гнезда: переносными значениями слова *удороживать* были «уходить; замучить, искалечить, убить; (о посуде) разбить» [4, IV, с. 474]. Действительно, *оудоробь* восходит не к **dorg* «дорога» и др., а к **dorb*, которое дает белорусск. *дороб* «короб», русск. диалектн. *доробок* «коробка», *доробья* «лукошко с выбитым дном» [7, вып. 5, с. 74]. Вместе с приставкой **ǫ-*, имеющей пространственное, местное значение, праслав. **ǫ-dorbь* означает как бы «вплетенное» [см. 8].

Приведенный восточнославянский и русский диалектный материал позволяет предположить, что уже в XV в. значение слова *оудоробь* писцам было точно не известно. Возможно, что и в XI в. это слово имело значение «короб, корзина», а его употребление в данном контексте связано с экспрессивностью: лить воду в *оудоробь оутьлоу* (дырявый короб) все равно что носить воду в решете. Однако это предположение неверно, поскольку в греческом списке использовано слово πίθος «сосуд», «бочка»:... τὸ ὕδωρ ἀντλοῦντι, καὶ εἰς πίθον τετρημένον βάλλοντι. Следовательно, в некоторых диалектах слово *оудоробь* действительно имело значение «бочка, кадка, сосуд» и было использовано в Изборнике 1073 г. для буквального перевода греческой пословицы εἰς τὸν τετρημένον πίθον ἀντλεῖν «лить в дырявую бочку».

6. *Васнь, зѣло.*

Слова *васнь* в значении «может быть» [2, I, с. 231], «будто» [3, вып. 2, с. 23] и *зѣло* в значении «сильно, очень, весьма» [3, вып. 5, с. 371] неоднократно употребляются в Изборнике 1073 г. Однако и в Изборнике, и в его списках эти слова употребляются и в иных значениях. Словом *васнь* обычно переводится греческая частица ἄρα как в значении «таким образом, итак, следовательно», так и в значении «именно, точно, в самом деле»: Да васнь и тѣми пророчьства того не твьрьдоѥ и несъстоѭщеѥсѧ обличаѥть (л. 116в) — греч. ἄρα καὶ διὰ τούτων τὸ περὶ τὴν πρόρρησιν ἀπαγὲς καὶ

ἀσύστατον διελέγχεται. В Рм. *васнь* заменено наречным сочетанием *въ правдоу*. В других случаях ἄρα («точно, в самом деле») в Изборнике 1073 г. переводится наречием *прѧмь*, которое в других списках заменяется словом *васнь*: Добро ли есть прѧмь (*васнь* — Рм., л. 23) исповѣдовати грѣхы нашѧ дховьныимъ мѫжемъ (л. 43); греч. Καλόν ἐστίν ἄρα τό ἐξομολογεῖσθαι τα ἁμαρτήματα ἡμῶν πνευματικοῖς ἀνδράσιν. Из этого можно заключить, что слово *васнь* имело не только значение «может быть», но и значение «точно, верно, в самом деле».

Слово *зѣло*, видимо, также имело это же значение: Горьчаишемъ искоусишисѧ томителюмь зѣло акы своего тѧ пѣговавъшоу прѣжде и горькыꙗ свобаждавъшоу работы (л. 37в); греч. πικροτέρου πειραθήση τοῦ τυράννου ἴσως ... Слово ἴσως среди прочих имело значение «правильно, справедливо». В Рм. в этом месте *зѣло* заменено на *васнь*, которое, как мы видели, имеет значение «верно, правильно». Отсюда и у *зѣло* мы должны предположить наличие значения «верно, правильно, справедливо».

7. *Запонъ*.

Слово *запонъ* в [3, вып. 5, с. 275] переводится и толкуется как «занавес», «фартук», «препятствие, преграда». В этом словаре в подтверждение третьего значения, которое только нас и интересует, дана цитата из Изборника 1073 г.: Къде соуть звѣздъ тѣхъ запони ꙗже различыꙗ житью члкомъ оуставлѧѭща (л. 116а-б). В переводе это должно означать: «Где препятствия тех звезд, которые устанавливают различия между судьбами людей». Сомнительно, на наш взгляд, чтобы препятствия или преграды могли определять особенности судьбы человека. Для ясности напомним более широкий контекст, из которого извлечена цитата. Речь идет о статье Григория Нисского из Изборника 1073 г., которая называлась «О сълꙋчаи» («О судьбе») и была полемически направлена против языческих звездочетов, гадателей и волхвов, считающих, что по положению звезд, под которыми родился человек, можно определить всю его дальнейшую жизнь, что положение звезд, как закон, предопределяет его судьбу. Григорий Нисский приводит против этого совершенно рациональный довод. Если каждый человек рождается под особым положением звезд, то каждый должен и умереть в свое время, однако множество людей с разными судьбами из-за войн или землетрясений «вси въ ѥдинъ часъ погыбоша·всѧ равно пожьже огнь·всѣмъ домове гроби быша». Значит, не положение звезд, а нечто другое определяет судьбу людей. И Григорий патетически и несколько иронически вопрошает: Къде соуть звѣздъ тѣхъ запони ꙗже различыꙗ житью члкомъ оуставлѧѭща — греч. ποῦ αἱ τῶν ἄστρων ἐκείνων διαπλοκαί, αἱ τας διαφορὰς τοῦ βίου τοῖς ἀνθρώπος ὁρίζουσαι. Существительное διαπλοκαί, образованное от глагола διαπλέκω «переплетать, сплетать», означает «сплетение, переплетение»; τῶν ἄστρων διαπλοκαί — это метафора, означающая судьбу человека. Сущ. διαπλοκαί хорошо выражает идею связи звезд с судьбой человека. Что же следует видеть в переводе διαπλοκαί словом *запони*? Возможно, что это неудачный перевод, когда διαπλοκαί было понято буквально, как «плетень», и передано словом *запонъ* со значением «преграда, препятствие». Но может быть, что у слова *запонъ* была и какая-то не известная нам семантика? Можно попытаться обнаружить ее, опираясь на замену слова *запони* словом *законы* в КБ-1. Слово *законъ* образовано от *конъ* «предел, начало, конец» [2, I, с. 1270] и, следовательно, имеет в своей семантике примерно те же значения, что и *запонъ*. Кроме того, слово *законъ* имеет еще значение «связь между предметами» [3, вып. 5, с. 218]. Известно, что один из семантических законов состоит в том, что если между словами устанавливается синонимия в прямом значении, то она устанавливается и в переносном; этот процесс обычно называют синонимической аналогией [9]. Значит, слово *запонъ* могло быть синонимично слову *законъ* не только в значении «преграда, граница», но и в значении «связь между предметами». Тогда вариация *запонъ* — *законъ* была по природе лексической, а перевод διαπλοκαί словом *запонъ*

вполне сообразным. Насколько вероятно это предположение, может показать лишь дальнейшее изучение контекстов употребления слова *запонъ*.

8. *Вълѣзъти.*

Среди значений слова *вълѣзъти*, приводимых в словарях, отсутствует переносное значение «очутиться, оказаться в каком-либо положении» [2, I, с. 385; 3, вып. 2, с. 224]. На возможность такого переноса указывает следующий текст из Изборника 1073 г.: ꙗко же и въ кладѧзь въпадъшеи сѧ не оудобь въсходѧть·нъ инѣхъ трѣбѫють извлачащиихъ·тако же и въ глоубиноу вълѣзъшеи грѣховьноуѫ (л. 48в). *Вълѣзъти въ глоубиноу грѣховьноуѫ* означает «оказаться грешником, очутиться в положении грешника». В Тл. *вълѣзъшеи* заменено на *въпадшеи*, у которого есть подобное переносное значение «очутиться в каком-л. положении, состоянии (обычно тяжелом или предосудительном)» [3, вып. 3, с. 80]. В результате синонимической аналогии это метафорическое значение развилось и у глагола *вълѣзъти*; если бы это было не так, то употребление *вълѣзъти* в приведенном контексте было бы невозможно.

9. О переносном значении слова *отповѣдати*.

Прямым значением слова *отповѣдати* было «ответить» (Картотека ДРС), «заявить» [2, II, с. 807]. Никаких переносных значений этого слова словари древнерусского языка не фиксируют. Современное слово *отповедь* «ответ, заключающий в себе строгое и неодобрительное возражение, выговор» [5, II, с. 966] образовано от несохранившегося глагола *отповѣдати*; оно синонимично слову *ответ*, у которого зафиксировано переносное значение «противодействовать чему-н.» [5, II, с. 903]. Следовательно, и *отповедь* по синонимической аналогии может иметь такое же переносное значение. Было ли это значение известно в древнерусском языке? Судя по тому, что глаголом *отповѣдати* в Ег. был заменен глагол *отъбарати* «противодействовать, противиться» [2, II, с. 772], мы можем заключить, что это значение было известно: нъ рать приѥмлюще·не ѿбараимъ (*ѿповѣдаем* — Ег., л. 72об) имъ нъ паче о себе пытаимъ (л. 70в-г) — греч. ἀλλὰ πολεμούμενοι, μὴ ἀντιπολεμήσωμεν; ἀντιπολεμέω «вести ответную войну», «воевать против».

10. О переносном значении слова *приближати*.

Слово *приближати* в Изборнике 1073 г. употреблено в следующем контексте: Горе прикупаѭщима домъ къ домоу и село къ селоу приближающе (л. 78б) (греческий текст отсутствует). В «Материалах» И. И. Срезневского слово *приближати* отсутствует, в Картотеке ДРС оно представлено той же самой цитатой, что и у нас, но по другому источнику — Измарагду XIV—XV вв. (очевидно, цитата восходит к какому-то каноническому тексту). В списках Тл. и КБ-1 *приближати* заменено глаголом *притѧжати* «приобрести» (2, II, с. 1485; лучше — «приобретать»). Следовательно, в переносном значении *приближати* означало «приобретать», «присваивать», что соответствует содержанию цитаты.

11. *Ражьнъ.*

Ражьнъ (*рожьнъ*) имело значения «рожон, кол» [2, III, с. 19], «рогатина, острога», «вилка», «гвоздь» [2, III, с. 145]. Однако ни одно из значений не подходит к тому употреблению слова *ражьнъ*, которое мы находим в Изборнике 1073 г.: Дасть ми сѧ ражьнъ плъти·англъ сотонинъ·да мѧ моучить ꙗко да не възвышаѭсѧ (л. 110б); греческий текст отсутствует. Этой цитатой Срезневский проиллюстрировал значение слова *ражьнъ*, которое пометил знаком вопроса, видимо, потому, что *ражьнъ* употребляется не в прямом, а каком-то переносном смысле. В самом тексте помещается разъяснение этого значения: *ражьнъ*·англъ сотонинъ (т. е. ору-

дие действия становится субъектом действия). На то, что такой перенос возможен, указывает, в частности, история существительных, образованных от глагола *стрѣкати* «колоть», «жалить» [2, III, с. 567]. *Стрѣкало* означает «бодец, стрекало, орудие пытки» [2, III, с. 567]; *стрѣкатель* — «острие, оружие» [2, III, с. 567], а *пострѣкатель* уже значит «мучитель, истязатель» [2, II, с. 1268]. Поскольку слова *ражьнъ* и *стрѣкатель*, *пострѣкатель* являются синонимами в прямом значении, то по действию синонимической аналогии у слова *ражьнъ* могло развиться переносное значение «мучитель, истязатель». На то, что у *ражьнъ* действительно было это значение, указывает само его употребление (с соответствующим пояснением) в Изборнике 1073 г. и, во-вторых, его замена в Ег., где на его место поставлено слово *пострѣкатель*: Дасть ми сѧ ражьнъ (*пострѣкатель* — Ег. л. 105об) плъти·англъ сотонинъ·да мѧ моучить...

12. *Развратити.*

Все известные значения слова *развратити* — «разрушить», «отклонить», «совратить», «извратить», «испортить» [2, III, с. 25] не соответствуют тому употреблению слова, которое мы находим в Изборнике 1073 г.: чьто ли Іоуде... оудавлениюмь житиѥ си развративъшѫ (л. 38в) — греч... ὕστερον δὲ ἀγχόνης τὸν βίον καταστρεφάμενος. Среди значений καταστρέφω было значение «кончать свою жизнь», «погибать». Медиальный залог греческого причастия передан местоимением *си*; все выражение *си развративъшѫ* представляет собой кальку греческого причастия καταστρεφάμενος со специфическим значением «погубить». На наличие этого значения у славянского слова указывает и замена *развратити* на *погубити* в том же самом контексте в Тл. (л. 39об).

13. *Съмащати.*

Определить прямое значение этого слова не составляет труда: образованное от общеслав. корня **maz-*, это слово имело значение «смазывать», «покрывать чем-л.». В этом значении слово употребляется и в Изборнике 1073 г.: и паки съ каломь съмащаеши оуста (л. 53а), т. е. «вновь ты покрываешь уста нечистотами» Неясным остается здесь смысл употребления предлога *съ*. Далее, писец Ег. в этом же контексте заменил *съмащаеши* на *съмѣшаеши*, а писец Рм.— на *съмоущаеши*. Очевидно, что писцы ошиблись, поскольку употребление *съмоущати* и *съмѣшати* в данном контексте совершенно неоправданно. Но, с другой стороны, не говорят ли эти ошибки о том, что все три названные глагола были синонимами, но такими, различия которых в данном контексте не нейтрализуются (как это, например, случается с синонимами *коричневый* — *гнедой* в словосочетании **гнедой карандаш*)? Это предположение усиливает обратная замена *съмоущати* на *съмащати* в тексте: похоть же часто съмоущаема (*съмащаема* — Рм., л. 43) (л. 58б) Каким же образом у *съмащати* могло появиться значение «смешивать» (значения «смущать», «волновать» можно объяснить из последнего как простой перенос)? Решающую роль, по-видимому, здесь сыграл греческий язык Предложению: и пакы съ каломь съмащаеши оуста соответствует греч. καὶ πάλιν φύρεις βορβορῳ τὸ στόμα. Глаголом *съмащати* переведено слово φύρω. Это слово имело значение «смешивать, месить», и тогда его переводили глаголом *мѣшати*; кроме того, φύρω имело еще значение «смачивать», «осыпать» «покрывать», и в этом случае его переводят глаголом *съмащати*. Именно потому, что оба слова — *съмѣшати* и *съмащати* — использовались для перевода одного греческого глагола φύρω, они стали восприниматься как синонимы с общим значением «мешать, смешивать». Но поскольку синонимами были слова *съмѣшати* и *съмоущати* в значении «волновать, возбуждать», «приводить в смущение», то по действию синонимической аналогии эти же значения могли появиться и у глагола *съмащати*. Иначе трудно объяснить замену *съмоущати* на *съмащати* в тексте похоть же часто съмоущаема (съмащаема) — греч. ὁ δὲ θυμὸς συνεχῶς ταρασσόμενος. Глагол ταράσσω имел и прямое зна-

чение «мешать, смешивать», и переносное «волновать», «приводить в смущение».

Итак, можно предположить, что глагол *съмащати* имел значения: 1) «смазывать», «покрывать»; 2) «смешивать»; 3) «волновать», «приводить в смятение».

14. О возможном значении глагола *въмѣнити*.

Обычным для словарей значением слова *въмѣнити* является абстрактное «счесть, посчитать чем-л.» [3, вып. 2, с. 230]. Однако известно, что одной из языковых универсалий является развитие значений от конкретного к абстрактному, процесс метафоризации конкретных, прежде всего пространственных значений для выражения отвлеченных понятий. В последующем употреблении начальные конкретные значения могут забываться. Не исключено, что первоначальным значением корня **mei-* было «пространственное перемещение» [1]. Направление и характер этого перемещения указывался приставкой: так, *заменить* первоначально, видимо, значило «изъять одно и вставить на его место другое», *отменить* — «изъять и оставить пустым», *применить* — «приложить одно к другому» и т. д. В таком случае *вменить* (*въмѣнити*) означало «вставить что-то во что-то». Именно в этом значении употребил слово *въмѣнити* писец Ег., когда заменил им слово *въмѣсити*: Се въ чистъ источьникъ гнои кто въмѣсивь (*въменит* — Ег. л. 85об)·вьсь и нечистъ створитъ (л. 87а). Здесь *въмѣнити* явно означает «поместить, вставить, вложить». Ср. греч. εἰς πηγὴν καθαρὰν κόπρον τίς ἐμβαλων πάσαν αὐτὴν ἀκάθαρτον εἰργάσατο, где ἐμβάλλω значит «бросать, кидать во что-л.». С этой точки зрения заслуживают внимания устойчивые сочетания *въмѣнити во что-л.* и *въмѣнити ни во что*, в которых предлог *во* явно указывает на направление пространственного перемещения. Первое сочетание первоначально, видимо, значило «вставить что-то во что-то» > «дать место в чем-л. (иерархии, системе)» > > «определить» > «посчитать за что-л., в качестве чего-л.» [3, вып. 2, с. 230]. Второе сочетание означало «не вставлять, не помещать ни во что» > > «оставить без места» > «пренебречь чем-л., не посчитать за важное» [3, вып. 2, с. 230]. Ср. также современное прилагательное *вменяемый* (*невменяемый*), по происхождению являющееся страдательным причастием со значением «наполняемый»; в переносном смысле это слово стало обозначать разумного человека, который способен воспринимать то, что ему говорят; впоследствии это значение стало единственным.

Наконец, обращает на себя внимание тот факт, что глагол *вменить* при своем широком значении «считать» обладает очень ограниченной сочетаемостью: *вменить в вину*, *обязанность*. Возможно, что это противоречие предопределено этимологическим значением, «этимологической памятью» слова: поскольку *обязанность* происходит от *вязать* [9, III, с. 112], то *вменить в обязанность* некогда значило как бы «поместить в обвязывающее»; аналогичная картина наблюдается и в словосочетании *вменить в вину*, если только *вина* происходит от *вить*, хотя многие этимологи с этим не согласны [6, I, с. 84; 9, I, с. 316].

15. *Любьствовати*.

И. И. Срезневский это слово дает без перевода и иллюстрирует единственной цитатой из Изборника 1073 г.: Еже любити ба и ближьнаго и еже не любьствовати. (л. 41) [2, II, с. 91], смысл которой не очень ясен. В [3, вып. 8, с. 340—341] это слово переведено как «любить» и проиллюстрировано двумя цитатами: приведенной выше цитатой из Изборника 1073 г. и из Орла российского 1667 г. Симеона Полоцкого, в которой слово *любьствовати* употреблено именно в значении «любить». Цитата же

[1] Ср.: М. Фасмер сближает русск. *мена* с лат. *communis* «общий», др.-в.-нем. *mein* «лживый, обманный», ирл. *moin*, *main* «драгоценность» [10]. А. Львов рассматривает глагол *вменить* как родственный нем. *meinen* «полагать», «думать», «подразумевать» [11].

из Изборника 1073 г. была искажена Срезневским (пропуск словосочетания), укорочена и потеряла смысл; таком виде без проверки она была перенесена в [3] и даже еще более изменена (замена начального *еже* на *что*). Если же обратиться к тексту Изборника, то мы находим там следующее: Се рекоу по заповѣди·еже любити ба и ближьнлаго·и любити врагы· и ѥже не любьствовати·и прокоѥ·ѥже прѣступающе осоуждлѥмъсѧ (л. 41в). Здесь смущает явно ошибочное *осоуждлѥмъсѧ*: за что же осуждаемся, если соблюдаем заповедь? Поэтому писец Ег. совершенно справедливо заменил *осоуждлѥмъсѧ* на *оправдаемсѧ*. По смыслу заповеди христианину следует *любити* (бога, ближних и врагов), но не *любьствовати*; *любити и любьствовати* совершенно явно противопоставлены как два рода любви — религиозно-духовной и греховной плотской. Писец Ег. (кстати, старший современник Полоцкого) именно так это и понимал, поскольку заменил *любьствовати* на *любодѣиствовати*. Из этого можно заключить, что по крайней мере в XI в. слово *любъствовати* еще имело значение «прелюбодействовать, развратничать, распутничать» (ср. греч.... τὸ αγαπᾶν τὸν θεὸν καὶ τὸν πλησίον, τὸ ἀγαπᾶν τοὺ ἐχθρους, τὸ μὴ μοιχεύειν, καὶ τὰ λοιπά, где μοιχευω значит «нарушать супружескую верность», «прелюбодействовать, развратничать»).

16. *Плотъ.*

Обычно значениями слова *плотъ* в древнерусском языке считаются «ограда, плетень», «плотина», «помост», «плот» [2, II, с. 969]. Однако, как это ни покажется нам сейчас странным, этим словом заменено слово *плеть*: Нѣсть паданиꙗ плети (плотоу)·нѣ ни въплꙗ въ стьгнахъ ихъ (л. 80а) (греческий текст отсутствует), причем заменено не в одном списке, а сразу в трех, относящихся к разным редакциям и группам — в Рм., Тл. и Ег. Поскольку к тому же *плеть* и *плотъ* являются словами родственными, восходящими к праслав. **plekti*, то все это позволяет добавить к приведенным значениям слова *плотъ* еще и значение «плеть, бич».

17. *Здравие.*

Слово *съдравие* имеет значение «здоровье» [3, вып. 5, с. 365]. Но в Изборнике 1073 г. это слово употреблено в значении процесса, ведущего к здоровью, т. е. в значении «выздоровление, исцеление»: дьнии четрьдесѧти даѥши на съдравие дши (л. 53б). В соответствии с этим значением в Ег. *съдравие* заменено на *исцѣленіе* (л. 57). Ср. греч. ἡμέρας μ ἀπονεμεις τῇ ὑγίᾳ τῆς ψυχῆς, где ὑγίεια имеет значение «здоровье» и значение «исцеление, выздоровление».

18. *Държати.*

Рассматривая этимологию слова **dьrž'ati*, О. Н. Трубачев указывает на связь этого слова с «понятием силы, начала действия» [7, вып. 5, с. 231]. Эта связь предполагает, что субъектом действия при этом глаголе может быть только живое существо. Если же при глаголе *държати* появляется неодушевленный субъект действия, то в этом случае глагол употребляется метафорически. Так, в Рм. словом *държати* заменен глагол *оупражнꙗти* «занимать (место)» [2, III, с. 1247]: приде плода ища на смокъве и не обрѣте· и повелѣ посѣщи ж да и мѣста не оупражнꙗѥть (*дрьжить* — Рм., л. 78) (л. 85в) — греч. ... καὶ κελεύοντι αὐτὴν ἐκκόπτεαθαι ἵνα μὲ καὶ τοὺ τόπου καταργῇ ὁ γὰρ πλοῦτος. В новозаветной традиции καταργέω имело значение «без пользы занимать место» Ясно, что если смоковное дерево *държить мѣсто*, то оно не владеет им, а занимает его. Однако значение «занимать (место)» у глагола *държати* не отмечено ни в [2], ни в [3] (ср. также польск. *dzierżyć* «арендовать», т. е. «временно занимать место»).

Выше мы старались показать, что лексико-синонимическая вариативность служит историку языка надежным инструментом изучения семантики слова. Но при всей своей эффективности, однако, этот метод достаточ-

но трудоемок. Из имеющихся в наличии десятков и даже сотен списков какого-либо памятника исследователь должен выбрать списки, характеризующиеся наибольшей лингвистической содержательностью, т. е. заключающие в себе наибольшее количество языковых отличий сравнительно с другими списками, а это в свою очередь требует предварительного текстологического изучения списков. Следует заметить, что пользоваться готовыми текстологическими выкладками историков и литературоведов нужно с большой осторожностью, поскольку эти специалисты исходят не из языковой, т. е. формальной содержательности, а из смыслового содержания, а они не всегда совпадают. Так, в нашем случае Тл. по всем признакам (кроме языковых) мало чем отличался от списков первой группы полной редакции. Однако в языковом отношении Тл. обладает едва ли не наибольшим количеством лексических особенностей.

При анализе конкретной вариации нельзя во всем доверяться писцам, считать, что им было виднее, когда они употребляли то или иное слово. Они могли ошибаться при употреблении или замене, но могли и исправить чужую ошибку. Поэтому вариация — не последняя инстанция, обладающая абсолютной доказательной силой, а лишь начало рассуждений. Лингвистический смысл вариации должен быть вскрыт на основе анализа контекста, семантики варьирующихся слов, их словообразовательной структуры, этимологии, потенциальных возможностей к метафоризации и т. д. Лишь после этого можно будет увидеть в вариации явление языка (а не текста) со всеми вытекающими отсюда последствиями для исторической лексикологии и лексикографии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Изборник великого князя Святослава Ярославича 1073 г. СПб., 1880.
2. *Срезневский И. И.* Материалы для Словаря древнерусского языка. Т. I—III.СПб., 1893—1903.
3. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 1—9. М., 1975—1982.
4. *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I—IV. М., 1978—1980.
5. Толковый словарь русского языка. По ред. Ушакова Д. Н. М., 1935—1940.
6. *Преображенский А. Г.* Этимологический словарь русского языка. Т. I—II. М., 1959.
7. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 5. М., 1978.
8. *Трубачев О. Н.* Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966, с. 240—241.
9. *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика. М., 1974, с. 225.
10. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. I—IV. М., 1964—1973.
11. *Львов А.* Заметки о словах.— РЯНШ, 1958, № 2.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1983

ВАССОЕВИЧ А. Л.

К ОСНОВАМ ЕГИПЕТСКОГО ВОКАЛИЗМА

Изучение системы египетского вокализма является одной из важнейших задач египетской филологии. База для исследований звукового строя египетского языка уже создана. На основе сопоставления коптских слов с их иероглифическими соответствиями классиками египтологии были выведены три правила образования и функционирования слогов в египетском языке, которые позволили осознать важнейшие закономерности, связанные с огласовкой изолированного египетского слова [1]. Тогда же возникло и стремление разработать принципы вокализации египетских имен собственных, которые часто представляют собой целые словосочетания, а то и законченные предложения. Примером работы такого рода является вокализационный аппендикс «B» в «Egyptian Grammar» Э. Гардинера [2]. Однако и Гардинер всего лишь механически соединял коптскую огласовку с древним согласным скелетом имени.

Созданием последовательной системы огласовки египетских имен собственных мы обязаны Ю. Я. Перепелкину. Основные принципы огласовки египетских имен собственных на коптский, точнее саидский лад впервые изложены Ю. Я. Перепелкиным в предисловии к первой части исследования о перевороте Амен-хотпа IV [3]. Огласовка египетских имен собственных на новоегипетский лад дана Ю. Я. Перепелкиным в истории Египта, написанной для подготавливаемой к изданию Институтом востоковедения АН СССР трехтомной «Истории Древнего Востока». Ю. Я. Перепелкин использовал для вокализации не только древнейшие клинописные передачи египетских имен собственных, но и данные египетского «силлабического» письма, самые принципы которого до сих пор не до конца ясны египтологам.

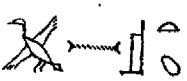
В ряде примеров длинных составных египетских имен, вопреки третьему правилу К. Зэте, редукция гласных в начале как будто не происходила: *Jmn-Rᶜ-n-sw.t-ntr.w* «Амон-Рэ царь богов» (в греческой передаче *'Αμονρασονθηρ* [2]) и *Ḫnmw-ᶜ'-nb-'bw* «Хнум великий владыка Йэб» (греческие передачи *Χνομωνεβιηβ* [2] и *Χνουβωνεβιηβ* [см. 4]).

Новой интерпретации египетского материала служит и положение, утвердившееся в последние годы в ассириологии, о том, что клинописные scriptiones plenae (т. е. написания типа *pa-a-*, *pi-i*,- *pu-u-*) использовались не для передачи долготы, как считалось раньше, а для передачи ударения, которое, впрочем, часто падало на долгий гласный. Известен ряд клинописных передач составных египетских имен, начинающихся с полных написаний:

1) ассирийское ^{m}*Pu-u-a-a-ma* [5, I, 99] [1] = египетскому имени

P'-(n-)jm [6], «Тот, который (принадлежит) морю»;

2) поздневавилонское ^{m}*Pa-a-ni-*^{d}*E-si-'* [7] = егип.



P'-n-'s.t [8, с. 105, 21] «Тот, который (принадлежит) Эсе»;

[1] В статье ссылки на десятигранную призму Ашшур-бани-апли даются следующим образом: римская цифра обозначает грань призмы, арабская цифра — клинописную строчку.

3) поздневавилонское $^{m}Pi\text{-}i\text{-}ti\text{-}ḫu\text{-}ru$ [9] = егип. *P'-dj-Ḥr* [8, с. 124, 19] «Тот, которого дал Хор».

Эти примеры подводят к заключению, что в составе египетских имен могло быть и второе начальное ударение. Обоснованию подобной возможности посвящена наша работа [10], в которой было сформулировано примечание к третьему правилу К. Зэте, согласно которому (примечанию) в многосложных именах собственных может появляться второе, вспомогательное ударение, падающее на начальный слог.

Бросается в глаза следующее: правило К. Зэте утверждает, что в слове (в том числе и в сложном) может быть только один ударный слог — последний или предпоследний [11, с. 176]; примечание же утверждает, что в словах (правда, сложных) ударных слогов может быть два и что один из этих ударных слогов даже может быть первым или вторым от начала.

Такое логическое противоречие между правилом (доказанным огромным количеством примеров) и примечанием (также подтверждаемым многочисленными примерами) можно истолковать как возможность установления некоторого языкового закона, высшего по отношению к правилу и примечанию порядка. Ассирийские, вавилонские, арамейские, греческие и коптские передачи составных египетских имен показывают, что второе начальное ударение появляется в именах по преимуществу весьма длинных. Это имена обычно более чем трехсложные, а чаще пяти-, шести-, семисложные. При этом здесь надо учитывать как реальное количество слогов в той или иной иноязычной передаче египетского имени собственного, так и «историческое» или «этимологическое» количество слогов в египетском имени. Например, греческая передача египетского имени «(бог) Монт впереди» — Μεντεμης [12] содержит три слога, ассирийская передача того же имени $^{m}Ma\text{-}an\text{-}ti\text{-}me\text{-}^{d}ḫe\text{-}e$ [5, I, 109] — четыре, но исторически имя содержало пять слогов: *m'n | t̲ᵊw-m-ḥ | 'ᵊt*. Точно так же три слога содержит греческая передача египетского имени «Рэ — родивший его» — Ῥαμεσσης [13] (ср. также др.-евр. רעמסס), клинописная передача из Богазкёй $^{m}Ri\text{-}a\text{-}ma\text{-}še\text{-}ša$ [14, с. 18] содержит пять слогов. Пять слогов содержало имя «Рэ — родивший его» и этимологически: *r- | ᶜᵃw-mᵃs | j'j-s'w*.

Анализируя таким образом множество коптских, греческих и клинописных передач, удалось выявить закономерность, которая позволила скорректировать формулировку третьего правила и вывести новое — четвертое правило функционирования слогов в египетском языке.

Теперь третье правило можно сформулировать так:

Если слово (в том числе и сложное) содержит менее четырех слогов, то оно стремится иметь один долгий или краткий ударный гласный — это гласный последнего или предпоследнего слога; в безударных слогах гласные имеют тенденцию редуцироваться. Например: 1) (простые слова) — новоегип. $^{a}m\acute{a}n^{e}$, позднеегип. $^{a}m\acute{u}n^{e}$ (< ^{ᵊ}j | m^{-} | $n^{ᵊ}w$) «(бог) Амун»; позднеегип. $^{u}s\acute{i}r^{e}$ (< ^{ᵊ}w | s j' | $r^{ᵊ}w$) «(бог) Усире»; позднеегип. $n\bar{u}b^{e}$ (< n^{-} | $b^{ᵊ}w$) «золото»; позднеегип. $b\bar{u}k^{ᵊ}$ (< b' ' | $k^{ᵊ}w$) «раб»; копт. $s\acute{o}t^{e}m$ (< s^{-} | $ḏ^{ᵊ}m$) «слушать»; 2) (сложные слова) — позднеегип. $ḥ^{a}rw\acute{a}ḏ^{e}$, копт. $ḥ^{e}rw\acute{o}ḏ$ (< h^{-} | $r^{ᵊ}w$-w' '$ḏ^{ᵊ}w$) «(бог) Хор цел»; позднеегип. $p^{ᵊ}n\acute{u}b^{e}$, копт. $p^{i}n\acute{u}b$ (< p^{-} | $r^{ᵊ}w$-n^{-} | $b^{ᵊ}w$) «Дом золота»; позднеегип. $m^{e}nt^{e}mḥ\acute{e}$ (< $m'n$ | | $t̲^{ᵊ}w$-m^{-}-$ḥ^{-}$ | $'^{ᵊ}t$) «(бог) Монт впереди» [2] и т. д.

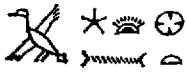
---

[2] Существует две греческие передачи этого имени. Первая из них Μεντεμης прекрасно подтверждает новую формулировку третьего правила. Но, быть может, вторая, Μοντομης [12], противоречит ей. Не исключено, что гласный *o* в первых двух слогах второй передачи отнюдь не был ударным и перед нами редуцированный гласный с легким призвуком *o*. Впрочем, есть и иное объяснение, но оно требует знания четырех положений, о которых речь пойдет ниже.

Четвертое правило функционирования слогов в египетском языке можно сформулировать так:

Если сложное слово (в том числе и имя собственное) содержит более трех слогов, то оно стремится иметь два противостоящих долгих или кратких ударных гласных: в конце сложного слова это гласный последнего или предпоследнего слога, в начале, соответственно, гласный первого или второго слога. Гласные промежуточных, межударных слогов, как и гласные слогов предударных и заударных, если таковые наличествуют, имеют тенденцию редуцироваться. Например: позднеегип. *ᵃmŏnᵒrtăisᵉ* и *ᵃmŭrtăis* (<*ᵃj|mˊ|nᵃw-jˊr-dˊj-sˊw*) «(бог) Амун дал его»; позднеегип. *ᵃmŏnrᵃsᵒntĕr* (<*ᵃj|mˊ|nᵃw-rˊ|ᶜᵃw-nˊj-sˊ|wᵉt-ᵒn|tˊr|wᵉw*) «Амон-Рэ царь богов»; копт. диал. формы *phămenŏth*, *pă̆mᵉnhă̆tᵉp*, *pă̆rᵉmhă̆tᵉp*, *pă̆rᵉmhŏtᵉp* (<*pˊ'-nˊj-ᵃj|mˊ|nᵃw*) «тот (месяц), который (принадлежит) Амен-хотпу» и т. д.

Сразу хотелось бы устранить возможные возражения. Ю. Я. Перепелкин, знакомясь с формулировкой четвертого правила, любезно указал на греческую передачу Ψουσεννης, которой соответствует египетское имя



P'-sb'-hᶜ-n-nw.t «Звезда, воссиявшая в Городе (т. е. в Нэ)». Может сложиться впечатление, что эта передача, как и некоторые другие, подобные ей, противоречит формулировке четвертого правила функционирования слогов в египетском языке. Ведь мы видим трехсложное составное имя с отличительной приметой начального ударения — гласный первого слога не редуцирован. Оно может быть объяснено, если учесть четыре положения, в которых получают отражение две основные тенденции звукового строя египетского языка.

Звуковой строй египетского языка характеризуется двумя стремлениями, порожденными принципом экономии речевых усилий. Одно из этих стремлений уже давно известно египтологам — это редукция [см., например, 11 и 15]. Но с появлением редукции возникает предпосылка и для противоположного редукции процесса, который можно условно назвать контрредукцией. Характернейшим порождением этого процесса будут начальные ударения.

Иногда начальное ударение играло смыслоразличительную роль, например, в имени *p'-(n)-jm* «Тот, который (принадлежит) морю» (ассир. *ᵐPu-ú-a-a-ma*) начальное ударение совершенно необходимо, чтобы отличить его от другого имени — копт. **ⲡⲓⲟⲙ, ⲡⲓⲁⲙ** *P'-jm* «Фаюм».

Итак, в египетских составных именах мы сталкиваемся с двумя противоположными звуковыми стремлениями. Сами же египетские имена собственные зачастую были словосочетаниями или — что сейчас нам особенно важно — предложениями, смысл которых был понятен носителям языка. Поэтому не исключено, что действие указанных тенденций распространяется и на обычные фразы египетского языка и постулируемая нами закономерность может оказаться общей.

В этом случае можно с полным правом говорить о законе сосуществования двух противоположных звуковых стремлений (или тенденций) внутри фразы. Это тенденции к редукции и контрредукции.

Закон сосуществования двух противоположных звуковых стремлений внутри фразы проявляется в четырех положениях.

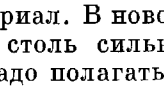
Положение I. Египетскому языку присуще фразовое ударение. (Под фразовым ударением мы понимаем такое ударение, которое объединяет несколько слов, сплоченных тесной смысловой связью, в единую ритмическую группу.)

К этому положению, изучая коптский языковой материал, вплотную подошел К. Зэте. В 1923 г. он писал: «Редукция безударных гласных не

ограничивается в коптском языке отдельными словами, но также простирается на целые словесные комплексы, в которых ударение покоится на последнем слове комплекса, т. е. на его последнем или предпоследнем слоге. Этот слог образует в этом случае главный слог комплекса, предшествующие элементы которого ведут себя так, что в качестве гласного появляется только *ĕ* или его модификации» [11, с. 182]. Впрочем, лучшим доказательством существования фразового ударения может служить тот факт, что коптологи до сих пор не выработали единых принципов членения связанного коптского текста. Те же разнообразные членения, с которыми мы сталкиваемся в научной литературе, свидетельствуют о том, что текст все-таки делят не на слова, а на определенные ритмические группы. (Каждый, впрочем, делит его по своему усмотрению.)

Итак, хотя К. Зэте нигде не говорит о фразовом ударении в коптском языке, вывод о его существовании напрашивается сам собой. Более того, греческие и клинописные передачи египетских имен-фраз позволяют утверждать, что фразовое ударение было присуще и позднеегипетскому языку, а предпосылки для его возникновения можно найти в новоегипетском.

Положение II. Для фразы характерны два ударения — конечное и начальное.

Существование конечного ударения в словесных комплексах египтологам и коптологам известно давно. Предположение о наличии начальных ударений в словесных комплексах было высказано в статье «Загадка Амонрасонтэра. . .» [10]. Здесь добавим лишь, что сейчас известно значительно большее количество клинописных передач составных египетских имен, начинавшихся с полных написаний. Среди них особо хотелось бы выделить клинописную передачу XIV в. до н. э. ^{m}*Ha-a-ra-ma-aš-ši* [14, с. 10] [= егип.  *Ḥr-ms(.w)*], которая свидетельствует о том, что начальное ударение существовало не только в позднеегипетском, но и в новоегипетском языке.

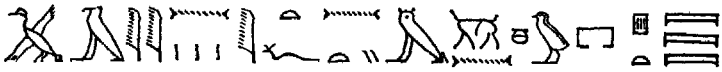
Положение III. Слова или части слов, входящие в состав фразы и находящиеся между двумя «полярными» ударными слогами, равным образом как и слова или части слов, оказавшиеся за пределами противостоящих ударений, стремятся терять свои исконные ударения, гласные этих слов имеют тенденцию редуцироваться.

Это положение наиболее ярко иллюстрирует позднеегипетский языковой материал. В новоегипетском языке редукция гласных была развита отнюдь не столь сильно, как в последующие периоды развития языка. Поэтому надо полагать, что явление внутренней и внешней редукции в новоегипетском языке лишь начинает формироваться.

Положение IV. Вследствие редукции слова фразы, находящиеся между ударениями, стремяться к стяжению в соответствии с конкретными фонетическими закономерностями, что часто приводит к сокращению звукового объема фразы.

Это последнее положение могут подтвердить чуть ли не все известные иноязычные транскрипции египетских имен-фраз. Для этого надо лишь сопоставить количество слогов в любой из иноязычных передач с «историческим» и «этимологическим» количеством слогов в соответствующем египетском составном имени. Могут возразить, что сокращение звукового объема имен еще не служит надежным доказательством, что сокращения свойственны именам во многих языках (ср. русск. *Димитрий* → *Дмитрий* → *Митрий* → *Митя*). Чтобы окончательно доказать, что четвертое положение распространяется на весь языковый материал, а не только на имена, можно привести несколько коптских предложений, а затем дать их этимологическую транскрипцию иероглифами. Разумеется, получаемый иероглифический текст будет чистой абстракцией, но мы увидим, что любая коптская фраза в сущности состоит из остатков некогда многозвучных египетских форм.

ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ-ϩⲛ̀ⲙⲡⲏⲩⲉ

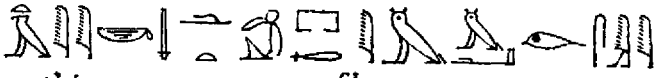


p'j.n jt ntj m-ḫnw p.t.w

ⲙⲁⲣⲉ-ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ

jmj jrj p'j.k rn wᶜb(.w)

ⲧⲉⲕⲙⲛ̀ⲧⲉⲣⲟ ⲙⲁⲣⲉⲥⲓ



t'j.k md.t prᶜ' jmj jrj.s jj

Следует также обратиться к анализу примеров, казалось бы, противоречащих четвертому правилу функционирования слогов в египетском языке. Это трехсложные передачи составных египетских имен, в начале которых не обнаруживается редукция гласного. Например, Ψουσεννης = = егип. *R'-sb'-hᶜ -n-nw.t*, Μοντομης = егип. *Mnṯ.w-m-ḥ'.t*, Ὀρσυθμις = = егип. *Ḥr-sdm(.w)* и т. д.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что этимологически все эти имена отнюдь не являются трехсложными. Почти наверняка они имели начальное ударение и до своего сокращения. Когда же вследствие внутренней редукции произошло стяжение межударных слогов и имена стали трехсложными, начальное ударение в ряде случаев продолжало сохраняться (так объясняется причудливая форма Ψουσεννης, привлекшая внимание Ю. Я. Перепелкина). Впрочем, в большинстве случаев составные имена, имевшие прежде начальные ударения, став трехсложными, теряли их. Например: ассир. *mǎntimeḫê* → греч. *mǒntomês* → греч. *mentemês*; греч. *hǒrsȳtmis* → греч. *harsȳtmis*.

Так, в «позднеегипетскую» эпоху в этих четырех положениях последовательно реализуются возникшие в значительно более ранние времена две противоположные звуковые тенденции внутри фразы.

Эту закономерность можно назвать основным законом звукового строя египетского языка не только потому, что под ее действие в той или иной степени подпадает любая фраза, любое предложение, но и потому, что она отчасти может объяснить, как старо- и среднеегипетский языки через новоегипетский и позднеегипетский превращаются в язык коптский.

Скажем, когда редукция поглотила архаические родовые окончания *.w* и *.t* и существительные обоих родов приобрели одинаковый исход — редуцированный гласный на конце, возникла естественная необходимость выражать род существительных с помощью артиклей: определенный член м. р. *p'*, определенный член ж. р. *t'* и т. д. А раз эта необходимость реализовалась, то надо было теперь отличать, к примеру, определенный член *p'* от указательного местоимения *p'* (к которому артикль исторически восходил). И это вызвало потребность акцентировать в речи *p'* — указательное местоимение, в отличии от *p'* — артикля.

Так фонетические процессы, связанные с законом сосуществования двух противоположных звуковых тенденций, вызывали изменения синтаксической структуры. Но вместе с тем и синтаксические изменения оказывали влияние на вокализацию слов в египетском языке.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Sethe K.* Das aegyptische Verbum im Altaegyptischen, Neuaegyptischen und Koptischen. Bd. 1. Leipzig, 1899, S. 12.
2. *Gardiner A.* Egyptian Grammar. 3-d ed. Oxford, 1957, c. 437.
3. *Перепелкин Ю. Я.* Переворот Амен-хотпа IV. Ч. I. Кн. 1 и 2. М., 1967, с. 5—7.
4. *Edel E.* Altägyptische Grammatik. Bd. 1. Roma, 1955.
5. Десятигранная призма Аššур-бани-апли.— В кн.: *Липин Л. А.* Аккадский (вавилоно-ассирийский) язык. Вып. 1. Л., 1957.
6. *Fecht G.* Zu den Namen ägyptischer Fürsten und Städte in den Annalen des Assurbanipal und der Chronik Asarhaddon.— Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Abteilung Kairo, 1958, XVI, S. 113.
7. *Clay A. T*: Business documents of Murashu sons of Nippur, dated in the reign of Darius II (424—404 B. C.). The Babylonian Expedition. Cuneiform texts. Philadelphia, 1904; X, 129, 18.
8. *Ranke H.* Die ägyptische Personennamen. Bd. 1. Glückstadt, 1935.
9. *Strassmaier J. N.* Inschriften von Darius, König von Babylon (521—485 v. Chr.). Hf 1. Leipzig, 1892, S. 204, 5.
10. *Вассоевич А. Л.* Загадка Амонрасонтэра или примечание к третьему правилу Курта Зэте.— ВДИ, 1981, № 3.
11. *Sethe K.* Die Vokalisation des Ägyptischen.— ZDMG, 1923, Bd. 77, N. F., Bd. 11.
12. *Preisigke F.* Namenbuch. Heidelberg, 1922, Sp. 214.
13. *Pape W.* Wörterbuch der griechischen Eigennamen. 3. Aufl., Bd. 2. Braunschweig, 1884, S. 1300.
14. *Ranke H.* Keilschriftliches Material zur altägyptischen Vokalisation. Berlin, 1910.
15. *Вассоевич А. Л.* К реконструкции системы египетского вокализма (о редукции гласных в египетском языке VII века до нашей эры).— В кн.: Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока: XVI годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР (доклады и сообщения). Ч. 1. М., 1982.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1983

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

АЛЕКСЕЕВ П. М.

О НОВЫХ РАБОТАХ В СЛАВЯНСКОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

Становится все более очевидным, что нецелесообразно ограничивать сферу статистической лексикографии словарями исключительно частотными. Статистические словари других видов составляются и публикуются; они привлекают внимание специалистов широкого круга; предпринята попытка их классификации [1]. Однако частотные словари (ЧС) по-прежнему преобладают в статистической лексикографии [2], а появление очередного ЧС становится заметным событием не только для лингвостатистики.

За последние годы опубликованы два первых выпуска из серии ЧС белорусского языка [3], серия из пяти ЧС польского языка [4], совсем недавно вышел в свет двухтомный ЧС, открывший серию ЧС украинского языка [5]. Эти серии в большей или меньшей степени различаются по оформлению входящих в них ЧС, по способу составления, по объему и отбору текстового материала, по принципам анализа лингвистических единиц текста.

Общее же для них заключается не только в том, что они отражают первый опыт выявления лексики, наиболее употребительной в этих языках. Они убедительно демонстрируют, что составление ЧС, представляющего письменную форму «языка в целом»,— работа крайне ответственная; она требует высокой лингвистической квалификации, лексикографического опыта, умения грамотно использовать технику количественного наблюдения. Среди составителей, консультантов и кураторов мы видим имена известных и авторитетных специалистов.

Важной особенностью рассматриваемых ЧС является их серийность. Получила окончательное, по-видимому, признание та точка зрения, согласно которой многоцелевой ЧС, особенно претендующий на охват большой жанрово-стилистической совокупности текстов, должен строиться как комбинация отдельных ЧС, имеющих самостоятельную применимость[1]. «Дифференциально-интегральный» подход в статистической лексикографии допускает типологическое сопоставление отдельных подъязыков, стилей, «регистров», он позволяет максимально разнообразить выборку, нивелировать неизбежные субъективные оценки в подборе текстов, нейтрализовать влияние поспешных решений в организации исследования.

ЧС рассматриваемых серий демонстрируют, далее, признание необходимости помещать в публикуемый словарь в с е лингвистические единицы данного уровня (слова и/или словоформы), которые обнаружены в обследованных текстах, в том числе и редкоупотребительные.

Всякий ЧС можно рассматривать, исходя из ряда свойственных любому из них признаков. К ним относятся прежде всего такие явные признаки, видимые при беглом взгляде на ЧС, как язык, входная единица, по-

[1] См., например, пятитомную серию ЧС латышского языка (1 — Техника и промышленность, 2 — Газеты и журналы, 3 — Художественная литература, 4 — Наука) [6—9], а также суммирующий материалы трех томов сводный том [10].

рядок размещения входных единиц, способ представления частот и других численных показателей. Дополнительную, не менее важную для характеристики словаря информацию сообщает составитель в комментарии или предисловии к ЧС, куда входят сведения о размере и содержании текстов и их распределении в выборочном корпусе, об объеме ЧС и, если не все его единицы вошли в публикацию, то о том, сколько их осталось за ее пределами, о технике анализа текстов, о принципах регистрации в тексте единиц ЧС и т. д.

С точки зрения полноты таких сведений серия ЧС белорусского языка выглядит наиболее экономной. Некоторые общие соображения о целях и смысле предпринятого исследования содержатся в предисловии к первому выпуску ЧС (художественная проза). Кроме него и вышедшего позднее (соответственно 1976 и 1979 гг.) ЧС публицистики запланирован ЧС деловых и научно-технических текстов. В дальнейшем предполагается анализ фольклорных и поэтических текстов, а также разговорной речи, в том числе и в том виде, в каком она представлена драмой и прозой.

Для первого ЧС использовались тексты послевоенных художественных произведений. Общее количество авторов и источников не указывается. Длина минимального фрагмента равна 1 тыс. словоупотреблений. Всего в корпусе текстов 290 таких фрагментов, а их суммарная длина составляет 290 словоупотреблений. В корпусе обнаружены 21 754 разных слова, за вычетом собственных имен и цифровых обозначений. Все эти слова помещены в ЧС в порядке убывания частот. Слова, встретившиеся не менее 15 раз, приводятся списком с указанием их частотных номеров, частот и количества фрагментов для каждого слова. Более редкие слова разбиты на группы по частоте и, внутри каждой группы, на подгруппы по количеству фрагментов текста.

1002 слова с частотами не менее 31 приведены дополнительным списком; при каждом из них указана его частота и число фрагментов, в которых оно встретилось.

Во введении не сообщается, как регистрировались словоупотребления текста, как они приводились к словарным формам. Поэтому читатель, знакомый с различными ЧС, может быть вначале озадачен, увидев именно слово *ён* («он») как самое частое (в художественной прозе, в письменной речи), а не такие слова, как *і* («и») или *у*, *ў* («в»). Недостающую информацию, правда, он может восполнить, просмотрев весь ЧС белорусского языка и обнаружив, что *ён*, очевидно, объединяет в себе все местоимения третьего лица обоих чисел. Однако повторять эту процедуру относительно подобных и других неясных случаев было бы затруднительно, поэтому составители должны были бы сами помочь в этом читателю.

Из-за того, что не указано соотношение прямой и авторской речи в выборке, можно предположить обязательным наличие первой в каждом фрагменте текста. Иначе трудно объяснить, почему местоимения *я* и *ты* встретились соответственно в 285 и 280 фрагментах из 290.

Второй выпуск ЧС (публицистика) составлен по выборке несколько большей. В 310 текстовых фрагментах по 1 тыс. словоупотреблений из ряда газет и одного журнала встретились 18 319 слов, не считая собственных имен. По оформлению оба выпуска идентичны. В частотном порядке представлены все слова, в алфавитно-частотном — около тысячи самых частых. Отличается второй выпуск от первого не только характером текстов, но и тем, что в перечень слов включены подвергнутые буквенной расшифровке числительные, которые в тексте употреблены в цифровой записи.

Хочется надеяться, что составители ЧС белорусского языка и их издатели не задержатся с публикацией очередных выпусков, а в этих выпусках желательно увидеть больше сведений о составе выборки и о способах ее анализа.

ЧС современного польского языка задуман и выполнен как серия из пяти отдельных словарей (планируется также выпуск сводного ЧС), изданных в виде пяти томов, четыре тома сброшюрованы в две книги каждый, а один — в три. Им предшествовал пробный том, ЧС публицисти

ки [2], повторенный затем с некоторыми модификациями как третий том серии. Объем выборки для каждого из пяти томов равен 100 тыс. словоупотреблений, и общая длина всего корпуса текстов доведена до 500 тыс. словоупотреблений.

ЧС польского языка примечателен не только тем, что он издан как серия отдельных, составленных по унифицированной методике ЧС, но и другими особенностями. Во-первых, он, как и рассмотренный выше ЧС, является «полным»; в нем приведены все обнаруженные в выборке слова (и, как увидим далее, словоформы). Во-вторых, и это самое главное его отличие от подавляющего большинства других ЧС, в нем приводятся как слова, так и словоформы, что сделано опять-таки «нетрадиционным» образом — каждое слово полного алфавитно-частотного списка сопровождается перечнем всех его форм, зарегистрированных в тексте. При словах и словоформах указаны их частоты и цифровые, кодовые обозначения частей речи, а при словоформах также и коды грамматических категорий.

Удачно выбранный способ представления двух ЧС (слов и словоформ) в одном словаре и наличие полных сведений о лексико-грамматических и грамматических значениях входных единиц значительно повышают практическую и теоретическую ценность ЧС этой серии и выгодно отличают их от других известных словарей.

В I томе (Научно-популярные тексты) содержатся 32,9 тыс. словоформ и 15,3 тыс. слов. Соответственно для II тома (Мелкие газетные информационные материалы) эти цифры равны 30,6 тыс. и 14,7 тыс., для III тома (Публицистика) — 28,4 тыс. и 12,1 тыс., для IV тома (Художественная проза) — 32,7 тыс и 16,4 тыс., для V тома (Художественная драма) — 23,2 тыс. и 11,2 тыс. Эти данные, кстати, могли бы несколько прояснить вопрос о количественной мере аналитизма языка как отношении числа разных слов к числу разных словоформ в одном и том же тексте. Предложенная двадцать лет назад [11], эта оценка, как ни казалась она информативной, вызвала возражения уже потому, что численное отношение слов к словоформам меняется с изменением длины текста [3]. Поэтому сравнивать языки с помощью таких оценок, если они получены на материале выборок несопоставимых объемов, было бы некорректным. Теперь к этому можно добавить, что для оценок аналитизма не следует использовать данные ЧС, не сопоставимых также и по содержанию выборок, на которых они базируются. Нетрудно увидеть, что «мера аналитизма» на материале I—V томов ЧС польского языка равна соответственно 0,47; 0,45; 0,43; 0,50; 0,50.

Кроме алфавитно-частотного списка всех слов и словоформ, в каждом томе приводятся полный обратный список слов с указанием их частот и лексико-грамматических кодов и частотный список слов с частотами не менее 9. Эта цифра принята в качестве пороговой и, по мнению составителей, означает, что при выборке в 100 тыс. словоупотреблений обеспечивает вполне допустимую ошибку в определении частот, величина которой равна 65%. Отметим, что очень часто разные составители разных ЧС достаточно произвольно задают величины коэффициентов, допустимых ошибок, подставляя их в общем-то похожие одна на другую формулы. Эти различия, впрочем, не должны смущать читателя, адресата ЧС, но только в том случае, если ему предлагается п о л н ы й словарь, а не урезанная его часть, которая осталась после удаления «недостоверной» зоны.

Обратный словарь — явление пока еще редкое в лексикографии [4], а обратный частотный словарь не менее редок и в статистической лексикографии. Поэтому отрадно отметить, что составители польского ЧС поместили обратные списки слов в каждый из пяти томов серии. Еще более, разумеется, повысили бы ценность словаря обратно-частотные списки с л о в о ф о р м, что сделало бы всю серию поистине уникальной.

---

[2] Рецензия на этот том опубликована в ФН, 1975, № 3.

[3] Это отмечено и составителями ЧС современной украинской художественной прозы во введении к словарю.

[4] Но все-таки, видимо, не слишком редкое, если способно уже вызвать тревогу: «Досужие лингвисты, армия которых в наше время растет с огромной быстротой, придумали даже словари обратные... Голова идет кругом!» [12].

Составители серии, сознавая, по-видимому, умеренность объема выборок и желая их максимально разнообразить, пришли к наиболее разумному в их случае решению, которое выдерживается на протяжении всей серии. Для каждого ЧС использованы очень небольшие фрагменты текста — по 50 словоупотреблений из каждого источника; всего таких фрагментов по 2 тыс. для одного ЧС. Этот важный признак — длину минимального отрезка текста — любого ЧС следует иметь в виду, когда данные ЧС используются при сопоставлении с данными других ЧС, особенно когда ЧС разных языков привлекаются для типологических наблюдений. Больше число разных источников, разных авторов, разных ситуаций дает и большее число разных единиц ЧС в отличие от такого ЧС, который, хотя и базируется на выборке сходного объема, но отражает меньшее число ситуаций, текстов, авторов. Об этом иногда забывают и в количественной лингвистике, и там, где используют ее наблюдения.

Введение к каждому тому серии содержит достаточную информацию об инструкции по разметке текста, по его подготовке к вводу в ЭВМ, о качественной и количественной структуре выборочного корпуса текстов и о способах его комплектования.

ЧС польского языка является значительным вкладом в славянскую и общую статистическую лексикографию.

Особое место в статистической лексикографии несомненно займет ЧС современного украинского языка, первый выпуск которого (в двух томах) охватывает лексику художественной прозы [5]. Характеризуется этот ЧС большим объемом выборки, равным 500 тыс. словоупотреблений для каждого из шести выпусков [5], богатством лингвистической и лингвостатистической информации, тщательно разработанной методикой анализа текста и такой формой представления материала, которая удобна для читателей с самыми различными интересами. Он, кроме того, является первым отечественным ЧС, в котором входная статья содержит и само слово, и все его словоформы, встретившиеся в выборке.

Лингвистические, лексикографические и статистические аспекты концептуального и «технологического» аппарата подробно изложены во введении. Это избавляет читателя от необходимости восстанавливать недостающие сведения по словарю, как это бывает во многих других случаях.

В выборочный корпус расписанных вручную текстов вошли 500 фрагментов по 1 тыс. словоупотреблений каждый из 25 книг 22 украинских писателей, опубликовавших свои произведения в 1945—1970 гг. Всего зарегистрированы 33 391 слово и 86 284 словоформы за вычетом собственных имен, рассматриваемых отдельно, нелитературных слов, записанных иноязычными алфавитами слов и числительных в цифровой передаче.

Единицы ЧС представлены в нескольких списках. Основной список, алфавитно-частотный, содержит в себе слова с частотами не менее 2 и их словоформы. При каждом слове и каждой словоформе указываются абсолютная и относительная частоты в речи персонажей и в авторской речи, общая абсолютная частота, число источников из 25, число фрагментов из 500, средняя частота, полученная делением абсолютной на постоянное число 500, и величина стандартной ошибки средней частоты.

Эти численные показатели заслуживают некоторого комментария. Единицы ЧС в прямой и авторской речи регистрировались раздельно потому, что составители считают принципиальными различия в функционировании лексики в обоих случаях. Составители же белорусского и польского ЧС не сочли необходимым обратить на это внимание. При комплектовании выборочного корпуса украинских прозаических текстов выдерживалось требование, чтобы прямая речь занимала не более 1/3 всего текста; в результате на нее пришлось 28,2% всех словоупотреблений выборки.

Приводимые в ЧС количественные характеристики важны и информативны, кроме одной — средней частоты. Составители сообщают, что она «содержит информацию для статистического сопоставления слов и слово-

[5] Планируемые шесть выпусков упоминаются в [13].

форм между собой в одной или нескольких выборках» [5, с. 14]. Однако каждое значение средней частоты — это соответствующая величина фактической, абсолютной частоты, деленная каждый раз на одно и то же число. Сопоставление слов или словоформ в пределах выборки (не говоря о нескольких, поскольку их еще нет, да и будут ли они включать в себя каждый раз по 500 фрагментов из 25 книг 22 авторов?) легче и естественнее по абсолютным частотам (в случае нескольких выборок картина также не изменится, поскольку они будут, очевидно, все одинаковых размеров) Гораздо важнее последняя характеристика — оценка ошибки средней частоты, которая может дать некоторое представление о большей или меньшей равномерности появления той или иной единицы в совокупности текстов. Однако говорить о равномерности распределения в строго статистическом смысле было бы, как кажется, преждевременным, если учитывать только эту характеристику, хотя и дополненную показателями распространенности — количествами источников. Величина оценки средней частоты дает информацию о равномерности/неравномерности появления только тех единиц ЧС, которые имеют одинаковые частоты. Более содержательной могла бы быть, скажем, методика А. Жюйана, использующая нормированный коэффициент вариации и в общем-то хорошо известная зарубежным и отечественным лингвостатистикам [6]. При входных единицах алфавитно-частотного списка отмечены лексические омонимы, даны отсылки на фонетические варианты, начинающиеся с другой буквы, обозначения частей речи, кроме прилагательных, причастий и форм на *-но*, *-то*, и грамматических категорий в случаях грамматической омонимии.

Еще один список содержит словоформы одноразовых слов в алфавитном порядке. Они сопровождаются лексико-грамматической и грамматической характеристиками и указанием на номер источника и номер фрагмента. В трех последних списках приведены слова и словоформы, расположенные по убыванию частот и встретившиеся не менее 10 раз в прямой и авторской речи по отдельности и в общем корпусе — вместе.

Трудно было бы требовать от ЧС, некоего, пока еще гипотетического, стандарта относительно их оформления и представления числовой информации, особенно факультативной, и тем не менее ЧС современной украинской художественной прозы может рассматриваться сегодня как одна из образцовых работ в славянской и общей статистической лексикографии.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Алексеев П. М.* К основам статистической лексикографии.— В кн.: Проблема слова и словосочетания: Межвузовский сб. научн. тр. ЛГПИ им. А. И. Герцена. Л., 1980.
2. *Алексеев П. М.* Статистическая лексикография (типология, составление и применение частотных словарей): Учебное пособие. Л., 1975.
3. *Мажэйка Н. С., Супрун А. Я.* Частотны слоўнік беларускай мовы. Мінск, 1976—1979.
4. Słownictwo współczesnego języka polskiego. Listy frekwencyjne. T. I—V. Warszawa, 1974—1977. (I — Teksty popularnonaukowe, 858 s.; II — Drobne wiadomości prasowe, 752 s.; III — Publicystyka, 684 s.; IV — Proza artystyczna, 885 s.; V — Dramat artystyczny, 631 s.).
5. Частотний словник сучасної української художньої прози. Т. 1—2. Київ, 1981.
6. *Jakubaite T., Krustovska D., Ozola V., Prāse R., Sika N.* Latviešu valodas biežuma vārdnīca. I sej. Tehnika un rūpniecība. 1. Daļa. Rīga, 1966.
7. *Jakubaite T., Guļevska D., Ozola V., Prāse R., Rubīna A., Sika N.* Latviešu valodas biežuma vārdnīca. II sēj. Laikrasti un žurnāli. 1. Daļa. Rīga, 1969.
8. *Jakubaite T., Guļevska D., Ozola V., Rubīna A., Sika N.* Latviešu valodas biežuma vārdnīca. 3 sēj. Daiļliteratūra 1. Daļa. Rīga, 1972.
9. *Jakubaite T., Grāvīte M., Ozola V., Rubīna A., Sika N.* Latviešu valodas biežuma vārdnīca. 4 sēj. Zinātne. Rīga, 1976.
10. *Jakubaite T., Ozola V., Rubīna A., Sika N.* Latviešu valodas biežuma vārdnīca. Apvienotais (1—3) sēj. Rīga, 1973.
11. *Пиотровский Р. Г., Алексеев П. М., Чернядьева Е. А.* Статистика речи и закономерности языка: Тез. докл. межвузовской конференции на тему «Язык и речь» (27 ноября — 1 декабря). М., 1962.
12. *Киселевский А.* «Комик загнул?» — Лит. газета, 1982, 26 мая.
13. Частотный словарь современной украинской художественной прозы (Пробная тетрадь). Киев, 1969, с. 1.
14. *Андрющенко В. М.* Новые работы в области статистической лексикографии.— ВЯ, 1968, № 5.

[6] Она подробно прокомментирована в [14].

№ 4 1983

РЕЦЕНЗИИ

Земская Е. М., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н. **Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис.** — М.: Наука, 1981. 276 с.

Лингвистические работы можно условно разделить на два вида. Одни затрагивают вопросы давно известные и преследуют цель нового освещения знакомых фактов, включения их в принятые в настоящее время системы описания с современной терминологией и методикой. Другие посвящены языковым явлениям, не привлекавшим ранее к себе внимания и поэтому совсем не освоенным также и теоретически. К этой второй разновидности и принадлежит рецензируемая книга, интересная как богатейшим, не описанным ранее материалом, так и его смелой и самобытной интерпретацией. Следует отметить, что это очередной законченный фрагмент серии работ группы по разговорной речи под руководством Е. А. Земской Сектора современного русского языка Института русского языка АН СССР (сюда относятся и [1, 2]) [1]. В текущем году ожидается выход в свет очередного труда. Он будет включать в себя фонетику, морфологию, лексику, кинесику и «языковую игру». В планы группы входит также издание сборника статей, посвященного проблемам городского просторечия.

Объектом исследования служит русский разговорный литературный язык 60—70-х гг. нашего века. Если в первой работе данного цикла подчеркивались синкретизм и расчлененность разговорной речи, то в рецензируемой книге предметом специального рассмотрения является антиномия речетворчества и автоматизма. «... Говорящий легче, свободнее и чаще, чем в КЛЯ, производит новые единицы (а не воспроизводит уже готовые), причем это касается единиц разных уровней...» (с. 6).

Строение разговорной речи рассматривается в связи со структурой коммуникативного акта. Решающими факторами считаются непринужденность, неподготовленность, непосредственность участия в речевом акте коммуникантов. Факультативные факторы связаны либо с партнерами коммуникации, либо с ситуацией. Используемые для этого термины «детерминанты» (для решающих факторов) и «компоненты» (для факультативных) не встречают поддержки по причине их нечеткости и неупотребительности в аналогичном значении в языковедческих работах на данную тему. «Детерминанты» слишком напоминают грамматическое понятие распространения члена предложения, а «невербальные компоненты коммуникативного акта» очень близки термину «невербальные средства коммуникации» (жесты, мимика), применяемому в данной книге. Следует подчеркнуть, что выявление факторов произведено обоснованно, последовательно, к тому же очень тщательно и детально (с. 15—19).

В монографии справедливо отмечается, что между коммуникативной сферой и разновидностью языка (литературный язык, разговорная речь, интердиалект, диалект, жаргон) нет прямого соответствия, т.к. в одной и той же сфере коммуникации может использоваться несколько разновидностей языка и, наоборот, разные разновидности обслуживают одну сферу (с. 20). Разговорная речь действительно, применяется не только в семье, но и в любом кругу лиц, которых связывают непринужденные отношения, и не только на бытовые темы (с. 20). Положение литературной разговорной речи в системе общенародного языка показано в сравнении с просторечием и диалектом. Необоснованность преувеличения фактора устности, а также существования разных типов публичной речи и их противопоставленности речи разговорной доказана очень обстоятельно и корректно (с. 58—70).

Исключительно важным является установление характерных особенностей разговорной речи. Они обобщены и сгруппированы в 16 подпунктов: 1) меньшая (чем в КЛЯ) скованность правил возможными исключениями и ограничениями, следовательно, бо́льшая степень регулярности; 2) особая, приспособленная к условиям общения номинация и активизация полифункциональности знака; 3) повышение роли речетворческого начала; 4) продуктивность аналитических тенденций (*я купила платье чистый лен* (не род. пад. и не *из чистого льна*); 5) специализация набора единиц в синтаксисе, морфологии, лексике; 6) особые замены отсутствующих категорий (например, два глагола вместо деепричастия: *Он идет держится за стенку* (а не *держась*); 7) изменение функциональной нагрузки многих единиц грамматики и лексики (расширение применения именительного падежа, особая семантика слов, например, *простой*, *прямой*); 8) количественное своеобразие (смещение пропорций частей речи, синтаксических конструкций); 9) специализация средств грамматики текста; 10) своеобразие порядка слов

[1] С данной проблематикой связана и монография О. А. Лаптевой [3].

(сильная зависимость от интонации, повышение роли начальной позиции и др.); 11—12) сбив синтаксических связей, тематическая полифония; 13) особое взаимодействие ситуативно-обусловленных номинаций с синтаксисом (*Над нами жила | в Крым уехала*); 14) наличие функционально недифференцированных вариантов (*дедуся*, *дедуля*, *дедуня*; *большущий*, *большенный*); 15) ориентированность на собеседников — субъективная окрашенность, контактоустанавливающая функция; 16) наличие многих противоборствующих тенденций: аналитизм — синтетизм, клишированность — творческое начало, синкретизм — расчлененность формы выражения и др. (с. 25—40).

Объективность выявленных характеристик не вызывает никаких возражений. Возможность их перегруппировок, укрупнение одних и, наоборот, дробление других, что могло бы кому-то представиться более целесообразным, не имеет принципиального значения. Существенно то, что обнаруженные закономерности активны и имеют широкое распространение. Взаимозависимость проанализированных свойств разговорной речи совершенно очевидна. Термин с и с т е м а, подобно понятиям п л а н, у р о в е н ь, относится к активно применяемым в современном языкознании модным словам, без которых можно с успехом обойтись. Так ли уже необходимо говорить на «у р о в н е синтаксиса», как это сплошь и рядом теперь встречается, когда можно просто сказать «в синтаксисе»? Система для каждого национального языка одна, и если приходится сталкиваться даже в одной и той же жизненной ситуации с двумя кажущимися разными кодами, то на самом деле это и есть варьирующаяся реализация единой системы. Ср. противопоставление казенно-официального и буднично-обыкновенного: (в метро) *Поезд следует в депо, просьба освободить вагоны!* — слова машиниста; *Поезд идет в депо, надо выходить* — слова пассажира. Взаимопонимание только потому и возможно, что строевая основа языка едина. То, что разговорно отмеченные явления образуют организованную совокупность, не подлежит никакому сомнению и убедительно продемонстрировано в рецензируемой книге. Только есть ли необходимость именовать это системой, тем более еще и самодостаточной? Ведь без нейтрального разговорная речь не существует. Терминологический спор не должен заслонять главного. Определяющее другое: осуществленный в данной монографии подход к разговорной речи безусловно обеспечивает адекватное представление фактов и обнаружение их свойств.

Разговорная речь не отличается стройной однородностью. Широта и многообразие допускаемых в разговорной речи средств объясняется в основном двумя причинами: тематической неограниченностью и языковой игрой (с. 41—42).

В книге отстаивается положение, согласно которому разговорную речь нельзя считать сниженным стилем литературного языка. В доказательство приводятся многочисленные доводы. Однако остается неясным, подвержена или нет стилистической рубрикации сама разговорная речь. Если утверждается, что сниженный стиль (КЛЯ) «находит сферу применения преимущественно в языке художественной литературы» (с. 50), создается впечатление, будто разговорная речь не знает (или почти не знает) снижения. «На сниженном стиле не говорят»,— утверждается на с. 53. Выходит, им только пишут. Сниженный стиль считается «набором красок» (52 с.), в то время как разговорная речь «обычное средство общения» (с. 53). Но не будет ли более правильным говорить о том, что в языке художественной литературы, прессы, науки иное ощущение стилистических норм, чем в обиходной речи? Для многих мальчишек, например, формы *Коля*, *Петя* «завышены», а *Колька*, *Петька* нейтральны. В литературном же языке *Колька*, *Петька* снижены. Обращения по отчеству *Ниловна! Константиныч!* в просторечии не лишены почтительности, а для литературной нормы они сильно снижены.

Не менее интересны, чем первая теоретическая часть («Общие вопросы»), вторая «Словообразование» и третья «Синтаксис», знакомящие с результатами изучения огромного, почерпнутого из живой естественной речи материала. Обе эти части объединены общей идеей демонстрации актуализируемых языковых потенциалов. Анализ отсутствующего в словарях и грамматиках, однако реально существующего в обиходном общении — это то, что определяет новизну и теоретическое значение книги.

Известно, что в речи формируются словосочетания и предложения из «уже готовых» слов. Характерной чертой разговорной речи является то, что «говорящие свободно пользуются возможностями неузуального словообразования» (с. 74). Оттого, что образование окказиональных слов происходит по существующим моделям и вызывается к жизни потребностями общения, оттого, что делается это достаточно искусно и с обеспечением мотивированности, необычность таких ситуативных одномоментных лексем зачастую не ощущается. Однако вне контекста неузуальные слова «могут производить странное впечатление и даже отталкивать» (с. 74). Нельзя признать удачным приведение в одном ряду без каких бы то ни было оговорок регулярных (типа *взбивалка*, *мешалка*), применяемых в узком коллективе (*больничка* — больничный лист, *поздравилка* — поздравительная телеграмма, *двухсотка* — 200 томов Всемирной литературы) и единичных разовых образований (*безнянье*, *полезнуха*). Возможно, звездочка или какой-то иной условный знак при окказионализмах, жаргонизмах и вульгаризмах способствовали бы уточнению характера предложенного материала.

Свобода и легкость построения слова в разговорной речи приводят к тому, что оно выступает как легко членимая единица с четко осознаваемым значением компонентов. Отмечены интересные свойства идиоматичности (фразеологичности) семантики производного слова в разговор-

ной речи. Например, одно и то же слово может в зависимости от условий мотивироваться по-разному: *картошник* 1) любитель картофельных блюд; 2) торговец; 3) огородник, 4) участок огорода (с. 78).

По данным Е. А. Земской, способы словообразования в разговорной речи совпадают с кодифицированным литературным языком. Особую активность обнаруживают суффиксация, префиксация и суффиксально-префиксальный способ. К ним присоединяются универбация и усечение. Специфически разговорных приставок не обнаружено, зато установлено, что тридцать суффиксов специализируются на образовании разговорно окрашенных слов. Это тем более интересно, что в других языках (особенно за пределами славянского ареала, например, в немецком) особых исключительно разговорных средств нет (разве что суффикс *-aster*). Очень ценно указание на примечательный контраст имени и глагола в разговорном словообразовании. Экспрессивность глагола «создается преимущественно отбором стилистически маркированных корней (большей частью сниженных, иногда даже вульгарных)», в то время как для существительных и прилагательных типична аффиксация (с. 84).

Из многих возможностей описания словообразования Е. А. Земской избран функциональный принцип. Выделены четыре функции: 1) номинативная — для создания названия предмета или явления, 2) экспрессивная —для создания особой выразительности, 3) конструктивная — для упрощения синтаксического построения и 4) компрессивная — для краткости. Хотя эти функции могут перекрещиваться и дополнять друг друга, такой подход вскрывает многие качества формируемых слов. С подключением других факторов (часть речи, характер основ, направление и тип деривации, семантическая модификация морфем, сфера применения и др.) обеспечивается разносторонность и полнота анализа.

Не лишней оказалась бы небольшая дополнительная унификация отдельных сторон словообразования. Если учитывается метафоризация в глагольном словообразовании, неясно, каково положение с метонимией (ср. с. 152). Внимание к семантической деривации глаголов требовало бы и анализа семантического пути образования именных частей речи, однако он не стал предметом рассмотрения.

В третьей, синтаксической части, написанной Е. Н. Ширяевым, рассматриваются ситуативно-зависимые высказывания и высказывания со своеобразно трансформированной структурой сложного предложения, называемые автором полипредикативными. Такой отбор материала не случаен. Известно, что экстралингвистическая ситуация в условиях разговорной речи непосредственно участвует в коммуникации и оказывает глубокое воздействие на структуру высказывания, открывая в этой структуре разнообразные по своему статусу незамещенные позиции. Без анализа незамещенных позиций невозможно сколько-нибудь полно и удовлетворительно представить синтаксис разговорного высказывания вообще. В книге описываются не исследовавшиеся ранее незамещенные смысловые позиции, задающие только смысл, но не способ его морфолого-синтаксического оформления (с. 192—193).

Также впервые дается описание широко представленных в разговорной речи «частно-апперцепционных» высказываний, в которых незамещенные позиции передают смысл, извлекаемый из запаса знаний и опыта некоторого микроколлектива говорящих.

Описание полипредикативных высказываний разговорной речи интересно и важно уже потому, что объектом анализа сделан большой и относительно самостоятельный фрагмент разговорного синтаксиса. Доказывается, что систему полипредикативных высказываний разговорной речи определяет бессоюзный тип, который, по сравнению с КЛЯ, оказывается гораздо более развитым и количественно, и, что особенно важно, качественно. Показано, что качественное своеобразие полипредикативных высказываний разговорной речи определяется особым типом смысловых отношений, складывающихся между предикативными конструкциями, — недифференцированными смысловыми отношениями, и особым — опосредованным — характером смысловой структуры полипредикативного высказывания. Большое место отведено анализу членов функциональных групп — особых разговорных текстовых образований, построенных на основе бессоюзного полипредикативного высказывания путем функциональной модификации его частей.

Реально существующая картина разговорной речи обнаруживает, наряду с типизированными построениями, и явления деструкции, разрыхления, ущербности вплоть до алогичности. В состоянии крайнего волнения, аффекта или при наличии соответствующих экстралингвистических факторов (ситуация, общий опыт говорящих) разговорное предложение может благодаря обрывам, сбивам, перебивам, вставкам, нанизываниям, повторам и т. п. принять аструктурные формы, которые вне среды их произнесения не могут быть ни поняты, ни однозначно реконструированы. Утверждение относительно регулярности замены в разговорной речи союзом *что* союза *потому что* (269 с.) нуждается в более убедительном доказательстве. Интерпретация отдельных случаев предельной компрессии высказывания типа «*Позвони в лес*», которое должно означать «*Позвони Иксу и позови его с нами в лес*» (с. 193), едва ли соответствует нормам синтаксиса русской разговорной речи. Анализ подобных крайностей почти не находит места в языкознании. Отрадно, что Е. Н. Ширяев подошел к решению этих проблем.

Запутанность объективной картины разговорной речи не может не наложить отпечаток на метаязык лингвистов, что в какой-то мере сказалось и на обсуждаемой книге. Однако нужно отметить, что ее авторам в основном удалось добиться точности описания. Важны не частные погрешности интерпретации, а весьма существенные верные обобщения, явно доминирующие в работе.

Нельзя не заметить некоторых полиграфических погрешностей: вторая часть переименована в третью (с. 71), на с. 43 (2-й абз. сверху) пропуск отрицания *не* резко снижает смысл, в конце с. 37 пропущена целая строка, разный кегель буквенных индексов способ затрудняет понимание текста на с. 15—16 с., есть опечатки на с. 12, 49, 55, 74 и т. д.

Однако в целом монография производит очень благоприятное впечатление. Книга снабжена обширным ссылочным аппаратом, довольно полно учитывающим сделанное по разговорной речи как в советском, так и в зарубежном языкознании. По узловым вопросам проведена полемика, в дискуссии с представителями иных взглядов обоснованы принятые точки зрения.

Многие из описанных типических черт русской разговорной речи свойственны другим языкам и могут рассматриваться как универсальные. Данная книга открывает широкие горизонты типологических исследований с использованием богатейших фактических данных и важных теоретических положений. Привлечен колоссальный новый интереснейший материал магнитофонных и ручных записей естественной неподготовленной обиходной речи.

Исключительно велико значение обсуждаемой монографии для иностранных специалистов, изучающих русский язык. Зарубежные ученые, занимающиеся русистикой в основном с использованием литературных источников, получают ценное подспорье по живой речи. Упор на речетворчество в разговорном языке обратит их внимание на то, что нередко ускользает из поля зрения даже тех лингвистов, для которых анализируемый язык является родным, а именно на неповторимые неузуальные образования. Именно с помощью этой книги преподаватель-практик иностранного языка сможет с большей осмотрительностью решать проблему деления лексики и грамматики на активную и пассивную и проводить профилактику методических ошибок, возникающих на почве диспропорции материала.

Обсуждаемая книга — заметное явление в лингвистике. Актуальностью постановки вопросов она не оставляет читателя равнодушным, она обогащает, будит мысль, дает богатую почву для сопоставления и нахождения параллелей в разных областях. «Русская разговорная речь» — серьезный вклад в теорию отечественного языкознания, который будет иметь резонанс в самых широких кругах языковедов.

Девкин В. Д.

ЛИТЕРАТУРА

1. Русская разговорная речь. М., 1973.
2. Русская разговорная речь. Тексты. М., 1978.
3. *Лаптева О. А.* Русский разговорный синтаксис. М., 1976.

Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. **Лингвострановедческая теория слова. —** М.: Русский язык, 1980. 320 с.

Рецензируемая книга — плод многолетних разысканий и размышлений известных лингвистов и педагогов — Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова. Отдельные положения книги знакомы читателям по предшествующим трудам этих авторов, а также по ряду статей и докладов. Вместе с тем в рецензируемой книге отражены дальнейшие лингвистические и лингводидактические поиски и находки авторов. Впервые целостная лингвострановедческая теория слова представлена здесь в монографическом изложении, что принципиально важно как для существа излагаемой концепции слова, так и для обоснования этой концепции, для определения перспектив ее разработки, для распространения ее идей на новые сферы исследования.

В центре внимания авторов — исследование гносеологической функции языка, в частности один ее план — накопительная (кумулятивная) функция слова, которое «вмещает в себя и хранит знания о действительности» (с. 7).

Семантическая концепция, изложенная в рецензируемой книге, явилась результатом дальнейшей разработки идеи о слове как хранилище человеческого опыта, возникшей еще в античные времена и развиваемой на протяжении столетий многими философами, социологами и лингвистами. Авторов привлекает, однако, не выдвижение этой общей глобальной идеи, а описание результатов конкретного анализа того, «как именно слово становится средоточием собираемой информации, вместилищем знаний и какова роль, практическая польза кумулятивной функции слова для прикладных задач» (с. 8) — для лингвострановедческого преподавания русского языка, для лексикографической работы, для последующих исследовательских поисков.

Из сказанного ясно, что книга ориентирована — 1) на анализ феномена накопительной природы лексической семантики и разработку своеобразной семантической лингвострановедческой теории слова и 2) на показ лингводидактической значимости этой теории. Именно двоякой целенаправленностью определяется как внешняя, так и внутренняя композиция книги.

Гармоничная по общей композиции, книга состоит из трех частей. В первой части представлено описание и обоснование концепции «слова как вместилища знания» (с. 192). Концепция названа авторами континической от латинского continere, что значит

«вмещать в себя», а в переносном смысле — «помнить». В этой части авторы вводят семантическую категорию «лексический фон», характеризуют социолингвистическую и лингвистическую природу этой категории, основные ее свойства и значение для речевой деятельности, социолингвистического анализа языка, определения национального своеобразия языка и практики преподавания иностранных языков. Часть вторая посвящена лингвострановедческой лексикографии. Третья часть содержит историко-лингвистические очерки, посвященные отдельным этапам в разработке проблемы слова как «вместилища знаний».

Интересна и внутренняя композиция глав книги: от философско-лингвистического, социолингвистического либо собственно лингвистического описания компонентов (идей) теории авторы идут к описанию практической их значимости и применения, к лингводидактическим выводам и следствиям.

Авторы предлагают многоаспектное и многоплановое освещение лингвострановедческой теории слова. К сожалению, рамки журнальной рецензии позволяют остановиться лишь на отдельных вопросах выдвигаемой концепции (и пересмотра — в свете этой концепции — некоторых традиционных представлений о природе слова и сущности его семантики) и на наиболее значимых, на наш взгляд, в теоретическом, перспективно-теоретическом и прикладном аспектах.

Квалифицируя слово традиционно как двуплановый языковой знак, имеющий план выражения (звуковую оболочку, которую авторы вслед за Н. И. Толстым называют лексемой) и план содержания, авторы именуют план содержания лексическим понятием. Анализируя понятие как инструмент классификации явлений действительности и показывая, что для этой классификации важно учитывать элементы, составные части понятий, являющихся, в свою очередь, тоже понятиями, но понятиями элементарными, авторы называют элементарные понятия (в составе общего для них понятия) семантическими долями (СД), заменив этим составным, частично русским термином традиционные для семантики и не совпадающие по значению термины (сема, семантический компонент, компонент смысла, семантический множитель и др.).

Признавая наличие ассоциативной связи между лексемой и лексическим понятием, авторы говорят об относительной автономности, относительной самостоятельности двух планов слова. В обоснование этого приводятся два факта: ситуация неполного знания слова и наличие межъязыковых лексических понятий. В первом случае возможно узнавание предмета (когда актуализируется понятие) и незнание лексемы (звуковой оболочки), обозначающей этот предмет, либо наоборот: знание лексемы и незнание ее значения. Межъязыковое лексическое понятие — это понятие, которое присутствует в двух или нескольких языках и имеет в них различное звуковое обозначение. Подобные понятийно-эквивалентные (переводимые) слова противопоставлены понятийно-безэквивалентным как по семантике, так и лингводидактически: при эквивалентности «лексические понятия, выработанные в одном языке, легко переносятся в другой язык» (с. 17), усвоения требует только лексема (звуковая оболочка).

Из факта относительной самостоятельности двух планов (звучания и значения) слова и с учетом идеи Л. Выготского делается еще один лингводидактически значимый вывод — о том, что в процессе усвоения слова человеком включаются в действие два различных механизма: прежде всего усваивается лексема — звуковая оболочка слова, отрабатывается ее правильная артикуляция, а параллельно, одновременно с этим формируется лексическое понятие, причем формируется постепенно, «путем постепенного накопления СД»[1] в его содержании. Формирование понятия — процесс длительный, ибо оно «представляет собой познание действительности» (с. 18), и в начале развития лексического понятия в нем может быть только одна семантическая доля. Позднее лексическое понятие «развивается», обогащается семантическими долями, и слово становится, таким образом, «аккумулятором, хранителем человеческого опыта — как индивидуального, так и общего...» (с. 18). Авторы показывают далее, что план содержания слова не исчерпывается лексическим понятием, что план содержания слова (семема) состоит из множества семантических долей, среди которых следует выделять доли понятийные, входящие в лексическое понятие, и доли, составляющие лексический фон (с. 25).

Под лексическим фоном понимаются все (вместе взятые) непонятийные семантические доли, которые входят в семантику слова (семему), но «не участвуют в опосредованной языком классифицирующей деятельности человека» (с. 26). Лексический фон — это представления и знания человека о предмете, явлении и т. п. окружающей действительности. Обратимся к пояснению сущности понятия «лексический фон». Например, если перед вами предмет, который можно классифицировать как «произведение печати в виде переплетенных листов бумаги с каким-нибудь текстом» (толкование из «Словаря русского языка» С. И. Ожегова), то этот предмет по-русски называется книгой. Семантические доли, обеспечивающие правильное название предмета или явления, и образуют в их совокупности лексическое понятие.

Однако вокруг каждого слова, особенно центрального, ключевого, складывается целый ореол всевозможных сведений. Носитель языка без особых усилий припоминает крылатые выражения, пословицы и загадки, связанные с книгой: *Любите книгу — источник знания*; *Ему*

---

[1] Вследствие этого, по мнению авторов, семантические доли могут существовать вневербально и лишь комбинируются по-разному в семантике слова. К сожалению, авторы не раскрывают природу вневербального хранения семантических долей в сознании носителя языка.

и книги в руки; *Уж коли зло пресечь,— забрать все книги бы да сжечь*; *Книги имеют свою судьбу*; *Сшита, да не рубашка, с листьями, да не дерево, без языка, а рассказывает* и др. Цепь ассоциаций напомнит нам, что мы знаем, и как издается книга, и где ее можно купить или взять почитать, и как она выглядит, и для чего и когда употребляется, и кем пишется, и где хранится, и кто издал первую русскую книгу и т. д. и т. д.

Слова двух языков (например, *книга* и англ. *book*) могут полностью совпадать в понятийной части, однако между ними почти никогда не бывает фоновой эквивалентности, что объясняется различиями в национальных культурах соответствующих народов.

Неполноэквивалентные слова отражают специфику национальной культуры русского народа, многонациональной культуры всего Советского Союза. Следовательно, лексика — а в книге приведен обильный и доказательный фактический материал — в своей фоновой части является вместилищем и хранителем многообразных знаний. Именно поэтому в процессе преподавания русского языка, особенно — преподавания русского языка иностранцам, лексика (при условии соответствующего толкования слов) может быть весьма эффективным источником сведений о стране.

В книге описываются четыре основных способа объективизации (обнаружения и объективного анализа) лексического фона: 1) путем получения сведений от носителей языка — социологический опрос, эксперимент (в частности — ассоциативный); 2) из филологических словарей (где в толковании слов обычно поясняется лексическое понятие, а в иллюстрациях «просвечивает и лексический фон» (с. 31); 3) путем анализа суждений лиц, «попавших в новую для них национально-культурную общность» (с. 35) и, наконец, 4) путем развертывания информации, которая присутствует в скрытом виде в бытовых, публицистических и художественных текстах (с. 38).

Развивая свои прежние идеи и суждение Н. Г. Комлева о «культурном компоненте» значения слова, авторы предлагают лингвистическое, философское и психолингвистическое обоснование принадлежности лексического фона к языку, доказывают языковую природу лексического фона и тем самым обосновывают его принадлежность к сфере ведения лингвистики, особо подчеркивая концептуально значимую мысль о том, что, выполняя основную коммуникативную функцию, язык в то же время «является... хранителем (а также выразителем) культуры» (с. 42), «язык не только передает внеязыковую информацию, но и накапливает ее, а также сохраняет» (с. 42). Об этом свидетельствует и тот факт, что в составе ассоциатов (реакций на определенное слово-стимул), позволяющих судить о знаниях, сопрягаемых с предметом (который обозначен словом-стимулом), имеются и понятийные и фоновые семантические доли.

Именно лексема «мыслится как материальная основа, опора для фиксации той совокупности знаний, которую некая языковая общность относит к классу предметов или явлений, обозначаемых данным словом» (с. 45). Квалификация звуковой оболочки слова как опоры-основы для выражения совокупности знаний о соответствующем предмете принципиально доказана, справедлива и соответствует, среди прочего, описанной динамике (возможности пополнения в индивидуальном и общественном опыте) понятийного и фонового содержания слова (семемы). Кажется, однако, что следующий вывод авторов требует коррекции или как особая гипотеза — по крайней мере, дополнительного обоснования: «с философских позиций план содержания языка может быть приравнен к тому уровню познания окружающей действительности, который превалирует в данной культурно-языковой общности, т. е., иными словами, к общественному сознанию» (с. 45).

Здесь не совсем ясно значение терминосочетания «план содержания языка». И если учесть, что общественное сознание — явление весьма сложное и многоплановое [2] и что, по справедливому суждению авторов, ведущим элементом в структуре общественного сознания является идеология, то отсюда следует, что общественное сознание — это и комплекс суждений, дефиниций, текстов, излагающих идеологию, т. е. не только язык, но и тексты. Несомненно, однако, что различные стороны общественного сознания так или иначе (понятийно или фоново) отражены в семантике слов языка. И, думается, авторы совершенно правы, когда в одном из очерков третьей части книги говорят о значимости для хранения информации не только слов, но и текста.

Исходя из принципа историзма, авторы характеризуют динамику лексического фона во времени, убедительно показывая, что лексический фон слова — наиболее динамичная часть его семантики. С течением времени одни фоновые семантические доли «уходят» из семантики слова, другие пополняют ее. Так, в начале XX столетия было невозможно словосочетание *пакет молока*, поскольку слово *пакет*, по определению, данному в толковом словаре С. И. Ожегова, обозначало «бумажный мешок для продуктов, кулек»; в наши дни, наоборот, устарело понятие «четверть» (молока) как мера измерения жидких веществ при продаже. В составе лексического фона авторы предлагают различать синхронические и диахрони-

---

[2] Об этом говорят и авторы, приводя в сноске следующее определение, взятое из книги «Социология в СССР» (М., 1966, т. I, с. 15): «Общественное сознание — это совокупность взглядов, представлений, принципов, психологических особенностей, явлений духовной культуры и т. д., характерных для членов общества, его классов, система общественных идей, теорий, отражающих условия материальной жизни данной общественно-экономической формации, т. е. исторически сложившееся общественное бытие».

ческие семантические доли, важные для понимания смысла многих современных слов (например, *большевик*, *комсомол*, *ударник*, *субботник* и др.).

Наконец, принимая во внимание наличие в составе лексического фона большого числа семантических долей и пытаясь ответить на вопрос о том, возможно ли фоновые семантические доли представить в виде закрытого списка, авторы выделяют в составе фоновых семантических долей — экзотерические (внешние) доли, общие для семантики данного слова и группы связанных с ним слов, и эзотерические (внутренние) семантические доли, присущие только данному слову.

Внешние семантические доли находятся за пределами семантики конкретного слова. Они «сополагают слово с другими, смежными словами» (с. 120). Таких семантических долей чрезвычайно много, их невозможно исчислить. Внутренние семантические доли могут быть исчислены, их немного, они «объективируют собственную семантику слова» (с. 126) и весьма ценны в лингвострановедческом отношении. Жаль, что внутренние доли проиллюстрированы в книге лишь единичными примерами. Тем более, что разделение двух последних видов фоновых семантических долей «позволяет получить критерий для отбора материала в учебной семантизации лексики» (с. 126).

Уделяя специальное внимание значению фона для лингвострановедческого преподавания русского языка, авторы рассматривают и зрительный образ как часть лексического фона, различая общечеловеческую и лингвострановедческую семантизацию слов и подчеркивая, что при лингвострановедческой зрительной семантизации слова «наряду с формами усваивается новая культура» (с. 156), благодаря чему «изучаемый язык усваивается более адекватно (в большем числе функций—не только в коммуникативной, но и в кумулятивной)» (с. 156).

В книге справедливо подчеркивается, что лексический фон присущ всей лексике, различным классам слов — в том числе словам заимствованным (при этом появление лексического фона есть, на наш взгляд, один из способов ассимиляции заимствованного слова), и терминологической и ономастической лексике. Ибо и личные имена людей тоже выражают культурно обусловленную групповую и индивидуальную информацию. Например, *Иван* — символизирует типично русского человека, *Матрена* — простую деревенскую женщину, *Митрофанушка* — великовозрастного и глупого лодыря и т. д.

Специальное внимание уделено в книге значимости фоновых СД для сочетаемости слов в потоке речи: по мнению авторов, «сочетание слов в осмысленной фразе обусловлено их лексическими фонами» (с. 50). Лексический фон может разрешить или запретить сочетаемость, поскольку осмысленность сочетания «определяется внеязыковой действительностью, национальной культурой» (с. 51). Думается, что эта идея авторов вносит дополнения в теорию сложения смыслов в речевой синтагматике и заслуживает перспективных разработок, в том числе — при анализе информативной емкости различных текстов.

Освещение теоретической концепции сочетается (и композиционно даже перемежается) с освещением проблем лингвострановедческого преподавания русского языка в области лексики. Показывая, что в семантике слова выделяются личностные и социальные семантические доли, а среди последних — межъязыковые (общечеловеческие и региональные) и национально-культурные, авторы снова (как и в предшествующих трудах) обосновывают необходимость семантизации национально-культурных семантических долей.

Книга вносит вклад и в развитие понятия «лингвострановедческая интерференция» (термин болгарского ученого К. Бабова). В числе многих лингводидактических рекомендаций, адресованных преподавателям и составителям учебников, есть рекомендации по предупреждению потенциальной лингвострановедческой интерференции.

Пафосом второй части книги является указание на необходимость семантизировать русскую лексику в учебных целях особым образом — с помощью приема страноведческого изъяснения, без чего невозможно осмысленное употребление слов. Эта часть посвящена описанию задач лингвострановедческой лексикографии и принципов составления лингвострановедческих словарей. Основной целью этих словарей является «семантизация для современного читателя современных лексических фонов», а отсюда — и обеспечение возможности реализации страноведческого преподавания языка. Лингвострановедческие словари важны прежде всего с профессиональной точки зрения: «для преодоления вербализма, для предупреждения и устранения лингвострановедческой интерференции, для овладения парадигматической и синтагматической сочетаемостью русского слова» (с. 262). Авторы подчеркивают, что лингвострановедческие словари необходимы и для воспитания в процессе обучения: они призваны способствовать становлению человека как развитой личности, реализации целей патриотического и интернационального воспитания [3].

Авторы характеризуют основные лексикографические принципы лингвострановедческой лексикографии — ныне реализуемые (см. с. 253—262) и три предлагаемых экспериментальных: семантизирующий характер речений и их учебная направленность; учет в словарной статье дозировки материала для каждого этапа овладения языком (от начального до высшего) и целесообразность представления трех этапов чтения словарной статьи в одной книге; учет родного языка при семантизации слова (особенно — его лексического фона).

Третья часть книги — своеобразное

---

[3] См. большой материал на эту тему в недавно вышедшей книге, подготовленной учеными СССР и ГДР,— «Русский язык: предмет изучения и средство воспитания» (Киев — Лейпциг, 1981).

приложение к первой части и дополнительное обоснование выдвинутой континической концепции — состоит из трех очерков. Здесь рассматривается античное учение о слове — логосе (очерк первый), гумбольдтианство и современная теория лингвистической дополнительности (очерк второй) и учение А. А. Потебни о лексической семантике (очерк третий). Историко-лингвистические экскурсы посвящены отдельным, наиболее интересным этапам в «истории формирования и смены философских и лингвистических идей по поводу слова как вместилища знания» (с. 267); они убедительно показывают, что разработанная в рецензируемой книге «континическая концепция не возникла на пустом месте — она является закономерным продолжением и развитием воззрений, высказанных еще в античности и высказываемых в наши дни» (с. 267).

Книга завершается послесловием, в котором, вопреки традиции, обсуждаются не выводы, а перспектива дальнейших исследований семасиологической категории лексического фона, перспективы использования предложенной континической теории в процессе анализа семантики производных слов (при морфемном и семантическом, метафорическом словообразовании), а также говорится о возможности экстраполяции континической теории на сферу других языковых единиц — прежде всего фразеологию и афористику.

Рецензируемая работа содержит монографическое описание новой (континической) теории семантики «слова как вместилища знаний». В книге представлена оригинальная и перспективная концепция слова. И хотя концепция эта нуждается в дальнейшей доработке отдельных ее аспектов (например, в уточнении соотношения лексического понятия и понятия логического, выявлении места эмоционально-экспрессивных коннотаций в лексической семантике и др.),— в книге описана целостная теория, имеющая философско-лингвистическую и собственно лингвистическую значимость, характеризующаяся объяснительной и прогнозирующей силой и представляющая не только теоретический интерес (как обогащающая учение о семантике слова), но и конкретный практический интерес — для перспективных исследований и для совершенствования преподавания русского языка, в частности, для совершенствования лингвострановедческого аспекта преподавания русского языка иностранцам, а в ряде моментов — и для совершенствования преподавания его в национальной школе и вузе.

Хотелось бы только пожелать, чтобы при переиздании книги авторы сделали больший акцент на воспитательных возможностях лингвострановедческого материала.

Отражая теорию, вытекающую из практических задач и ориентированную на практику обучения языку,— книга с интересом будет прочитана и лингвистами широкого профиля, и лексикологами-семасиологами, и преподавателями, обучающими русскому языку не только в условиях иностранной, нерусской аудитории, но и в русской языковой среде.

Протченко И. Ф., Черемисина Н. В.

Reichl K. **Categorial grammar and word-formation: The deadjectival abstract noun in English.** — Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1982. 254 p.

Рецензируемое исследование представляет собой первую попытку применить принципы категориальной грамматики к анализу словообразовательных явлений, главным образом, к описанию английских абстрактных существительных, образованных от прилагательных. Но, как справедливо отмечает сам автор, лишь на первый взгляд может показаться, что затрагиваемая тема достаточно узка и специальна. В книге ставится не столько задача описать с должной полнотой морфологические, синтаксические и семантические характеристики деадъективных абстрактных имен, сколько исследовать семантику и функционирование производных существительных изучаемого типа вообще. Можно поэтому сказать, что осуществляя эти задачи, К. Райхль ставит перед собой и гораздо более сложные цели: способствовать лучшему пониманию основ категориальной грамматики, осветить ее истоки, дать представление о развитии всего этого направления в современной лингвистике, сравнить грамматику Монтегю с другими аналогичными логико-синтаксическими построениями, познакомить читателя с техникой и методикой лингвистического анализа в той его форме, которая используется сторонниками так называемой формальной семантики, и т. п.

В книге ясно очерчиваются разные области исследования — область анализа категориальных грамматик в их разных версиях, область анализа теоретических основ словообразования и, наконец, область анализа самих изучаемых имен. В этом смысле каждую из четырех глав книги (а помимо них книга содержит небольшое Предисловие и Заключение) можно рассматривать как до известной степени самостоятельный и отдельный фрагмент исследования по определенной теме.

Сказанное не означает, что книга лишена внутреннего единства или цельности, однако несомненно, что степень связанности отдельных частей неодинакова и что не всё, обсуждающееся в теоретических главах работы, имеет равное значение для описания фактического материала. Перед тем как изложить результаты своих наблюдений над особенностями абстрактных имен (а результаты эти весьма интересны и важны), автор уделяет слишком большое внимание изложению прин-

ципов категориальных грамматик и формальной семантики, в связи с чем конечные цели книги как бы отодвигаются на второй план. Однако и в этих, предваряющих конкретное исследование главах, автор высказывает столько рациональных предложений по описанию языка в сферах грамматики и словообразования, обнаруживает такую эрудицию и затрагивает столько спорных и актуальных проблем современного языкознания, что книга, действительно, выходит далеко за рамки исследования по словообразованию. Вот почему эту монографию — и с большой пользой — можно рекомендовать не только тем, кто занят непосредственно проблемами словообразования, но и тем, кто следит за общим направлением в развитии современной лингвистики и за изменениями, которые наблюдаются в выдвигаемых гипотезах, концепциях, мнениях. Особенно интересна она будет для тех, кто хочет разобраться в проблемах формальной семантики, интенсиональной логики в ее применении к описанию естественных языков, и вообще проблемах, связанных с выработкой методик и процедур формализованного лингвистического анализа.

Книга, собственно, и начинается обсуждением этих проблем, ибо после краткого Предисловия следует глава, в которой рассматриваются методы анализа, использовавшиеся при описании процессов деривации в моделях предыдущего периода.

Поскольку, по мнению автора, понимание словообразования и его места в системе языка зависит от структуры рассматриваемого языка, от той общей концепции, которой придерживается исследователь, и, наконец, от понимания процессов деривации, К. Райхль останавливается на разъяснении всех этих пунктов, уделяя особое внимание именно последнему. Ведь отнесение словообразования к грамматике или лексике обуславливается в значительной мере тем, регулярны или же нерегулярны имеющие здесь место процессы [1, 2].

В трактовке деривационных процессов автор видит три возможности. При интерпретации этих процессов как морфологических основной акцент делается на изучении формальных особенностей сцепления морфем. При синтаксической интерпретации рассматривается тип отношений, устанавливаемый между синтаксическими структурами и их преобразованиями. При лексической интерпретации определяются семантические отношения между исходной и результативной единицами деривационного процесса. Иначе говоря, каждый из этих подходов оказывается связанным с ограниченной областью исследования и в целом не может дать адекватной картины наблюдаемых явлений. В связи с этим понятно, почему в описании многих словообразовательных процессов до сих пор продолжают оставаться значительные пробелы. Объективно подчеркивая недостатки и преимущества каждого из указанных подходов, автор намечает уже здесь ту линию сближения позиций трансформационалистов и лексикалистов, которая еще яснее проступит в завершающих частях книги и которая в дальнейшем позволяет ему примирить те точки зрения, которые в теории словообразования рассматривались долгое время как противопоставленные [3—5].

Завершает этот обзор очень важная в теоретическом отношении формулировка тех проблем, на которые, по мысли автора, должна ответить наука о словообразовании. Если А и Б представляют собой две лексические единицы, из которых вторая производна от первой, теория словообразования должна найти ответы на следующие вопросы: 1) каковы формальные отличия Б от А и с помощью каких морфологических средств создается Б; 2) каковы отношения между А и Б в терминах лексических классов слов (частей речи); 3) существуют ли такие синтаксические конструкции, в которых Б может заменить А и каковы они; 4) каковы семантические отношения между А и Б. При очевидной четкости сформулированных вопросов и их несомненной важности следует сразу же отметить, что теория словообразования не может ограничиться ими: так, в ее компетенцию должен, по-видимому, входить и вопрос о том, при каких условиях две лексических единицы могут считаться связанными отношениями словообразовательной производности. Входит сюда же, по нашему убеждению, и вопрос об ономасиологической сущности создаваемых производных, т. е. вопрос о том, для чего и с какими целями было создано или создается то или иное обозначение. Можно было бы также говорить о целой серии проблем, возникающих при попытке осмыслить функции словообразовательных средств в тексте и оценить производные с прагматической, или стилистической, или систематизирующей точек зрения. Вполне понятно, однако, что автор хочет подвести нас к мысли о целесообразности использования категориальной грамматики в целях адекватного представления словообразовательных явлений и что аргументы в пользу такого решения явно связаны с указанными выше ограничениями. Так, при образовании абстрактных существительных от прилагательных происходит изменение исходной части речи и, значит, ответ на второй вопрос для этого типа производных весьма существен. Точно так же ответ на четвертый вопрос, с ним тесно связанный, ведет и к решению третьего вопроса. Но все они ставятся и в категориальной грамматике; проблемы лексических классов слов и преобразования одного класса в другой, а также значимости подобных преобразований для создания синтаксических конструкций и предложения составляют ядро этой грамматики. Чтобы показать известную однотипность проблем словообразования и проблем категориальной грамматики, а также, естественно, принципиальную возможность их решения, К. Райхль и переходит в следующей главе книги к подробному изложению особенностей той модели описания языка, которая сложилась к настоящему времени в русле формальной семантики и получила название категориальной грамматики

(у нас она более известна как грамматика Монтегю).

«Стандартная модель» категориальной грамматики восходит, по мнению автора, к «Логическим изысканиям» Э. Гуссерля (1900 г.), но в современной лингвистике представлены и другие варианты «чистой» грамматики. На их описании К. Райхль и останавливается в данной главе. Поскольку в этой части книги автор выступает прежде всего как интерпретатор указанных моделей, в частности, грамматики Р. Монтегю, а также и отклоняющихся от нее в определенных деталях концепциях Д. Льюиса, М. Крессвелла и других представителей формальной семантики (а сложность построений в этих моделях общеизвестна), хочется еще раз отметить здесь способность Райхля изложить достаточно сложные вещи в ясной форме, выделить в анализе всех концепций узловые понятия и решения, остановиться в своем обзоре на том, что действительно существенно для понимания рассматриваемого направления. И хотя освещению принципов категориальных грамматик и грамматике Монтегю теперь уже посвящено изрядное количество публикаций, книга К. Райхля может быть оценена по достоинству и в этом отношении. Так, кажется очень важным, что автор книги пытается показать точки соприкосновения между структурным семантическим описанием (в терминах семантических полей, семантических признаков и даже атомарных предикатов) и формальной семантикой, использующей для семантического описания казалось бы совершенно другие понятия (ср. понятия интерсионала и экстенсионала, понятие денотации и референции, подробно разъясняемые Райхлем)

Поскольку изложение того, как понимает К. Райхль те или иные модели и насколько он критичен в их оценке, увело бы нас далеко в сторону, отметим лишь, что автор использует далеко не все понятия категориальной грамматики при анализе своего материала. Нельзя не признать вместе с тем, что ему удается применить в словообразовательном анализе понятие предложения как функциональной динамической единицы, все части которой предназначаются для выполнения определенных логико-семантических и синтаксических ролей при осуществлении ими главной задачи: предицировать, т. е. сообщить нечто о чем-либо или о ком-либо (ср. с. 91).

Вопросу о сущности категориальных грамматик посвящается собственно и следующая глава книги, носящая заглавие «Словообразование в свете категориальной грамматики». Эта глава, содержащая много глубоких и интересных соображений, объясняет особенности функционального подхода в грамматике и словообразовании. Так как понятия функции и функциональности трактуются в современной лингвистике нетождественным образом (и в этом смысле работу Райхля весьма полезно сравнить с соответствующими главами в монографиях Ю. С. Степанова [6] и Н. А. Слюсаревой [7], для понимания позиции автора рецензируемой книги важно иметь в виду, что для него «функциональный» чаще всего означает «синтаксический» (ср., например, с. 89) или же — в иных терминах — «соответствующий ролям классов слов в составе предложения». Отсюда его внимание к парадигматическим характеристикам слова, к отношениям зависимости и подчинения, преобразованиям исходных функций слова, вообще к категоризации словаря на основе функционального критерия и т. п.

В этой части книги представляется ценным раздел о категоризации прилагательных и четкое противопоставление атрибутивных, предикативных и адвербиальных функций этого класса слов, что имеет затем прямое отношение к образованию абстрактных имен: они создаются в первую очередь как семантические эквиваленты прилагательным в предикативной функции. Таким образом признаки, обнаруженные при синтаксическом анализе прилагательных [8—10], оказываются релевантными для определения потенциальных словообразовательных возможностей исходного прилагательного. Это представляется мне весьма существенным для формулировки деривационных правил.

Тонкие замечания делает автор и относительно единиц, порожденных, с одной стороны, подлинными синтаксическими процессами, а с другой, процессами словообразования. Ср., например, различия, отмечаемые К. Райхлем при сравнении английских конструкций типа *The duke's park* и *The ducal park*. В итоге такого рассмотрения автор приходит к правильному выводу о том, что «деривация как лексический процесс тесно связана с семантической структурой лексических единиц и не всегда поддается обобщению в той же мере, что и синтаксические процессы» (с. 136). В качестве убедительного примера такой связи приводятся различия в значении, обнаруживаемые у английских прилагательных на *-able*.

Синтез позиций трансформационалиста и лексикалиста, о котором мы уже говорили выше, сказывается и в том, что, указав на чисто лексические особенности словообразовательных правил, автор не отрицает их известной близости и синтаксическим процессам. От последних они отличаются по двум линиям: из-за частичной морфологической нерегулярности и из-за феномена лексикализации производного слова. Нельзя не вспомнить в этой связи о конструктивном тезисе В. В. Виноградова о двуплановости и двояком характере словообразования, выдвинутом им еще в 50-х гг. и предопределившем направление исследований в данной области в советском языкознании. В качестве одного из важнейших тезисов К. Райхль выдвигает положение о том, что в словообразовании связываются воедино синтаксис, семантика и лексикон. Но в советских и зарубежных изданиях этот тезис уже никем, кажется, не оспаривается. Вместе с тем предпринятая К. Райхлем попытка рассмотреть природу лексикализации и морфологических отклонений или ограничений в словообразовательных процессах край-

не необходима. Думается, однако, что особенности синтаксического поведения производных слов, в том числе и абстрактных имен, тоже нуждаются в объяснении на более широком теоретическом фоне.

Несколько слов хочется сказать, наконец, и о том новом, что вносит книга Райхля в описание абстрактных имен (ведь описанию их в разных языках сейчас посвящается столько работ, что в рамках настоящей рецензии их перечислить невозможно). В целом этот класс слов обнаруживает радикальные отличия в своем синтаксическом поведении от всех прочих классов существительных: это проявляется, например, при образовании квантификационных структур, при образовании конструкций с генитивом и т. п. Производные данного класса образуются по двадцати двум типам, выделенным по их деривационной истории и представленным в виде различающихся графов (в представлении последних автор использует методику аппликативной грамматики). Подробно описаны наборы суффиксов, создающих абстрактные имена, а также их возможная комбинаторика с другими суффиксами, включенными в структуру исходной единицы на предыдущих шагах деривации. Интереснее всего описаны именно синтаксические и семантические свойства имен трех классов — общих абстрактных имен, фактитивов и имен качества. Различия их продемонстрированы тонко и убедительно, причем для их выявления используется методика синтаксического перифразирования. Признавая некоторые общие черты в образовании абстрактных имен и сведя все регулярные черты в их создании к серии правил, автор книги не закрывает глаза на существование идиосинкратических черт этих лексических единиц, и уже одно это отличает его от тех ученых, которые пытаются применить к словообразовательному правилу более жесткие критерии и как бы навязать этим явлениям больший схематизм и «правильность».

Подводя общие итоги рецензируемому исследованию, следует отметить, что несмотря на существование известной диспропорции между обзорными и вводно-теоретическими главами книги, с одной стороны, и описанием самого материала, с другой, такая композиция оборачивается скорее преимуществом работы. Она позволяет автору познакомить читателя с историей возникновения и эволюции категориальных грамматик, с ходом развития теории словообразования за рубежом, высказать множество интересных идей в области семантики и т. д. Но главное — она защищает преимущества функционального подхода как в грамматике, так и в словообразовании. И хотя функциональный подход в понимании автора формулируется лишь в одном из своих вариантов, он все равно приносит свои плодотворные результаты. Книга ясно демонстрирует, что словообразовательные явления не могут быть адекватно поняты и адекватно описаны при одностороннем к ним подходе. Следовательно, функциональный подход предполагает обязательный учет морфологических, морфонологических, синтаксических и семантических характеристик и исследование того, как эти характеристики отражаются на реализации разнообразных функций производных единиц. Эти выводы — частично сформулированные самим К. Райхлем, а частично подсказываемые всем ходом его рассуждений,— и делают его книгу не только интересной, но и полезной широкому кругу лингвистов.

Кубрякова Е. С.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Plank F.* Morphologische (Ir)Regularitaten. Aspekte der Wortstrukturtheorie. Tübingen, 1981.
2. *Jackendoff R.* Morphological and semantical regularities in the lexicon.— Language, 1975, v. 51, № 3, p. 639.
3. *Кубрякова Е. С.* Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1982, с. 50 и сл.
4. *Земская Е. А., Кубрякова Е. С.* Проблемы словообразования на современном этапе.— ВЯ, 1978, № 6, с. 116.
5. *Motsch W.* Ein Playdoyer für die Beschreibung von Wortbildungen auf der Grundlage des Lexicons.— In: Perspektiven der Wortbildunsforschung. Bonn, 1977, S. 219.
6. *Степанов Ю. С.* Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975, с. 228 и сл.
7. *Слюсарева Н. А.* Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка. М., 1981, с. 38 и сл.
8. *Bolinger D.* Adjectives in English: attribution and predication.— Lingua, 1967, v. 18, № 1.
9. *Motsch W.* Syntax des deutschen Adjektivs. Berlin, 1971.
10. *Bierwisch M.* Some semantic universals of German adjectivals.— In: Foundations of language, 1967, v. 3, № 1.

Сталтмане В. Э. **Латышская антропонимия. Фамилии.** — М.: Наука, 1981. 228 с.

Рецензируемая книга представляет собой исчерпывающее исследование одного из пластов латышской антропонимии — латышских фамилий.

Латышская антропонимия, как и антропонимия других балтийских языков, изучена слабо. Начало исследованию латышских фамилий положили труды Э. Блесе и К. Упелниекса, относящиеся еще к досоветскому периоду. Работа Э. Блесе — это лингвистический анализ дохристианских личных имен латышей, а также фамилий чисто латышского происхождения. В исследовании К. Упелниекса «Uzvardu dosana Vidzemes un Kurzemes zemniekiem» (Рига, 1938) освещает-

ся процесс «офамиливания» латышских крестьян, проходивший в первой половине XIX столетия.

В последнее десятилетие в разных изданиях печатались статьи В. Э. Сталтмане, посвященные изучению латышских фамилий. Рецензируемая книга, обобщающая результаты этих исследований, представляет интерес не только для латышской, но и для балтийской антропонимии вообще; должное место без сомнения этот труд займет и в индоевропеистике.

В рецензируемой книге В. Э. Сталтмане дает всесторонний лингвистический анализ ныне существующей системы латышских фамилий. Исследуя фамилии в синхронном аспекте, автор выявляет специфику «фамилий как имен собственных в сравнении с именами нарицательными» (с. 11—12). Собранный материал (сводная картотека включает около 20 000 фамилий) позволил автору провести это сравнение на морфологическом и лексическом уровнях языка (фонетический анализ латышских фамилий в монографии не проводится, так как материал черпался исключительно из письменных источников).

В работе такого типа существенным было определение понятия «латышская фамилия». Нельзя не согласиться с автором, отождествляющим это понятие с понятием фамилии лиц латышской национальности.

В главе «Морфология латышских фамилий» автор квалифицирует фамилии латышей как имена существительные, указывает, по какому склонению изменяются фамилии с разными флексиями и фиксирует незначительные расхождения между парадигматикой фамилий и апеллятивов.

Самой обширной и, на наш взгляд, самой интересной главой монографии является «Словообразование латышских фамилий», в которой выявляется разница в словообразовании антропонимов по сравнению с образованием апеллятивов. Многие повторяющиеся финальные элементы латышских фамилий, называемые авторами финалиями, являлись в прошлом аффиксами латышских апеллятивов, от которых произошли современные фамилии. При характеристике словообразовательной структуры латышских фамилий автор пытается ответить на такой важный вопрос — «располагают ли фамилии (а если располагают, то в какой мере) своими собственными антропонимическими формантами или же в этом отношении они ни в чем не отличаются от имен нарицательных» (с. 32). Так как в латышской антропонимии существует большое количество фамилий иноязычного происхождения — этот вопрос является особенно актуальным.

В образовании форм женских фамилий и деминутивов, функционирующих в неофициальной сфере коммуникации, автор видит активное словообразование фамилий. Однако основное внимание уделяется анализу морфемного строения исходных форм. Намечаются две основные группы: 1) латышские фамилии, образованные на базе родного языка; 2) фамилии латышей иноязычного происхождения (немецкого, славянского и литовского).

Среди фамилий, образованных на базе латышского языка, самыми частотными являются с финалью *-iņš* (например, *Kalniņš*, *Ozoliņš*, *Liepiņš*). Так как большинство этих фамилий образованы от апеллятивов латышского языка, они являются этимологически прозрачными (как указывает автор, из 1270 фамилий такого рода только около 250 не имеют ясной этимологии на основе апеллятивной лексики). Дальше по частотности следуют фамилии с финалями: *-nieks* (531, *Mucenieks*, *Mūrnieks*), *-āns* (450, *Krievāns*), *-ens* (400), *-ītis* (351, *Rudzītis*), *-elis* (309, *Ziemelis*), *-ulis* (301, *Cīrulis*, *Zvirbulis*), *-ēns* (262), *-īts* (233), *-avs* (199), *-ums* (180), *-els* (154) и т. д. Анализ фамилий с отдельными финалями производится в последовательном сопоставлении апеллятивной и ономастической систем, как этого требует основная цель исследования.

Среди рассмотренных фамилий иноязычного происхождения первое место по количеству занимают созданные на базе немецкого языка. Это фамилии на *-manis*, *-mans*, *-sons*, *-bergs*, *-bergis*, *-valds*, *-ers*, *-eris*, *-ings*.

Особенно ценными в этом разделе монографии являются карты, на которых отражена локализация всех изученных фамилий. Во многих случаях карта распространения того или иного типа латышской фамилии помогает обоснованию выдвинутых в книге положений как лингвистического, так и экстралингвистического характера.

В последней главе рецензируемой книги «Лексические значения основ, образующих латышские фамилии» автор описывает семантику имен нарицательных, от которых произошли изучаемые фамилии. Для этой цели основы фамилий распределены на 14 групп (называемых автором семантическими полями), самыми многочисленными из которых являются «обозначения людей» (2066), «предметы материальной культуры» (1177), «географическая среда» (939), «фауна» (831), «флора» (782) и т. д.

Чрезвычайно ценным является приведенный в виде приложения в конце исследования «Обратный частотный словарь проанализированных фамилий». Большим пробелом в исследованиях по балтийской антропонимии до сих пор являлось отсутствие полного списка латышских фамилий. Думается, что словарь, включающий 20 000 фамилий, в какой-то мере восполняет этот пробел. Какие-либо существенные замечания в этом плане автору книги предъявить трудно. Автор аргументирует ограничение материала (например, почему объектом исследования не стали латгальские фамилии — с. 15—16).

Монография В. Э. Сталтмане — очень нужное, тщательно продуманное всестороннее исследование латышских фамилий. Много интересного и актуального найдут в рецензируемой книге как исследователи современных фамилий, так и исследователи истории формирования антропонимических систем, а также языковеды, изучающие теоретические проблемы антропонимики.

Мацеяускене В., Зинкявичюс З.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1983

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

5—10 июля 1982 г. в Праге состоялась IX Международная конференция по вычислительной лингвистике Coling (Computational linguistics)-82, на которой были представлены ученые более чем из 20 стран Европы, Америки, Азии, в том числе и делегация АН СССР.

Доклады на конференции распределялись по проблемным секциям: языкознание и вычислительная лингвистика, машинный перевод, грамматико-семантический анализ, вопросно-ответные системы и искусственный интеллект, информационный поиск и лингвистические базы данных, представление знаний, математика и вычислительная лингвистика; секция кратких сообщений по различным вопросам вычислительной лингвистики. В течение пяти дней работы было прослушано свыше 70 докладов и около 30 сообщений. Кроме того, было организовано обсуждение проблем «Теория и практика МП», «Лингвистические процессы, выполняемые человеком и машиной,— новые подходы в вычислительной лингвистике, искусственном интеллекте и психологии познания», «Вычислительная лингвистика и искусственный интеллект».

Большое количество докладов, разнообразная тематика и ее пересечение в докладах разных секций не позволяют дать полное изложение их содержания. Поэтому в рамках данной хроники представляется целесообразным ограничиться общей оценкой конференции, сформулировать основные направления проблематики, выявившиеся в докладах и обсуждениях, отметить новые подходы и тенденции в развитии теоретических исследований, экспериментальных и практических разработок в области вычислительной лингвистики.

Пражская конференция Coling-82 еще раз продемонстрировала, что вычислительная лигвистика становится самостоятельной областью науки о языке, а основным полем ее приложений — сфера электронной обработки информации на естественных языках. Вместе с тем происходит расширение и конкретизация проблематики вычислительной лигвистики. Так, к центральной проблеме — проблеме машинного перевода — добавляются проблемы использования неограниченных возможностей ЭВМ по накоплению, хранению и поиску данных с целью создания оперативной терминологической и, более широко, лексикографической службы на базе автоматических словарей, терминологических банков и других подобных систем. С другой стороны, применение ЭВМ в качестве «усилителя интеллектуальных способностей человека» выдвинуло новые проблемы, имеющие самостоятельное теоретическое и прикладное значение. Это, в первую очередь, проблемы информационного поиска, содержательной обработки документов, построения программ, «понимающих» естественный язык, проблема общения человека с ЭВМ.

Состав секций Coling-82 и содержание докладов в определенной степени отражают эти два направления в проблематике современной вычислительной лингвистики. Первое из них — это машинный перевод, анализ языка, машинные словари; второе — вопросно-ответные системы на естественном языке, представление знаний, содержательная обработка текста. Доклады и сообщения на разных секциях распределяются примерно поровну между этими двумя направлениями.

Из содержания докладов первого направления следует, что развитие теоретических и практических работ по МП сейчас в огромной степени стимулируется резко возросшими потребностями научных, технических и общественных коммуникаций. И в этой связи чрезвычайно важными становятся прагматические аспекты. Так, невозможность получения полностью автоматического высококачественного МП требует создания систем массового, «грубого» перевода с различным участием в этом процессе человека-редактора (пред-, интер- и постредактирование) (см., например, доклады И. Нитта, А. Окаяма, Ф. Ямано и К. Исихара; М. Нагао, Я. Цуи, К. Иада и Т. Какимото; и др.).

Наиболее важной особенностью многих докладов представляется ясно выраженное осознание того факта, что чисто математические, логические и другие формализованные построения не могут в полной мере описать необходимые для практических целей характеристики и свойства естественного языка. (Иными словами, подходы, оправдывавшиеся в условиях эксперимента с небольшими словарями и подобранными текстами, оказались неадекватными на практике при больших словарях и любых текстах.) Именно поэтому идеи осуществления перевода путем последовательного перехода от поверхностного уровня языка к глубинному (смысловому) в условиях независимости анализа и синтеза, многовариантности решений на всех уровнях, отделения грамматики от алгоритма и т. п. практически не нашли отражения в материалах конфе-

ренции. В преобладающей части докладов по прикладным и теоретическим вопросам МП отражалось стремление увязать анализ с реальными особенностями естественных языков, решать вопросы синтаксиса и семантики в связи с конкретными задачами перевода.

Значительное внимание было уделено идее множественности лингвистических описаний: подобно тому, как допустимы разные грамматики естественного языка, возможны и полезны разные формализмы для описания задач анализа и синтеза (см., например, доклады М. Кея; М. Нагао и Я. Накамура; И. И. Убина и Б. Д. Тихомирова и др.). В выступлениях особо подчеркивалась также необходимость проверки практикой выдвигаемых гипотез и теорий, решающим при этом является их пригодность для выполнения конкретных задач.

Судя по содержанию докладов, посвященных экспериментальным и практическим подходам, можно отметить некоторый кризис идей относительно высококачественного МП. Преобладавшее ранее общее теоретическое направление МП, декларировавшее, в частности, «машинный перевод без машин, без алгоритмов и без перевода», «исчисление поколений МП», многовариантность и т. п. полностью исчерпало себя, что подтверждается отсутствием действующих на этих принципах систем МП.

На первое место в разработке систем МП, как это следует из материалов конференции, выступили проблемы собственно перевода-трансфера, т. е. выбора переводных соответствий в рамках данной пары языков (см., например, доклады Ф. Нишида и Ш. Такаматцу; Я. Цуи; Л. Больца и Т. Стржалковского; и др.). В соответствии с этим наибольшее внимание уделялось вопросам организации, классификации, поиска и реализации переводных соответствий с обращением к глубинным уровням (семантике) только в тех случаях, когда это необходимо для разрешения неоднозначностей на предшествующем уровне (например, доклад С. Ландсбергена). Поэтому (и это подчеркивалось многими выступавшими) чрезвычайно важное значение приобретают исследования действий человека-переводчика, возможность моделировать эти действия (см., например, доклады Г. Кемпена и Э. Хоэнкампа; У. Манна; Т. Нишида и Ш. Дошида; и др.).

Далее, деление процесса перевода на собственно перевод (на уровне языковых средств) и интерпретацию, при которой переводчик отходит от поверхностного уровня и «своими словами» передает содержание, непосредственно связано с проблемой оптимального распределения функций между человеком и ЭВМ в этом процессе. Обсуждению этой проблемы было уделено особое внимание (см., например, доклады А. Мелби; К. Буате, Г. Гийома и М. Кезель-Амбрюна; и др.). Можно даже утверждать, что это была центральная проблема МП на Coling-82.

Общее состояние работ по построению действующих систем МП, как это следует из докладов и обсуждений, можно охарактеризовать следующим образом. В последние годы имеет место медленный, но неуклонный прогресс в использовании ЭВМ для практического перевода документации. Исследования по созданию практических систем МП все более ориентируются на моделирование трансфера — системы выбора правильных переводных соответствий на уровне, лежащем ближе к поверхностному, чем к глубинному, но не совпадающем ни с одним из них. Интенсифицируются работы по созданию специального программного обеспечения МП. Особое внимание уделяется организации больших словарей, применению в них теоретических представлений семантики, автоматизации их составления и оптимизации использования в процессах перевода. И, наконец, ведутся исследования проблем взаимодействия человека с ЭВМ.

Действующих систем МП по-прежнему мало. Расширяется сфера использования единственной в настоящее время крупной практической системы МП — СИСТРАН. Система дает переводы такого качества, редактирование которых делает экономически рентабельным ее практическое применение. В СССР (об этом докладывалось на конференции) работает в опытно-промышленном режиме система АМПАР (ВЦП), производящая переводы документации с английского на русский язык. Действующие системы МП осуществляют перевод по схеме «анализ — трансфер (выбор переводных соответствий) — синтез» с различной глубиной постредактирования.

Предположения относительно возможности создания системы МП с семантикой (в Канаде) не оправдались. Работает всего лишь одна система так называемого «второго поколения» — МЕТЕО для перевода сводок погоды. Однако декларировавшиеся отличия данного «поколения» в ней не проявляются ввиду крайней простоты и ограниченности семантики и синтаксиса переводимых документов.

Второе направление в тематике докладов Coling-82 объединяет несколько взаимосвязанных проблем. К ним в первую очередь относится проблема построения систем доступа на естественном языке (интерфейсов) к базам данных и информационным системам документального и фактографического типа. С этим связаны проблемы представления знаний, необходимых для программ, «понимающих» естественный язык, проблемы содержательной обработки текстовых документов (форматирование документов в заданный информационный формат, индексирование и реферирование, генерация ответов на вопросы по содержанию документов и др.). К ним примыкают проблемы автоматического построения больших словарей с обширной семантической информацией, используемых в задачах искусственного интеллекта.

В докладах и сообщениях этого направления также четко проявилась тенденция перехода от глобальных исследований в рамках «общей обработки естественного языка» (general NL processing), что имело место 8—10 лет тому назад, к использованию частных гипотез и моделей, описывающих конкретные задачи обработки фрагментов или подмножеств

естественного языка в целях общения или обработки документов. Это проявилось как при обсуждении подходов к синтаксическому и семантическому анализу, так и при оценке способов представления знаний, а также в оценках результатов экспериментальных исследований с точки зрения возможностей их практической реализации в действующих системах (см., например, доклады Д. Уокера, В. Гросца и др.; В. М. Брябрина; К. Коэльхо; Р. Гришмана, Л. Хиршмана и К. Фридмана; и др.).

Интересно отметить, что в экспериментальных и практических работах по созданию естественно-языковых интерфейсов ставятся четкие ограничения на использование средств естественного языка, на моделирование процессов «понимания» смысла высказываний. Иными словами, наметилась тенденция к построению упрощенных, по сравнению с известными экспериментальными системами, но эффективных для пользователя средств общения. При моделировании грамматико-семантического анализа входных высказываний и их интерпретации-переводе преобладают поиски упрощенных решений: использование частных моделей ограниченного естественного языка предметной области, а также уже имеющихся в информационной базе (системе) формализмов и программных средств. Так, в качестве основы для представления знаний о предметной области применяются логические схемы организации информации в базе данных, а для формального представления смысла запроса — конструкции языка манипулирования данными (ЯМД), входящего в состав средств системы управления базой данных (СУБД) (см., например, доклады Ч. Сальветера и Д. Майера; Л. Мацлака и Р. Фейнауэра; и др.). Все это свидетельствует о том, что переход от экспериментов к практике потребовал пересмотра сложившихся методов, упрощения используемых формализмов, ограничения состава и объемов экстралингвистической информации, упрощения программных средств и привязки их к уже имеющимся программам информационных систем.

Заслуживает внимания и решение в ходе таких работ чисто практических проблем. Например, какова минимально допустимая степень «понимания» запроса, при которой возможно построить его формальное представление на ЯМД, как много полезной для этой цели информации можно извлечь при поверхностном анализе запроса? (см., например, доклад Л. Мацлака и Р. Фейнауэра).

Интересно также отметить отсутствие докладов по общей проблеме обработки текста. Во всех докладах речь шла о четко сформулированных задачах. Задача формализации смысла запроса экспериментально решается различными способами (см., например, доклады Д. Гоббса, Д. Уокера и Р. Амслера; Э. Марча и И. Сагера; Д. Реснера и И. Лаубша; Б. Ригера; и др.). Но остается нерешенной центральная задача — нахождение практически реализуемого способа автоматического преобразования фрагментов или полного текста документа в заданный информационный формат. И это основное препятствие на пути поиска информации по текстам документов.

Проблема автоматического индексирования и реферирования документов также привлекает к себе внимание в связи с потребностями информационного обеспечения. В докладах, посвященных этой проблеме, подчеркивалось, что, при отсутствии надежд на ее идеальное решение, необходимы поиски новых подходов к ее упрощенному, но пригодному для практического использования решению. Рентабельность таких систем обработки документов обеспечивается их адаптивностью к изменяющимся потребностям пользователей. Докладывалось о разработке ряда систем, которые в зависимости от задаваемых требований дают на выходе разные по объему и содержанию вторичные информационные документы (см., например, доклады Д. Фума и К. Тассо; И. Сакамото и Т. Окамото; Г. Кнорца; и др.).

Большой интерес представляют исследования, целью которых является преодоление двух основных препятствий, стоящих на пути построения больших семантических словарей для различных систем обработки информации: имеется в виду выбор информации о значении слов и способа ее представления в машинных словарях. Одним из путей решения этих задач, о которых докладывалось на конференции, является автоматическое извлечение семантической информации из обычных толковых словарей и ее представление в заданном формате машинного словаря. В связи с этим обсуждались и проблемы полного извлечения информации из машинных словарей, для чего требуется разработка методов отождествления вариантов терминологических и лексических словосочетаний. Все эти вопросы образуют новую проблематику, выдвигаемую задачами систем искусственного интеллекта, машинного перевода и задачами построения автоматизированных систем терминологического и словарного обеспечения лексикографических работ, включая и работы по унификации и стандартизации терминологии (см., например, доклады А. Михнельса и И. Нёля; Г. Нейберта; В. Лендерса; Ш. Иошида и Т. Цурумару; Б. Николовой и И. Неновой; и др.).

По содержанию и направленности докладов и сообщений данного направления можно отметить, что и в этой области исследования все более ориентируются на решение конкретных задач информационной службы. Наблюдается тенденция к использованию уже имеющихся решений и применению частных подходов и моделей, пригодных для конкретных задач обработки информации. Создаваемые программные системы, как правило, предназначаются для использования в качестве дополнительных модулей в рамках уже существующих систем.

Примечателен весьма осторожный подход к использованию семантики, что обусловлено чрезвычайной сложностью и трудоемкостью создания баз знаний (экстралингвистической информации) для практически значимых предметных об-

ластей. При разработке практических систем характерно также максимальное использование информации, которую можно извлечь из входного текста (запроса, команды, документа), поступающего в систему.

Несколько общих выводов по содержанию докладов на конференции Coling-82. Машинный перевод остается центральной проблемой, вокруг которой группируются исследования вычислительной лингвистики. Процесс перевода признается одним из сложнейших видов языковой деятельности человека, поэтому поиски путей моделирования этого процесса на ЭВМ имеют большое теоретическое и практическое значение для разных областей приложения лингвистики, включая и область задач искусственного интеллекта.

Сходство проблематики перевода и задач искусственного интеллекта обнаруживается в том, что в обоих случаях необходимо моделирование процессов установления смысловых соответствий (между естественными или естественным и искусственным языками). Однако сложность объекта (языкового материала) в этих двух областях неодинакова. Перевод с естественных языков, даже при его ограничении подъязыками научно-технической документации, имеет дело со всем арсеналом синтаксиса и семантики, лексических взаимосвязей с их многозначностью и сложным взаимодействием языковых единиц в переводных соответствиях. О модельных и простых текстах в большинстве задач искусственного интеллекта этого сказать нельзя. Поэтому многие формальные подходы и принципы решения, будучи неадекватными для естественного языка в машинном переводе, могут успешно использоваться в задачах информационного поиска и искусственного интеллекта.

В вычислительной лингвистике по традиции ведущую роль играли математики и логики. Однако по мере развития практических работ по машинному переводу и системам, «понимающим» естественный язык, ощущается все усиливающееся «сопротивление» языкового материала. Появляются все новые научные и прикладные проблемы языкового характера, решение которых требует поиска новых подходов, усиления лингвистических работ, в том числе развертывания чисто лингвистических исследований и использования всех достижений других языковедческих дисциплин.

Коротко о будущем. Тенденции развития теории и практики вычислительной лингвистики, проявившиеся на данной конференции, позволяют утверждать, что будущее за относительно простыми системами, способными эффективно взаимодействовать с человеком. В области перевода — это системы с участием редактора, основанные на больших отраслевых словарях, с алгоритмами, построенными на сходных для различных пар языков принципах, с совместимым и удобным лингвистическим и программным обеспечением. В области обработки текста можно ожидать появления систем для выполнения конкретных информационных задач: индексирования, реферирования и форматирования документов. Что касается области искусственного интеллекта, то это будут, в первую очередь, естественно-языковые интерфейсы для массового пользователя-непрограммиста, ориентированные на ограниченные подъязыки и конкретные задачи (доступ к базе данных, управление, программирование и т. п.), а также другие программные системы с ограниченным «пониманием» естественного языка.

Все это требует большей целенаправленности лингвистических исследований и увязке их с общесистемными требованиями к решению научно-технических задач в области электронной обработки информации.

Котов Р. Г., Марчук Ю. Н. (Москва)

16—18 февраля 1982 года в г. Иванове проходила Всесоюзная научно-теоретическая конференция «Национальное и интернациональное в развитии языков и литератур», посвященная 60-летию образования СССР. Конференция созвана Ивановским государственным университетом имени Первого в России Иваново-Вознесенского общегородского Совета рабочих депутатов и Ленинградским государственным университетом имени А. А. Жданова. В ней приняли участие около 200 делегатов из 35 городов нашей страны, представители академической и вузовской науки союзных и автономных республик. Было заслушано более 190 докладов.

Конференцию открыл ректор Ивановского государственного университета, заслуженный деятель науки РСФСР В. Н. Латышев.

Работа конференции проходила в трех литературоведческих и шести лингвистических секциях. По лингвистике было заслушано около 100 докладов и сообщений, из них четыре на пленарных заседаниях.

В докладе Л. В. Бондарко (Ленинград) «Интерференция на уровне языка и речи (звуковой уровень)» был представлен новый подход к изучению явления фонетической интерференции — с точки зрения изменений в речи, которые не всегда могут быть предсказуемы и и объяснимы разницей в системах интерферирующих языков. Г. Н. Акимова (Ленинград) в докладе «Развитие структуры предложения в период становления русского литературного языка» убедительно показала формирование системы синтаксического синтетизма, охарактеризовав эволюцию структур простого и сложного предложений. В докладе «О контрастивном исследовании языков народов СССР в сопоставлении с немецким и английским языками» Б. М. Балин (Калинин) подчеркнул, что для контрастивистов наибольший интерес

представляют те сегменты строя двух языков, которым нет прямых структурных соответствий в одном из языков сопоставления. В докладе Н. Д. Русинова (Горький) «Учение А. А. Шахматова о происхождении литературных норм древнерусского языка» обсуждались противоречия между традиционной терминологической упаковкой и новой сутью высказываний А. А. Шахматова о происхождении норм древнерусского языка и причины, объясняющие эти противоречия.

На секции истории и теории литературных языков и социолингвистики был заслушан 21 доклад. Ряд докладов ориентирован на выявление универсальных черт языка. Проблемы филогенетической эволюции языкового знака обсуждались С. В. Воронины м (Ленинград). И. А. Стернин (Воронеж) охарактеризовал национально-культурную специфику периферийной семантики слов, обозначающих лиц по профессии в русском и немецком языках, отметив общие и национально-специфические компоненты семантики. Е. И. Исенина (Иваново) анализировала закономерности перехода от протоязыка к словесному языку у детей.

Социолингвистическая тематика объединяет другой цикл докладов, в которых рассматривались ареальные особенности явления аббревиации — Р. И. Могилевский, А. Д. Хаютин (Самарканд), образование национальных вариантов языка — И. Б. Братусь (Ленинград), проблемы русско-тюркского языкового взаимодействия — К. Р. Галиуллин (Казань). В этой же секции состоялись доклады по исследованию развития лексических и грамматических явлений в истории русского, английского и французского языков — З. М. Петрова (Ленинград), Н. В. Феоктистова (Ленинград), А. А. Путин (Пермь), Е. И. Бейн (Ленинград).

На секции фонетики обсуждались вопросы интерференции на звуковом уровне в условиях двуязычия. Г. М. Вишневская (Иваново) остановилась на трудностях, возникающих при овладении интонацией иноязычной речи вследствие интерферирующего взаимодействия языковых систем. Р. Э. Кульшарипова (Казань) представила результаты экспериментального исследования русской речи у нерусских, а именно, акустической организации речи. Теоретические проблемы интерференции при обучении русскому языку затронула Л. А. Вербицкая (Ленинград). В. Ф. Иванова (Ленинград) анализировала орфографическую интерференцию в условиях двуязычия. В других докладах содержались результаты экспериментальных исследований отдельных фонетических явлений различных языков — И. М. Магидова (Москва), Б. Н. Ахмеджанов (Уфа), О. М. Ишанкулиева (Ашхабад), З. А. Шаймергенова (Фрунзе), Р. А. Клюкене (Вильнюс), Т. А. Джакупбекова (Москва), Л. Н. Лепкова (Махачкала).

На секции лексикологии состоялось 27 докладов. Проблемы словообразования обсуждались в докладах А. В. Лемова (Саранск), сопоставившего деривационные модели имен действия с заимствованными и исконно русскими словообразовательными элементами, А. С. Юханова (Донецк), рассмотревшего морфемизацию иноязычных элементов, использующихся по аналогии для образования новых слов, Н. В. Маскалюнене (Вильнюс) и др.

Специфика специализированных терминологических систем нашла отражение в докладах Ю. Н. Ковалика (Магнитогорск), Г. П. Скворцова (Ленинград), М. Н. Лазаревой (Москва), вопрос о соотношении национального и интернационального в области фразеологии — в докладах С. М. Панкратовой (Ленинград), Т. А. Наймушиной (Астрахань), В. Д. Бояркина (Ленинград). На этой же секции были затронуты проблемы современной лексикографии, а также вопросы языковых контактов и вариативности языка.

На секции грамматики русско-славянского цикла было заслушано 12 докладов. Н. Н. Холодов (Иваново) в докладе «Развитие сложного предложения в русском языке» высказал мысль о возможности осмыслить систему сложного предложения современного русского языка как организованную вокруг противопоставления отношения аналогичности, с одной стороны, и отношения неаналогичности, с другой. По мнению Л. Л. Буланина (Ленинград), определяющим для русского залога является тот факт, что сущность морфологического противопоставления залоговых форм обнаруживается лишь в синтаксисе, в противопоставлении соответствующих (активных и пассивных) конструкций. Актуальные вопросы структуры и семантики языковых единиц освещались в докладах В. Г. Евтюхина (Ленинград), Н. В. Мозгаловой (Иваново) И. А. Осипцовой (Кемерово), Е. Ю. Беловой (Иваново). Специфика различных типов сложного предложения анализировалась в докладах К. Л. Цыгановой (Саранск), Л. И. Новиковой (Пермь), Е. А. Лариной (Иваново), Л. М. Салминой (Казань). Проблему лексико-грамматического аналитизма в глагольной системе славянских языков затронул Ш. В. Хайров (Саранск). С. А. Рылов (Горький) обосновал применение параметров грамматического развертывания высказываний при атрибуции «Слова о полку Игореве».

На секции грамматики романо-германских языков было прочитано 22 доклада. Р. В. Басова (Иваново) свой доклад посвятила семантической дифференциации и некоторым синтагматическим характеристикам форм страдательного залога в английском языке. Аспектно-функциональное назначение в тексте атрибутивных придаточных предложений рассматривалось в докладе Г. Н. Эйхбаум и Н. Е. Перл (Ленинград). Г. С. Двинянинова (Пермь) пред-

ставила результаты сопоставительного изучения трехчленных предложных конструкций с тремя категориями доминирующих в них лексем (глагол, прилагательное, существительное), в русском и английском языках. В докладе А. Г. Поспеловой и Б. С. Жарова (Ленинград) «Усилительная роль конструкций с глаголами-репрезентантами в германских языках» на широком сопоставительном материале был дан анализ первого (пропозиционального) и второго (усилительного) компонентов рассматриваемых конструкций, отмечены черты эпилологического сходства их в различных германских языках. Проблемы семантико-структурной организации текста были затронуты в докладах А. Н Степановой и С. Н. Шашковой (Минск), Л. А. Курьяновой (Ленинград), Ф. И. Карташковой (Иваново). Вопросам функционального аспекта синтаксических единиц были посвящены доклады Е. А. Абросимовой (Саратов), А. В. Варшавской (Ленинград), Е. И. Аловой (Ленинград). В ряде докладов нашли отражение семантико-синтаксические характеристики различных частей речи и вопросы синонимии синтаксических единиц.

На секции стилистики и теории перевода состоялось 14 докладов. В докладе А. О. Иванова (Ленинград) обсуждался вопрос о теоретическом обосновании возможности перевода в связи с теорией отражения. Б. Ю. Норман (Минск) рассмотрел перевод как аналог процесса порождения текста, включающий в себя все стадии нормального речепроизводства. Р. А. Нехлина (Пермь) анализировала стилистические функции повтора в художественной прозе немецкого языка, Н. В. Бахтина (Ленинград) — средства создания семантической многоплановости в критической прозе Г. Гейне. Авторскому «я» и иноязычной лексике в прозе Г. Гейне посвятила свое сообщение Т. В. Пачколина (Саранск). В. Г. Голышева (Архангельск) исследовала текстообразующий потенциал образных сравнений в плане порождения метафорического образа. Проблема интерпретации неоднозначных заглавий отражена в докладе И. А. Банниковой (Саратов). Е. И. Михайлова (Ленинград) исследовала роль композиции текста в организации художественного времени в романе С. Моэма «Пироги и пиво». Семантика прозвищ в литературном произведении и их роль в портретной характеристике персонажей были содержанием сообщения Л. Г. Шеремет (Ленинград), функционирование французских нетранслитерированных элементов в художественно-речевой практике Пушкина рассматривалось Н. А. Колосовой (Саратов).

На заключительном пленарном заседании состоялось подведение итогов конференции. Были заслушаны отчеты руководителей секций, приняты рекомендации.

Выступавшие отметили, что конференция прошла на высоком идейном и научно-теоретическом уровне.

Карташкова Ф. И. (Иваново)

CONTENTS

Articles: Avanesov R. I., Kalnyn' L. E. (Moscow). General maps as a special type of maps in the Linguistic atlas of Common Slavic; Bernstein S. B. (Moscow). Concerning the classification of Bulgarian dialects; Kacnel'son S. D. (Leningrad). Linguistic typology; **Discussions:** Towards the IX International Congress of Slavists; Grigorjan A. G. (Moscow). Some problems of the systemic study of vocabulary and semantics; Desnickaja A. V. (Leningrad). Linguistic study of documents of traditional law; Abaev V. I. (Moscow). Conservation of the ancient vocabulary in compound words; Klimov G. A. (Moscow). On positional cases of the ergative system; Kotov A. M. (Moscow). Expressive means of the Chinese language; Fedorov A. I. (Novosibirsk). Some problems of Siberian languages and their solution; **Materials and notes:** Markov V. M. (Izhevsk). On the reflexes of non—organic vocalism in Russian; Kamčatnov A. M. (Moscow). Lexical variability and lexical meanings; Vassoevič A. L. (Leningrad). On the principles of Egyptian vocalism; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: Avanesov R. I., Kalnyn' L. E. (Moscou). Les cartes d'ensemble en tant que type particulier de cartes dans l'Atlas du slave commun; Bernstein S. B. (Moscou). Sur la classification des dialectes bulgares; Kacnel'son S. D. (Léningrad). Typologie linguistique (suite et fin); **Discussions:** Matériaux pour le IX Congrès des slavistes: Grigorjan A. G. (Moscou). Problèmes de l'étude systémique du lexique et de la sémantique; Desnickaja A. V. (Léningrad). Sur l'étude de la langue des documents du droit coutumier; Abaev V. I. (Moscou). Mots composés — conservateurs du lexique archaïque; Klimov G. A. (Moscou). Sur les cas positionnels du système ergatif; Kotov A. M. (Moscou). Moyens expressifs du chinois; Fedorov A. I. (Novosibirsk). Quelques problèmes des langues sibiriennes et leur solution; **Matériaux et notices:** Markov V. M. (Ijevsk). Sur le reflet du vocalisme non-organique en russe; Kamčatnov A. M. (Moscou). Variabilité et signification lexicales; Vassoevič A. L. (Léningrad). Sur les bases du vocalismes egyptien; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Т. П. Радина*

Сдано в набор 29.04.83 Подписано к печати 01.07.83 Т-04000 Формат бумаги 70×108¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 14,0 Усл. кр.-отт. 84,3 тыс. Уч.-изд. л. 16,2 Бум. л. 5,0
Тираж 5950 экз. Зак. 2759

Издательство «Наука», 103717, ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 10

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 с., объем рецензии — 10 с. Объем хроникальной заметки — 3—5 с. машинописи (хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни).

3. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

4. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

5. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

6. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

а) список использованной литературы дается по порядку номеров в конце статьи;

б) ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках: [1, с. 3], [2—4], [1, 3]; в случае одноразовой ссылки указание на страницу, если оно необходимо, дается в списке литературы; если же упоминаются разные страницы одного и того же источника, указание на страницы следует давать в тексте;

в) подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

7. Непринятые рукописи возвращаются по просьбе авторов.

8. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (*за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»*).

9. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, которая является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.